

ББК 63.3(0)

Ч-49

Черняк Е. Б.

Ц-49 Вековые конфликты. — М.: Междунар. отношения, 1988. — 400 с.

ISBN 5-7133-0116-8

Раскрываются исторические корни важнейшей проблемы нашего времени — война или мирные отношения между различными государствами и народами. Предпринята попытка рассмотреть эту проблему на материале всемирной истории. Анализ ведется на примерах столкновения Древнего Рима и раннего христианства, Византии и Арабского халифата, средневековых папства и империи; на примерах войн, участниками которых выступали турецкие кочевники и германские ландскнехты, британские пираты и испанские инквизиторы, а в новейшее время — силы реакции и национального и социального освобождения. Убедительно показано, что борьба различных социальных систем с использованием военно-силовых методов ставила препятствия на пути общественного прогресса, но не меняла неотвратимого хода истории. В этом полемическая заостренность новой книги известного советского историка.

Для широкого круга читателей.

Ч $\frac{0503010000-038}{003(01)-88}$ 59—88

ББК 63.3(0)

ISBN 5-7133-0116-8

© «Международные отношения», 1988

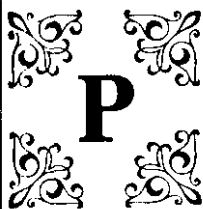
Содержание

От автора	5
Святой престол и Священная империя	8
Разделенная Европа	15
Мираж	20
Гуманисты и иезуиты	27
«Чья власть, того и вера»	34
Кровавая Мария	42
Разграбление Рима	46
Черный треугольник	51
Тень полумесяца	62
Под стенами Вены	68
Турецкий образ жизни	75
«Золотой век» гонений	78
Нечестивый альянс	83
Письмо Франциска I	87
Призраки Эскуриала	93
Действие второе	103
Оправдание Екатерины Медичи	109
Королева Марго	122
Паутина заговоров	127
Роли и маски	146

Обострение тайной войны	171
Новый натиск	183
Баррикады Генриха Гиза и обедня Генриха Наваррского	187
Закат	207
За спиной Равальяка	212
Конец непристойности	218
Антракт перед последним действием	229
Кардинал Ришелье и Анна Австрийская	238
Возмездие	252
Бесконечный эпилог	258
С неба на землю	272
Корни и плоды Просвещения	283
Красноречие Бриссо	292
Пестрая коалиция	299
Схожие антиподы	312
Проницательный цинизм	325
Споры о Священном союзе	330
Первые тридцать лет	344
Историческая альтернатива	356
Борьба миров (Вместо послесловия)	374



От автора



еальности ядерной эпохи выдвинули на передний план проблему самого выживания человечества. Узловой вопрос нашего времени — быть войне или миру — пробуждает особый интерес к опыту прошлого, к урокам, которые можно извлечь из многовекового сосуществования и длительных конфликтов стран, народов, социальных слоев в сфере международных отношений. С такими вековыми конфликтами тесно связаны многие важнейшие события всемирной истории. Они находили выражение в столкновении Древнего Рима и раннего христианства, Византии и Арабского халифата, средневековых папства и империи, в гибели испанской Непобедимой армады, посланной для подчинения «еретической» Англии, или Варфоломеевской ночи — когда были истреблены тысячи французских гугенотов. Участниками конфликтов выступали германские ландскнехты и турецкие янычары, британские пираты и «святая» инквизиция, римские папы времен контрреформации, Елизавета I и Генрих IV, Уильям Питт Младший и французские якобинцы, Черчилль и Гитлер — этот список можно продолжить, доведя его до современности.

В наше время, хотя мирному сосуществованию нет разумной альтернативы, его противники, пытаясь доказать неизбежность нового наступления «холодной войны», нередко прибегают к доводам от истории, опираясь на свое толкование опыта прошлого, на прежние идеологически окрашенные вековые конфликты, нередко перераставшие в длительные военные столкновения, которые затрагивали все стороны экономической, политической и духовной жизни общества. Уроки, которые извлекают реакционные

Святой престол и Священная империя



аша эра» начинается с года, к которому христианская традиция относит время рождения Иисуса Христа. Можно было бы, однако, считать этот год датой — пусть условной — не только возникновения одной из мировых религий, но и начала векового конфликта, отметившего несколько столетий истории стран Средиземноморья и большей части Европы и оказавшего

тем самым немалое влияние на судьбы человечества. Римскому миру раннее христианство противопоставляло идею мессианского мира, ожидания возвращения Христа. Миру с помощью силы (находящейся на службе справедливости, как утверждала официальная идеология Римской империи) должен был противостоять мир через мир, через всеобщее примирение во Христе.

Что породило этот конфликт? Ведь евангелист вкладывает в уста Иисуса как ответ на вопрос, следует ли платить дань императору (кесарю) — то есть налоги, установленные римскими властями, — знаменитое изречение: «Воздадите Кесарева Кесареви, а Божия Богови» (Матф., ХII, 21). Конечно, прямые намеки на неизбежность и непримиримость борьбы с империей встречаются уже в словах Иисуса ученикам о том, что он принес на землю не мир, но меч. «И будете ненавидимы всеми за имя Мое» (Матф., X, 22). Но евангелия полны противоречий и взаимоисключающих утверждений. Церковные авторы на протяжении веков подчеркивали непримиримый, по их мнению, конфликт между новой религией и Римской империей. «Мирно эти две силы не могли ужиться между собой, — писал, например, известный историк прошлого века Ф. В. Фаррар, — должна была начаться борьба, и борьба должна

была идти на жизнь и смерть. Здесь, не было возможности для какого бы то ни было компромисса... Здесь речь шла не менее, как о всемирном господстве. Такая борьба могла закончиться только полной победой с той или другой стороны»¹.

Рим мог пренебрегать христианством, пока он был силен, а оно являлось одной из множества сект, которые власть считала хотя и вредными, но не опасными разносчиками суеверий. В этом очевидное объяснение внешней парадоксальности истории преследования христианства, включавшейся в том, что, пока оно было действительно антагонистом Рима, новое учение терпели, а гонения развернулись, когда оно быстро созревало для союза с империей.

Возможности такой метаморфозы лежали в том, что христианство было религиозной идеологией. Оно выражало реальные земные чаяния поработенных, угнетенных и бесправных в мистифицированной форме, которую вполне возможно было со временем наполнить совсем иным классовым содержанием. А то, что христианство отразило и исчезновение надежды на лучшую жизнь здесь — на грешной земле, и обещало избавление в иной жизни — на небе, с самого начала создавало возможность превращения его в орудие духовного подавления масс сильными мира сего, приглушения народного возмущения.

Кто же оказался победителем в конфликте между христианством и римской державой, который растянулся по крайней мере на полтора-два столетия? Церковь и вслед за ней буржуазная историческая наука считали самоочевидным ответ на этот вопрос. Разве не доказана победа креста утверждением христианства на многие и многие века в качестве господствующего вероучения в десятках стран и для многих народов, тем, наконец, что сам Рим стал центром новой религии? Однако на деле ответ является не таким однозначным, каким кажется вначале. Ведь он предполагает, во-первых, что победившее христианство IV века было тем же первоначальным христианством, которое зародилось за два-три столетия до этого. А неверность такого отождествления очевидна — ведь первоначально христианство не имело и в помине той мощной иерархически построенной организации, которая именуется церковью и которая, собственно, и одержала победу. А если брать реальную, земную основу религии, то христианство конца I и II веков и христианство IV века во многом даже антиподы. И наконец, можно ли говорить о победе в конфликте, когда цер-

ковь пошла на службу к той самой власти, против которой боролась? Эта победа заключалась в лучшем случае в том, что церковь навязала себя в качестве союзника этой империи (точнее — убедила ее в необходимости прибегнуть к помощи еще недавно гонимого противника).

Но еще с меньшим основанием можно говорить о победе империи, хотя она в конце концов заставила служить себе своего бывшего врага. Союз церкви и империи не предотвратил неизбежного падения Римской державы как отражения крушения рабовладения и перехода к новой, феодальной формации. Смысл конфликта христианства и Рима менялся по мере изменения самого христианства и самой империи, а способ разрешения его определялся «разнотипностью» антагонистов, одним из которых была церковь как воплощение новой религии, а другим — светское государство. Возможность компромисса или даже союза между ними была заключена, между прочим, и в том, что для такого соглашения не требовалось территориального разграничения их владений: они могли сосуществовать в рамках одного и того же региона, совместно эксплуатировать его население.

В ходе противоборства с Римом христианству пришлось выдержать и другую борьбу. Не только в Палестине, но и вообще на Востоке объявилась тогда масса «основателей» религии. Христианство, обращаясь ко всем народам без различия, одержало победу и стало мировой религией. А все мировые религии были охранительной идеологией определенных классово-антагонистических формаций.

Раннее христианство осуждало принуждение в вопросах веры — против такого насилия прямо предостерегает Послание к коринфянам апостола Павла (Кор. 1, VIII, 12). Несмотря на строгую дисциплину ранних общин, церковь, по крайней мере формально, не считала возможным наказывать заблуждающихся, тем более предавать их казни. Павел прямо говорит, что оружие церкви — не земное оружие (Кор. 2, X, 4). Но будущее принадлежало сторонникам насильственного внедрения ортодоксии. Блаженный Августин, не являвшийся крайним сторонником преследований, тем не менее считал, что нет более смертельной угрозы для души, чем свобода ошибаться.

Однако едва прекратились гонения на христиан, как церковь сама устремляется в первые ряды гонителей. Примирившись с Римским государством, она тем более становится непримиримой в отношении римской (точнее, греко-римской) культуры, кроме тех ее элементов, которым бы-

ла отведена роль дополнительных подпорок новой религии.

«Итак, он был побежден — этот дракон язычества, побежден после того, как свирепствовал почти 300 лет против христианства. Победа была полная и совершенная...» — писал цитирувавшийся выше Ф. В. Фаррар. Однако если считать конфликт лишь столкновением христианства и язычества, то «полная и совершенная» победа первого окажется на деле чрезвычайно ограниченной и географически, и хронологически. Большая часть известного тогда мира, особенно в Азии и Африке, оказалась в конечном счете вне сферы влияния христианства. Из основной части Малой Азии, со всего североафриканского побережья и из других регионов христианство в начале VII века было вытеснено исламом.

Можно ли говорить о конфликте между христианством и Римом как о международном конфликте — ведь он разворачивался в рамках одного государства? Это государство «не обнимало», как некогда писали историки, основную часть известного тогда жителям Средиземноморья мира (сейчас накоплены сведения о связях этого региона с Индией и другими дальними странами). Однако это был огромный особый мир, внутренние связи в котором были несравненно более важными, чем отдельные контакты с другими регионами. Есть вековые конфликты, которые находятся на грани между внутренним и внешним конфликтами. Именно таким был конфликт христианства и империи. В своем развитии он стал отражать не только классовую борьбу в Римской мировой державе в целом, но и стремление к независимости покоренных народов, неизбежно переплетавшееся с борьбой Рима против его внешних противников и в Малой Азии, и в Европе.

Христианская церковь (точнее, церкви) участвовала на протяжении почти двух тысячелетий в большинстве (хотя и не во всех) вековых конфликтов — сначала как один из основных антагонистов, а позднее — в качестве вспомогательной, но всегда значительной и влиятельной силы. И церковь при этом неизменно использовала опыт первого своего векового конфликта — ведь именно в ходе его сложилось христианское предание, в нем участвовали как легендарные, так и истинные основоположники новой тогда религии. Апеллируя к этому опыту, истолковывая его в нужном для себя смысле, церковь вместе с тем как бы мобилизовала весь моральный авторитет христианской традиции против своих противников в конфликтах совсем иного времени.

Евангельские повествования веками были привычными с детства сюжетами, в которые облекали поучения и надежды, политические симпатии и антипатии. Ими увлекались великие художники Ренессанса и крупнейшие писатели разных стран мира. Они являлись предметом научных изысканий, апологетических трактатов, оригинальных гипотез и рассчитанных на сенсацию домыслов. Через призму евангельского предания каждое время спорило и судило о своих проблемах и нуждах. Но в интересе, который сохраняла евангельская история и для людей, очень далеких от религии, сказывалась не только злободневность. Этот интерес пробуждается и нравственными исканиями, тоской по справедливости там, где пилаты и иуды порождались всем строем общественной жизни, стремлением открыть причины мирового зла. Ведь именно об этом писал Генрих Гейне, когда в памятных словах требовал ответа на извечный вопрос:

Отчего под ношей крестной
Весь в крови влачится правый?
Отчего везде бесчестный
Встречен почестью и славой?

Конфликт между империей и христианской церковью, интересовавший не только его современников, но и их далеких потомков, нашел продолжение в конфликте между империей и варварским миром, различные части которого примыкали к разным богословским школам, возникшим в бесконечных догматических спорах IV века.

В средние века католическая церковь являлась международным центром феодальной системы. Несмотря на внутренние войны, она объединяла всю Западную Европу в некое целое, которое противостояло как греко-православному, так и мусульманскому миру.

В VII столетии с возникновением ислама борьба между новой мировой религией и христианством быстро стала формой вооруженного конфликта между наиболее мощными тогда государствами. На протяжении VII и начала VIII века арабы под знаменем ислама заняли большую часть Малой Азии и Средиземноморского побережья Африки, овладели Испанией, но потерпели поражение в битве при Пуатье — в Южной Франции — и отступили за Пиренеи. Один из известных западных публицистов и историков — А. Кестлер — попытался изобразить этот конфликт, используя лексикон «холодной войны»: «В начале VIII века полюсами в мире стали сверхдержавы — христианство

и ислам. Их идеологические доктрины были спаяны с политикой силы, проводимой при помощи классических методов пропаганды, подрывных действий и военного завоевания»². Нужно ли говорить, что проведение таких искусственных параллелей, перенесение реалий сегодняшней эпохи на конфликты прошлых далеких веков способны не объяснять, а лишь затемнять суть дела.

Главными антагонистами в конфликте христианства и ислама первоначально выступали Византийская империя и Арабский халифат. Постепенно центр христианского лагеря переместился в Западную Европу.

С конца XI века религиозный конфликт снова властно вторгается в сферу межгосударственных отношений стран Европы и Малой Азии. Начинаются крестовые походы, причины которых глубоко коренились в социально-экономическом развитии Западной Европы³. Крестовые походы являлись одним из важнейших факторов, формировавших систему международных отношений. Разумеется, борьба империи и папства наложила сильнейший отпечаток на крестовые походы, хотя в сознании современников они отражались прежде всего как противоборство христианства и ислама; сами призывы папства к освобождению гроба господня были неразрывно связаны с притязаниями Рима на верховную власть над всем миром.

Даже в начале эпохи Возрождения, к концу средних веков, европейцы не осознавали, что Западная Римская империя прекратила существование за тысячу лет до этого, — ее прямым продолжением по-прежнему считали Священную Римскую империю, включавшую в свой состав преимущественно германские государства.

В V—VI веках в сочинениях христианских писателей, в проповедях и решениях церковных соборов возникает новый образ Рима как четвертой и последней монархии, предсказанной пророком Даниилом, которую должно сменить уже само царство божие. Постепенно сливаются идеи «римского мира» и «христианского мира». Молитвы возносятся за благополучие Рима, бог рисуется покровителем империи, которая становится синонимом христианства. (После падения Западной Римской империи этот строй мысли сохранился в Византии.)

Папа Лев Великий (440—461) заявляет, что римская церковь подтверждает и обновляет вселенскую миссию Римской империи. А еще через несколько десятилетий Целазием I (492—496) уже провозглашается верховенство власти римского первосвященника, перед которым обязаны

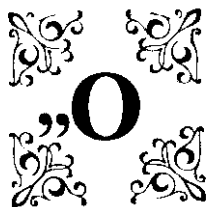
держат ответ монархи. Впрочем, эти притязания пришли слишком рано, выдвижение их было ускорено процессом распада Западной Римской империи. В следующем веке, после того как Италия ненадолго оказалась подчиненной Византии, папа Григорий Великий (590—604) представляет империю как внешнее выражение вселенских притязаний христианства — поэтому она будет существовать до самого конца света. Вместе с тем церковь имеет духовную миссию, выходящую за границы империи. На империю также возлагается миссия не только по обеспечению мира в церкви, но и по приобщению к христианству язычников.

В притязаниях папства уже скрывалось в зародыше его будущее противоборство со Священной Римской империей. Западными историками — особенно немецкими — написаны целые библиотеки книг, посвященных борьбе папства и империи. В старой, домарксистской литературе, освещавшей преимущественно, если не исключительно, политическую сторону этой борьбы, было показано ее своеобразие — как столкновение двух сил, влияние которых распространялось в той или иной форме на многие государства тогдашнего мира. Лишь постепенно — под растущим влиянием марксистской историографии — начали исследоваться социально-экономические причины борьбы, особенно участие в ней богатых ломбардских городов, классовый состав партий сторонников империи и папства в этих итальянских коммунах. Часть историков даже считала итальянские города третьей самостоятельной силой в вековом конфликте, роль которой неизменно возрастала. Классовая борьба в коммунах долго еще окрашивалась в цвета гвельфов и гиббелинов (сторонников папы и императора) — и тогда, когда уже мало кто помнил, что эти слова произошли от итальянского искажения имени баварских герцогов Вельфов и названия замка Вайблинген (от которого возникло второе название династии Гогенштауфенов). Идеологические формы межформационного конфликта потом станут отчасти использоваться для внутриформационного конфликта и наоборот. Именно так произошло в конфронтации христианства с Римской империей, а затем — папства со Священной Римской империей в средние века. В этом средневековом конфликте ни одна из сторон не выражала прогрессивных тенденций в развитии западноевропейского общества, хотя силы, являвшиеся их носителями (особенно в североитальянских городах), часто, как уже указывалось, вступали в союз с одним из враждующих лагерей.

В конце XV века империю стали все чаще именовать Священной Римской империей германской нации. Вряд ли это было данью пробуждавшемуся немецкому национальному самосознанию. Зато, бесспорно, являлось признанием потери главенства над Италией и утратой надежд на все-европейскую гегемонию. Планы вселенской империи, впрочем, были вскоре возрождены, но уже на другой основе, лишь формально связанной с противоборством империи и папства в предшествующие столетия (об этом ниже).

В новейшей западногерманской историографии преобладает апологетическое изображение Священной Римской империи как наднационального государства, базировавшегося на религиозно-политическом единстве Западной Европы, тогда как на деле можно говорить лишь о попытках создания подобной вселенской державы. Западногерманские историки нередко отрицают, что борьба империи с папством за гегемонию оказала губительное влияние на исторические судьбы Германии, способствовала ее последующему территориальному распаду, а наоборот, вопреки истине утверждают, будто бы эта борьба имела положительное значение для всей европейской цивилизации⁴.

Разделенная Европа



коло того времени, — гласит старинный рассказ, — курфюрсту Фридриху Саксонскому приснился в его Швейницком замке диковинный сон. Привиделось ему, будто бы монах Мартин Лютер начертал несколько слов на виттенбергской замковой часовне, да так резко и четко, что курфюрст мог их разобрать из Швейница.

А то перо, которым монах писал, стало расти, расти,росло до самого Рима, коснулось папской тиары, и та заколебалась на голове у папы; тут курфюрст задумал было протянуть руку, чтобы за то перо ухватиться.., и проснулся».

Сон курфюрста был воистину диковинным. Он был явно навеян историей о том, как монах-августинец Мартин Лютер из Виттенберга 31 октября 1517 г., в канун праздника всех святых, прибил к дверям церкви свои знаменитые 95 тезисов против торговли индульгенциями. Но, увы, эта история, повторявшаяся бесчисленное количество раз на протяжении трех с лишним веков, по-видимому, является лишь одной из многих исторических легенд. Предполагалось, что первым рассказал ее очевидец — близкий соратник Лютера Иоганн Шнейдер из Айслебена, который даже специально подчеркивал, что он «может засвидетельствовать», будто все произошло именно так. Однако слова «может засвидетельствовать» — результат неправильного прочтения латинского выражения, в действительности означавшего «в умеренной форме» (речь шла о форме, в которой выдвинул Лютер свои тезисы). Более того, изучение рукописи Шнейдера приводит к неожиданному результату: там ничего не говорится ни о 12 часах дня, ни даже о 31 октября 1517 г., ни о замковой часовне. Сам Лютер ни в одном из своих многочисленных сочинений и писем, ни в автобиографии не упоминает о знаменитой сцене, когда он прибил свои тезисы у входа в церковь в Виттенберге. Но, быть может, ему и не было нужды упоминать о всем известном эпизоде? В том-то и дело, что нет: при жизни Лютера ни один из современников ничего не сообщал об этом драматическом начале Реформации. Впервые о нем заговорил один из идеологов протестантизма — Ф. Меланхтон — в предисловии ко второму тому сочинений Лютера, вышедших вскоре после смерти их автора. Меланхтон в октябре 1517 года находился не в Виттенберге, а в Тюбингене, и он вообще допустил в своем предисловии немало заведомых неточностей. Новейшие исследования показывают, что 31 октября 1517 г. Лютер лишь направил свои тезисы архиепископу майнцскому Альбрехту и еще одному из высших церковных сановников. Они, заинтересованные в сохранении прежних злоупотреблений, не удостоили Лютера ответом, а передали его тезисы своему приспешнику доминиканцу Тецелю, который начал полемику с ними еще до их опубликования. Тезисы Лютера были изданы в январе 1518 года. Планы Лютера в 1517 году заключались в частичной реформе церкви, в ограничении власти папы (хотя они совсем и не шли так далеко, как в этом хотела бы убедить нас созданная впоследствии протестантская легенда)¹.

Ну, а как быть с не менее легендарным сном Фридриха

Саксонского, ухитрившегося разглядеть невывешенные тезисы? Пожалуй, наиболее характерно в этом предании то, что стремление курфюрста ухватиться за перо Лютера преследовало Фридриха даже во сне. Ведь желание — не только отец мысли, говоря словами восточной пословицы, но и главный источник сонных грез. Назревшая общественная потребность водила рукой виттенбергского богослова, преодолевала его сомнения и колебания, придавала неодолимую силу его оспариванию права папы распределять сокровища церкви. С самого начала Реформация объективно подрывала и основы старого строя. Прежде чем вступить в успешную борьбу против светского феодализма в каждой стране, необходимо было разрушить его центральную организацию — католическую церковь².

Наступила новая бурная эпоха в истории Европейского континента. Монах-августинец Лютер отверг католическое учение о благодати, согласно которому человек может снискать себе милость божью внешними поступками, принадлежностью к церкви, выполнением церковных таинств, дарами в пользу церкви, благотворительностью. А кальвинизм закрепил это отрицание доктриной о предопределении, утверждавшей, что участь человека, его вечное спасение или вечная гибель не зависят от его поступков и заранее установлены «божьем избранием». Эта доктрина, как известно, была религиозным выражением того земного факта, что в новом, буржуазном обществе судьба индивида определялась действием не контролируемых, не познанных им могущественных экономических сил. Легко понять, что учение о благодати являлось одним из главных объектов для критики со стороны протестантов, но, пожалуй, только «психология» векового конфликта могла побудить теолога Николая Амсдорфа громогласно провозгласить в 1559 году, что «добрые дела вредят достижению блаженства» и что это воззрение «верно духу христианства».

В западной литературе — еще со времени выхода в 1929 году в свет книги английского историка Р. Тони «Религия и подъем капитализма»³ — делались попытки представить кальвинистов в виде «якобинской» или «большевистской» партии XVI века. (Такую аналогию пытается проводить и профессор Гарвардского университета М. Уолцер в опубликованной в 1965 г. книге «Революция свя-тых»⁴.) При явной несостоятельности этой параллели нужно помнить, что именно кальвинизм был идеологией, наиболее соответствовавшей интересам буржуазии в эпоху так

называемого первоначального накопления. «Там, где Лютер видел одни только религиозные догматы, Кальвин видел политику, — пронизательно писал о двух руководителях Реформации Бальзак. — В то время, как влюбленный немец, толстый почитатель пива, сражался с дьяволом и бросал ему чернильницу в лицо, хитрый аскет-пикардиец вынашивал военные планы, руководил битвами, вооружал правителей, поднимал целые народы, заронив республиканские идеи в сердце буржуа и вознаграждая себя за повсеместные поражения на поле брани все новыми победами над сознанием людей в разных странах»⁵.

Каждый обращенный давал клятву соблюдать и добиваться соблюдения закона божьего в его кальвинистской трактовке. В пределах всякой страны, в которой вели свою проповедь кальвинисты, они пытались создать крепкую организацию. Так, во Франции это была сеть конгрегаций, руководимых пасторами, учителями молодежи и деканами, в обязанности которых вменялись попечение о неимущих и наблюдение за нравственностью. Все конгрегации подчинялись Национальному синоду, в который входили наиболее влиятельные гугенотские пасторы и миряне. Наряду с буржуазией к кальвинистскому движению примкнула в некоторых странах, особенно во Франции, немалая часть дворянской знати. В отличие от своих союзников, традиционно выступавших против феодальной анархии в защиту сильного центрального правительства и теперь лишь считавших необходимым сменить власть короля на власть своих собственных представителей, дворянская аристократия мечтала ослабить достигнутое единство страны, вернуть себе прежнее положение полунезависимых правителей обширных областей. Именно эта перспектива привлекала в ряды сторонников мрачного аскетического учения Кальвина земельных магнатов французского Юга, отцы которых щедро хлебнули из кубка жизнеутверждающей культуры Возрождения.

Великий французский просветитель Вольтер отмечал, что «Кальвин широко растворил двери монастырей, но не для того, чтобы все монахи вышли из них, а для того, чтобы загнать туда весь мир». Мрачным монастырем стала Женева, где с 1541 года у руля правления находился Кальвин. «Женевский папа» создал институт особо доверенных людей, которые в каждом квартале строго следили за соблюдением запрещений, распространявшихся на все стороны жизни, регламентировавших все мелочи быта, начиная от деталей одежды и кончая музыкой и народны-

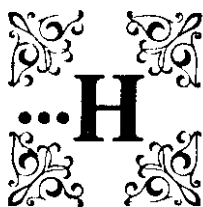
ми гуляньями. Методами правления стали создание широкой системы шпионажа за жителями, поощрение доносов, свирепые наказания за малейшие проявления непослушания — жестокие пытки и «квалифицированные» казни. По учению Кальвина, наказание без вины предпочтительнее ненаказания виновного. Террор в равной мере обрушивался и на дворянско-патрицианскую оппозицию, и на идеологов народных низов — сторонников более радикальных течений в Реформации⁶. Несомненно, что возведением в систему буржуазного направления в Реформации, пронизанного духом нетерпимости, отказом от любых компромиссов, Кальвин в большой мере способствовал превращению борьбы между католицизмом и протестантством в вековой конфликт. Кальвин стремился превратить Женеву в главный идейный центр протестантизма, занимался подготовкой духовенства для многих стран, печатал религиозную литературу, предназначенную для распространения в различных частях Европы.

Буржуазная историография, давно уже атакующая традиционное представление о Ренессансе, признает живучесть «старых» взглядов. «Миф» по-прежнему оказывает могущественное влияние, — пишет, например, английский историк Р. Нисбет, — и часто, как мне кажется в отношении данного мифа, неуничтожаем⁷.

Возрождение было и остается одним из великих прогрессивных сдвигов в истории человечества. Ясно прослеживается общность социальных корней гуманизма и бюргерской реформации, но так же четко видно, что внешне они являлись идеологическими альтернативами для переходной эпохи. Столь же очевидно, что выдвигание гуманизмом общечеловеческих ценностей, его антиклерикализм и тенденция веротерпимости, пусть еще неясный либертинизм, преклонение перед земной природой человека и земными радостями бытия, культ красоты и таланта, защита права на ничем не ограниченное научное исследование — все это противоречило самому духу протестантизма, хотя первоначально он мог и принимать гуманистическую окраску в своих обличениях злоупотреблений католического духовенства. Однако то были лишь кажущиеся альтернативные пути. Гуманизм не мог стать идейным знаменем социальных движений в эпоху, когда сознание масс было пронизано религией. Он мог лишь наложить заметный отпечаток на само реформационное движение. Возникновение векового конфликта помешало ему сыграть эту роль — и здесь одна из главных причин победы зигзагооб-

разного пути над прямым — в развитии европейской общественной мысли XVI и первой половины XVII столетия. Но об этом ниже.

Мираж



Начало XVI века, ранняя заря капиталистической эры. Великие географические открытия, распахнувшие перед европейцами двери в новые неведомые миры, подрывавшие устои средневековых представлений о человеке и Вселенной. Время, когда закладывались основы для развития мировой торговли, для перехода от ремесленного к мануфактурному производству, которое позволяло извлечь огромные преимущества, таившиеся в разделении труда. Десятилетия буйного цветения яркой, многокрасочной культуры Возрождения, сопровождавшегося ослаблением тысячелетнего господства католической церкви над всеми сферами духовной жизни. Начавшееся формирование нового буржуазного общества было отмечено резким обострением классовой борьбы. Ответом на усиление гнета со стороны феодалов стали мощные народные движения, перераставшие в крестьянские войны. Множились восстания городского плебса. Королевская власть стала центром перегруппировки социальных сил. Опираясь на горожан, она повела наступление на феодальную раздробленность. Франция, Англия, Испания, ряд других стран Европы превратились в крупные национальные государства. Но силы старого строя отнюдь не собирались уступать свои укрепленные позиции в экономической, общественно-политической жизни, в области идеологии и культуры. В полной мере это сказалось и в сфере межгосударственных отношений.

Западноевропейский историк В. Петри писал в книге «Ложные пути Европы»: «130 лет между избранием императора в 1519 году (Карла V. — Авт.), — когда Германия приняла решение в пользу Габсбургской Испании и против Франции, — и Вестфальским миром имеют много общего с тем временем, которое мы недавно пережили. Проис-

ходило ожесточенное столкновение политических и религиозных идей, безжалостно велась борьба рас, великая держава пыталась основать мировую империю и после войн, продолжавшихся десятилетиями, потерпела поражение, от которого так и не смогла оправиться»¹.

Начало Реформации совпадает с избранием на престол Священной Римской империи Карла V, унаследовавшего короны четырех династий — Бургундии, Австрии, Кастилии и Арагона; к его наследникам позднее перешло также господство над Венгрией, Чехией и Португалией — и это не считая громадных колониальных владений в Америке (где как раз в это время испанские конкистадоры захватывали необъятные земли вновь открытого материка), в Африке и Азии. С императорским титулом было связано приобретение огромного престижа — даже вне прямой связи с реальной властью, которой обладал глава Священной Римской империи. Этот традиционный престиж сам по себе являлся немалым фактором в борьбе Габсбургов за гегемонию в Европе.

Карл V внешне мало походил на того мощного, полного решимости гиганта на коне, каким его рисовали льстившие ему художники. Это был уродливый маленький человечек с прыщеватой кожей и всегда полуоткрытым ртом — физический недостаток, который он скрывал под короткой бородкой. Из склонностей императора современники отмечали прожорливость, которая даже побудила папу в виде любезности освободить императора от поста перед причастием и которая привела к ранней подагре. Это дополнялось пристрастием к рыцарским романам, героем которых он себя воображал, да еще любовью к цветам и хоровому пению.

Укрепление императорской власти было для Карла V не только целью, но и средством к достижению заветной мечты о создании вселенской монархии — наследницы Древнего Рима или империи Карла Великого. Карл V сознательно пытался придать своей империи «наднациональный» характер, не подчеркивая ее испанскую основу и связь своих планов создания универсальной монархии с кастильской традицией крестовых походов против мавров. Поэт — современник Карла V и участник войн против Франции — Эрнандо де Асуна так определял эту программу всемирной монархии: «Один монарх, одна империя и один меч». Добиваясь избрания германским императором, Карл V в доверительном письме формулировал возможности, которые появятся у него в результате приобретения этого титула: «Мы сможем совершить много добрых и великих деяний. И не только сохранить и защитить владе-

ния, дарованные нам богом, но и в огромной степени увеличить их, таким путем обеспечивая тишину и спокойствие христианского мира, поддержание и укрепление святой католической веры, которая является нашей главной основой». А канцлер императора Меркурио Гаттинара неоднократно повторял, что Карл наделен верховной властью над миром, поскольку он «был помазан на царство самим богом, предсказан пророками, вознесен в проповедях апостолов, санкционирован рождением, жизнью и смертью нашего Христа Спасителя»². Вскоре после избрания Карла на германский престол в 1519 году Гаттинара писал ему: «Ваше величество, ныне, когда господь щедро наградил Вас, возвысив над всеми другими христианскими королями и князьями до такой степени могущества, которым доньше обладал только ваш предок Карл Великий, Вы твердо стоите на пути к универсальной монархии, к тому, чтобы подчинить весь христианский мир одному пастырю»³. Гербом Карла были геркулесовы столбы — путь Европы к заморским странам; девизом — *plus ultra* — «все дальше».

В апреле 1521 года Карл V объявил рейхстагу, заседавшему в Вормсе: «Для защиты христианского мира я решил прозаложить мои королевства, владения и друзей, мою плоть и кровь, душу и жизнь»⁴. (Именно эти мотивы в политике императора и позволяют новейшим западным историкам представлять его олицетворением идеи «единства Европы»⁵.)

Современникам казалось, что возникли определенные шансы для создания в Западной Европе универсальной империи. Абсолютные монархии — и особенно государство Карла V — располагали в эту эпоху ресурсами, значительно превышавшими те, которые имелись в распоряжении средневекового королевства. Вместе с тем развитие национального самосознания еще не продвинулось настолько, чтобы повсеместно цементировать сопротивление планам образования путем войн и династических комбинаций «наднациональных» государств, более или менее приближавшихся к положению господствующей державы в этой части континента. Создание империи Карла V почти совпало с началом широкого применения трех важнейших изобретений: компаса, с помощью которого стали возможными открытие и освоение новых торговых путей и утверждение европейцев на необъятных территориях Нового Света; книгопечатания, сыгравшего столь важную роль в качестве орудия идеологической войны, пропаганды векового конфликта, расширения средств духовного принужде-

ния в руках вдохновителей и организаторов этого конфликта; качественных изменений в военном деле, оказавшихся чрезвычайно благоприятными для крупных держав и наиболее сильной из них — империи Карла V. Отход от средневековой тактики произошел очень быстро. Как раз в это время пехотинец получает огнестрельное оружие. В шекспировском «Генрихе IV» Готспер передает слова какого-то лорда:

Он очень сожалел, что из земли
Выкапывают гадкую селитру,
Которая цветущим существам
Приносит смерть или вредит здоровью.

В конце XV — начале XVI века французы настолько усовершенствовали пушки, что их стало возможным доставлять на поле сражения и перемещать в ходе боя. Эти изобретения были использованы в войсках Карла V, который ввел также применение передков — они позволяли при перевозке превращать двухколесную пушку в четырехколесную повозку, значительно более удобную для быстрого передвижения, особенно по неровной местности. Не менее важным было усовершенствование испанцами ручного огнестрельного оружия — аркебуза, который был заменен мушкетом. Вооружение мушкетами послужило началом векового преобладания испанской пехоты. Еще в 1494 году две трети французских войск, в это время начавших поход в Италию, составляла рыцарская кавалерия, а уже в 1528 году — только одиннадцатую часть. Так же примерно изменилось соотношение родов войск и в испанской армии. Около 1521 года папа Лев X определил обязанности кавалерии: прикрывать войска, обеспечивать доставку провианта, наблюдать и собирать разведывательные сведения, беспокоить неприятеля. В этом перечислении обязанностей пропущено было только участие в сражениях⁶.

Империя Карла V объективно была попыткой феодального общества найти удобную форму политической надстройки, которая вместе с тем отвечала бы новым экономическим условиям, точнее, говоря словами Маркса, «торговым потребностям нового мирового рынка, созданного великими открытиями конца XV в.»⁷. Над мировым рынком была бы надстроена мировая империя Габсбургов. Однако эта попытка противоречила реальным тенденциям развития, поскольку возникновение мирового рынка создавало острейшее соперничество между европейскими странами за господствующие позиции в мировой торговле.

Создание «наднациональной» империи Карла V одновременно препятствовало развитию новых буржуазных отношений в разных частях Европы. И вместе с тем огромные финансовые траты, которые производились Габсбургами ради достижения главной цели — создания вселенской монархии — и которые стали возможными только в результате эксплуатации экономических ресурсов колониальной империи Испании, в немалой степени способствовали росту мануфактурного производства, вызреванию буржуазного уклада в отдельных наиболее развитых районах Южной Германии, Голландии, Англии и некоторых других стран. Ирония истории заключалась в том, что попытки создания вселенской монархии, будучи затеей наиболее реакционных сил Европы, привели к созданию механизма, который превращал испанский колониальный грабеж в одну из составных частей системы так называемого первоначального накопления капитала.

Идею вселенской католической империи можно с основанием рассматривать и как ответ феодальной реакции на подъем в конце XV века движений крестьянства и городского плебса в немецких землях, в городах Фландрии и Северной Италии (особенно во Флоренции), в Каталонии и других районах Европы. Хотя создание «наднациональной» империи Карла V формально было следствием ряда династических браков, на деле оно отвечало стремлению правящего класса феодалов, а также верхушки бюргерства ряда стран обеспечить себе защиту и покровительство могущественной центральной власти как мощного орудия подавления трудящихся масс. Однако в других частях Европы, где для этого были исторические условия, где, в частности, дальше зашел процесс национальной консолидации, объективно эту же роль должны были выполнять складывающиеся «свои» абсолютистские монархии.

Основой империи Карла V, как уже говорилось, были наследственные владения Габсбургов в Центральной Европе и испанское государство, возникшее в результате объединения Кастилии и Арагона (1479 г.) и завоевания Гренады (1492 г.). Но не нужно забывать, что почти одновременно в основном консолидировались централизованные государства в Англии (после окончания в 1485 г. войны Алой и Белой Розы) и Франции (после присоединения к королевским землям с 1477 по 1491 г. Пикардии, Бургундии, Прованса, Бретани и некоторых других исторических французских областей). Несмотря на незавершенность этого процесса, на сохранение многочисленных пережит-

ков длительного периода феодальной раздробленности, новые централизованные государства имели единые законы, подчиненный и контролируемый верховной властью государственный аппарат, мощные по масштабам эпохи вооруженные силы. Формирование абсолютистских национальных государств имело до определенных времен и известное прогрессивное значение, ликвидируя феодальную раздробленность и создавая возможность для развития буржуазных отношений. А империя Карла V исправно выполняла функции подавления народных движений, которые могли принять характер ранних буржуазных революций.

В средневековой Европе определенная ступень общности исторических судеб, общественных институтов и культуры находила выражение в единстве религии — универсальной в то время формы идеологии, в существовании наряду с национальными языками латыни как языка дипломатии, теологии и науки, а также в таких государственно-политических образованиях, как Священная Римская империя и католическая церковь. Возникновение национальных государств, выражавших специфические черты ряда европейских народов, отнюдь не повлекло за собой исчезновения ранее сложившихся черт их идеологической и духовной общности, хотя и привело к постепенному падению значения таких «наднациональных» институтов, как империя и папство. Эти формы духовного единства сохраняли в определенной мере и заложенное в них прогрессивное начало (опять-таки отнюдь не уничтожавшееся развитием национальной культуры европейских народов) и, более того, получили материальную опору в проявившейся уже в начале буржуазной эры свойственной капитализму тенденции (наряду с тенденцией к пробуждению наций) к интернационализации также и экономической жизни. Однако это несколько не умаляет реакционного характера планов тех сил, которые пытались реставрировать отжившие формы европейской общности, такие как религиозный униформизм и имперский универсализм, восстановление церковного единства, господство папства и создание вселенской империи.

На роль центра всеевропейской монархии могла претендовать и Франция, тогда наиболее населенная из западноевропейских стран. Ее центральное положение в Западной Европе — Испания, Италия, Германия и Англия располагались вокруг нее — давало определенные преимущества в борьбе против соперников. Эти притязания были

выдвинуты уже французским походом 1494 года в Италию, приведшим к франко-испанским войнам за господство на Апеннинском полуострове. Франциск I потерпел поражение в борьбе за императорский престол в 1519 году, хотя его и поддерживал папа Лев X. (Убедившись в этом, французский король и римский первосвященник стали поддерживать кандидатуру герцога Фридриха Саксонского, покровителя Лютера.) Победа Карла V означала, что на суше Франция почти со всех сторон оказалась окруженной владениями императора и должна была перейти к обороне. Однако последующие четыре десятилетия были заполнены почти непрерывными войнами между Габсбургами и французской королевской династией Валуа.

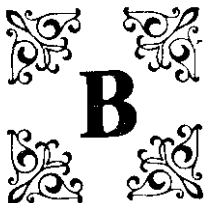
Программа вселенской империи встречала явное или скрытое противодействие даже в центре владений Карла V. Немалое число испанских политиков того времени считали, что Карл проводит имперскую, а не национальную испанскую политику⁸. Но на прямое сопротивление этот курс натолкнулся в Германии, полное подчинение которой власти императора должно было стать первым и решающим шагом на его пути к общеевропейской гегемонии⁹.

Процесс распада Германии на территориальные княжества начался задолго до Реформации. Аналогичное развитие знает и история других стран, но там значительно раньше победила тенденция к объединению, к созданию национальных государств. В Германии же процесс усиления раздробленности имел глубокие социально-экономические корни, распад чисто феодальной империи сопровождался разрывом между имперскими землями. В выигрыше оказались «представители централизации в самой раздробленности, носители местной и провинциальной централизации, князья, рядом с которыми сам император все более и более становился таким же князем, как и все остальные»¹⁰. Концепция германского единства в XVI в. выражалась не в создании единого государства, а в сотрудничестве государств, составлявших «Священную Римскую империю германской нации» и возглавляемых императором, которого избирали на пожизненный срок наиболее влиятельные князья-курфюрсты. Особенности исторического развития Германии привели к тому, что в XVI веке не было достаточно мощных внутренних сил, которые выступали бы за реальное единство страны. Карл V пытался навязать это единство сверху, используя ресурсы других своих владений. В случае достижения этого единства Германии была бы уготована роль одной из частей вселенской империи Габ-

сбург¹¹. Однако единство на основе торжества католической реакции в европейском масштабе было столь же недостижимо, как и сама эта империя. Социально-экономические причины, усиливавшие раздробленность, создавали возможность для князей эффективно сопротивляться императору, используя для этой цели Реформацию.

Реформация была крайне сложным социальным явлением. Она включала наряду с бюргерским направлением стоявшее левее его народное течение, а справа — княжескую реформацию. Все эти течения отчетливо проявились в Германии во время Крестьянской войны 1525 года. Однако после подавления крестьянского движения непосредственное влияние на систему международных отношений оказывала прежде всего княжеская реформация. В других странах в первой половине XVI века утверждение протестантизма тоже носило характер княжеской реформации — так было и в Англии, и в Дании, и в Швеции, короли которых, порвав с Римом и конфисковав владения католического духовенства, образовали национальные церкви. Их пример вызывал затаенную зависть у монархов, сохранявших добровольно или вынужденно верность католицизму. Такой «упорядоченный» характер Реформации первоначально ослаблял и смягчал воздействие ее победы в отдельных странах на систему международных отношений, и оно сказалось в полной мере лишь позднее, при полном развитии векового конфликта.

Гуманисты и иезуиты



1534 году два ни в чем не похожих друг на друга человека сделали решающий шаг, который привел к причислению их позднее католической церковью к лику святых.

В Лондоне бывший лорд-канцлер Томас Мор, автор гениальной «Утопии», отказался присягнуть новому порядку престолонаследия, который был предусмотрен парламентским актом от 30 марта того же года, узаконившим Реформацию.

Как известно, формальным поводом к Реформации в Англии послужили семейные дела «защитника веры», как именовал себя Генрих VIII, до этого лично занимавшийся опровержением ереси Лютера. (В ответ Лютер называл короля «ослиной башкой» и «безмозглым шутом».) «Не можем» — этими словами, заимствованными из «Деяний святых апостолов», папа Климент VII ответил на просьбу Генриха VIII о расторжении брака с Екатериной Арагонской. (Королю нужен был развод, чтобы жениться на придворной красавице Анне Болейн.) Принципиальность римского престола была вызвана не религиозными, а сугубо земными, политическими соображениями. «Не можем» означало, что римский первосвященник не мог идти наперекор племяннику Екатерины — испанскому королю и германскому императору Карлу V, — владения которого в Италии со всех сторон окружали папское государство. Но Генриху VIII еще менее улыбалось зависеть от папы, который зависел от императора. «Мы должны благодарить всемилосердного бога, который может заставить и такого дьявола с его демонами служить на пользу блаженства нашего и всех христиан!» — воскликнул Лютер, узнав о разрыве Генриха VIII с Римом.

Парламентский акт, который не пожелал признать Мор, положил конец подчинению английской церкви власти папы и объявлял незаконным брак короля с Екатериной Арагонской и дочь от этого брака Марию — лишенной права на наследование престола, которое должно было перейти к детям Генриха и его второй супруги — Анны Болейн. Тщетны были попытки заставить Мора, пользовавшегося большим моральным авторитетом, изменить свою позицию, хотя он отлично знал, что за свою непреклонность поплатится жизнью. На основе заведомо лживых показаний Мор был приговорен к казни и с исключительным мужеством встретил смерть.

В 1534 году, когда Мор томился в тюрьме по обвинению в приверженности к католицизму и враждебности к Реформации, в Париже бывший испанский солдат, учившийся на теологическом факультете, вместе с несколькими своими единомышленниками принял решение о создании Ордена иезуитов, ставшего штурмовым отрядом в борьбе против протестантизма. Читателю покажется, конечно, недопустимым сопоставление двух имен — великого гуманиста, на столетия опередившего свое время, и мрачного фанатика Лойолы, давшего клятву любыми средствами добиваться искоренения ереси (хотя они, как двое

святых, вполне подходящие фигуры для сравнения с точки зрения новейшей католической историографии).

Пусть очевидной является спекуляция папства на имени Мора — но ведь по крайней мере по видимости он принял мученическую смерть во имя католицизма. Так ли это было в действительности? Неужели гениальный мыслитель — там, где он не мог преступить неизбежную историческую ограниченность своего времени, — действительно считал вопрос о законности или незаконности второго брака любвеобильного тирана таким принципиальным, что пожертвовал жизнью? Неужели он считал власть римского папы над английской церковью высшим благом, несмотря на отлично известные ему злоупотребления, которые были с этим связаны и которые разоблачались сторонниками Реформации во всех европейских странах? Серьезные исследователи, конечно, не принимают версию клерикальных историков, но не смогли прийти к единому мнению о действительных мотивах, которыми руководствовался Мор¹.

Иногда его изображают мучеником за дело веротерпимости. Но Мор не был последовательным в своих взглядах на эту проблему. В «Утопии», написанной в 1516 году, до начала Реформации, он выступает за полную свободу религии и выражения различных мнений, если это не сопровождается попыткой навязать их силой. В своей практике на посту лорда-канцлера Мор уклонялся от преследования еретиков. Однако в «Диалоге о ереси» (1528 г.) он представляет ересь преступной и изменнической, а в других сочинениях даже одобряет использование силы против еретиков. Он полагал, что народные движения под знаменем Реформации, вроде Крестьянской войны в Германии, могут принести только вред. В папстве Мору виделось ограничение королевского деспотизма.

Быть может, взору Мора предстали те бедствия, которые обрушила королевская реформация на народ? Ведь конфискация монастырских владений привела к массовому сгону новыми лендлордами арендаторов с их участков, чтобы очистить территорию для ведения выгодного овцеводческого хозяйства. Вероятно, в таком предположении есть доля истины, но Мор уже ранее констатировал, что «овцы стали пожирать людей», и вряд ли он мог со всей ясностью предвидеть социально-экономические последствия Реформации. Ведь они были к тому же далеко не одинаковыми в разных странах, Реформация приобретала там различный социальный смысл. Самой

Англии отнюдь не было predetermined заранее идти именно по тому пути, по которому пошло ее последующее развитие. Зато Мор вполне отчетливо осознал, к чему уже в начале 30-х годов привела Реформация — к расколу западного христианства (с явной тенденцией его дальнейшего распада на враждующие секты) и военному противостоянию между образовавшимися двумя лагерями в условиях усиливавшегося натиска Османской империи. Не была ли позиция Мора продиктована прежде всего мнением, что Реформация неизбежно связана с разжиганием векового конфликта, которого так страшился и для предотвращения которого давно тщетно прилагал усилия его друг Эразм Роттердамский?

Эразм, узнав о казни Томаса Мора, писал про погибшего, что «его душа была белее снега, а гений таков, что Англии никогда больше не иметь подобного, хотя она будет родиной великих людей». Эразму казалось, что Мор поступал неосторожно, напрасно навлек на себя королевский гнев. «Если бы он никогда не давал втягивать себя в это гиблое дело и оставил бы богословские вопросы теологам!» — с горечью восклицал Эразм. Между тем он был единомышленником Мора, хотя несколько не походил на него характером. И, главное, Эразму не удалось оставить «богословские вопросы теологам».

Через сочинения Эразма красной нитью проходит осуждение войны. «Не война ли — рассадник и источник всех достохвальных деяний? А между тем что может быть глупее, чем вступать по каким бы то ни было причинам в состязание, во время которого каждая из сторон обязательно испытывает гораздо больше неудобств, нежели приобретает выгод..? А вообще-то война, столь всеми прославляемая, ведется дармоедами, сводниками, ворами, убийцами, тупыми мужланами, нерасплатившимися должниками и тому подобными подонками общества, но отнюдь не просвещенными философами»². «Жалоба Мира, отовсюду изгнанного и повсюду сокрушенного» (1517 г.) — самое известное антивоенное произведение Эразма. Главный герой этой декламации — Мир, оплакивающий свои бедствия и сокрушающийся по поводу безумия людей. Миролюбие — закон мироздания, освящаемый христианством. Война противоречит самой сути христианского вероучения, всему ему, до самых мельчайших деталей. Причины войн, которые ведутся в Европе, ничтожны и не заслуживают никакого уважения, они нередко сводятся к зависти по отношению к процветающей соседней

стране. Войны разжигают те, кому следовало бы быть хранителями мира, — монархи, знатные люди, высшее духовенство. Тираны посредством войны преступно стараются укрепить свою власть над народом, совершенно не заботясь о его благополучии. Бедствия войны падают на народ, а по справедливости они должны были бы обрушиваться на государей.

В других своих произведениях Эразм резко критикует династические войны. Он отвергает сами династические права и притязания, лежащие в их основе. Право владения возникает из согласия народа, а он может не дать этого согласия. Во время династических войн речь идет не о замене тирана законным государем, а о том, кому народ должен платить налоги. В ряде своих произведений, ставящих пропагандистские цели, Эразм выступает с безоговорочным осуждением любых войн. Он подчеркивает несовместимость войны и христианства, он даже отвергает мнение Блаженного Августина об оправданности войн в определенных случаях, считая это мнение противоречащим евангельскому учению.

Однако нельзя признать основательными попытки ряда исследователей отнести Эразма в лагерь пацифистов: там, где не шла речь о пропаганде идеи мира, Эразм склонялся к признанию оправданности справедливых войн. К их числу он относил оборонительные войны против турок. Перефразируя цитату из Евангелия Луки, Эразм писал, что нельзя полностью осуждать войну, ведущуюся для защиты всеобщего спокойствия в условиях, когда его нельзя отстоять другими способами. Такая война должна вестись достойным, благочестивым монархом с согласия тех, ради кого она предпринята. Эразм подчеркивает, что такую войну надо вести с умеренностью, то есть по возможности ограничивая число жертв и материальных потерь, и стремиться к быстрейшему ее окончанию. Чтобы, однако, сделать ненужными и такие войны, Эразм предлагал законодательное запрещение войны, объявление утратившими силу всех прав, которые должны привести к войне, заключение договоров, гарантирующих взаимную безопасность, точное определение государственных границ, строгое регулирование законом порядка престолонаследия. Право объявлять войну монарх должен был получать только с согласия народа. Эразм предлагал создание международного третейского суда, состоящего из духовных и светских лиц, пользующихся всеобщим авторитетом³.

В связи с рассмотрением функций власти монарха

Эразм анализирует и внешнеполитические задачи государства [этой теме посвящена глава 8 его «Институций» (1516 г.)]. Все христианские государи связаны союзом общей христианской веры. Напротив, среди нечестивых и неверных монархов даже союзы могут часто приводить к войнам. Если все же монарх, достойный своего сана, заключает союз, он должен исходить из общего блага, иначе такой союз становится заговором против народа. Эразм рекомендовал христианским монархам сдержанность в отношении с нехристианскими государствами, так как они или неспособны соблюдать свои обязательства, или расположены слишком далеко, чтобы от дружеских связей с ними можно было извлечь какую-либо выгоду. С соседями же следует жить в дружбе, в особенности с соседями, которые говорят на том же языке, имеют сходные нравы и обычаи. Мудрость государя проявляется в умении правильно определить способность других народов выполнять обязанности, налагаемые союзными отношениями.

В этих своих советах Эразм отходит от обычного для него критерия терпимости и христианской любви, ориентируя внешнюю политику прежде всего на защиту реальных государственных интересов, что не исключает в принципе ни отказа от союза с христианскими государствами, ни заключения такого союза с «иноверцами». Нетрудно заметить, насколько советы Эразма обращены к сформировавшимся в его эпоху национальным государствам. Некоторые из них успели даже превратиться в великие державы, но сохраняли во многом представления о внешней политике, унаследованные от времен феодальной раздробленности.

Эразм еще до Реформации выступал за реформу церкви. Его враги утверждали, что Лютер просто продолжал то, что было начато Эразмом. Эразм явно сочувствовал критике Лютером пороков духовенства. «Преступление Лютера, — иронически замечал Эразм, — состоит их двух проступков. Он нападал на корону папы и брюхо монахов»⁴. Однако Эразм, первоначально одобрявший позицию сторонников Реформации, осудил ее, как только понял, что она влечет за собой раскол западного христианского мира. В 1526 году Эразм писал Лютеру: «Из-за Вашего сварливого, бесстыдного, бунтарского темперамента Вы свергаете весь мир в пучину губительных разногласий». Но с не меньшим жаром осуждал Эразм использование силы против протестантов — и по моральным соображениям, и потому, что гонения еще более усиливали

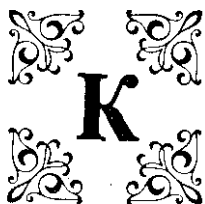
раскол Европы. В том же, 1526 году он предлагал такой компромисс: в городах, где усилился протестантизм, обеим сторонам надлежит знать свое место, и каждого следует предоставить его собственной совести, пока время не создаст возможности для какого-то соглашения. По существу, это было предвосхищением принципа «чья власть, того и вера», то есть разделения Германии по религиозному признаку, к которому пришли после нескольких десятилетий борьбы (в результате Аугсбургского мира 1555 г.).

Эразма и его последователей среди католиков считали партией, которая стремилась предотвратить превращение борьбы с Реформацией в вековой конфликт. Субъективно эти попытки нередко принимали форму окрашенного в гуманистические тона стремления к восстановлению нарушенного единства западной христианской культуры. Они находили питательную почву в желании не ставить недавно достигнутое единство государства под угрозу, которая возникала, когда спор между противниками и сторонниками Реформации приобретал значительный размах и создавал опасность вмешательства в него внешних сил. Впрочем, теми же соображениями мотивировали нередко свои действия сторонники религиозной нетерпимости — решительное сокрушение ереси внутри страны считалось ими единственным надежным средством помешать тому, чтобы она стала объектом борьбы враждующих лагерей — протестантизма и контрреформации, воспрепятствовать вовлечению государства в вековой конфликт.

Во Франции под влиянием гуманистов, покровительницей которых была Маргарита Наваррская, сестра Франциска I, король в течение полутора десятилетий проводил политику ограниченной религиозной терпимости. Ф. Рабле, излагая в «Гаргантюа и Пантагрюэле» (кн. I, гл. XXIII) программу завоеваний Пикрошоля, в точности воспроизводил захватнические планы Карла V в Европе и на других континентах, вплоть до занятия Алжира и Туниса. Однако уже в 1535 году Франциск (король «с горячей кровью и скудным мозгом»⁵, как его определил А. Франс) круто меняет курс и издает указ об истреблении еретиков. Гонения приняли широкий размах после издания 1 июня 1540 г. эдикта Фонтенбло; главными органами, которым было поручено осуществлять преследования, стали светские судебно-административные учреждения — «парламенты». Многие тысячи людей пали жертвами судебных и несудебных расправ. Эти гонения еще более усилились

при Генрихе II (1547—1559). Они если и имели результат, то прямо противоположный ожидаемому, и лишь ускорили распространение Реформации, победу кальвинизма над первоначально преобладавшим лютеранством, принятие протестантизма значительной частью феодальной знати, в том числе и Антуаном Бурбоном, королем Наварры (1559 г.). Таким образом, объективно гонения вели к тому, чего прежде всего стремилась избежать корона, — к расколу страны, созданию удобного повода для возобновления междоусобиц, возможности для противников Валуа — Габсбургов — вмешиваться во внутренние дела Франции, а в дальнейшем — к вовлечению страны в вековой конфликт не в соответствии, а в полном противоречии с ее государственными интересами.

«Чья власть, того и вера»



онфликт далеко не сразу принял законченные очертания. Лютер стремился не к расколу, а к реформе церкви. Даже римский престол именно так трактовал его выступление¹. Но это было и программой Карла V, объявлявшего себя поклонником Эразма, и подавало надежду на соглашение.

Его брат Фердинанд, носивший королевский титул и с 1531 года управлявший австрийскими землями Габсбургов, и канцлер Гаттинара также придерживались такой линии. Войны с внешними врагами занимали главные силы императора, отношения с Римом, духовным центром контрреформации, нередко были напряжены до крайности. Карл V очень враждебно относился к политическим притязаниям папства. Подобным настроениям были совсем не чужды и другие католические монархи. Отсюда неоднократные попытки императора начиная с 1524 года с помощью переговоров во время заседаний рейхстага добиться соглашения с протестантскими князьями. Однако линия на решение конфликта путем утверждения какой-то степени веротерпимости, связываемая с идеями Эразма

Роттердамского, либо вовсе не приносила успеха, либо только частично и на сравнительно короткий срок в отдельных княжествах благодаря складывавшимся там особым обстоятельствам (относительному равновесию сил между двумя сторонами, желанию монархов временно прекратить внутренние столкновения перед лицом внешней опасности и т. п.). Исторически реализуемым оказалось воплощение этой идеи в форме территориального размежевания обеих партий и поиска каких-то способов сосуществования католических и протестантских княжеств.

Однако наряду с линией Эразма и обычно в связи с ней предпринимались и другие попытки путем взаимных идейных уступок добиться если не восстановления единства церкви, то по крайней мере примирения католицизма и протестантизма. Инициатива с протестантской стороны принадлежала идеологу княжеской реформации, соратнику Лютера Филиппу Меланхтону (1497—1560) — этому, говоря словами Энгельса, «прообразу филистерского, чахлого кабинетного ученого»². На заседании рейхстага в Аугсбурге в 1530 году он предложил значительные уступки католикам. Они не были приняты католиками как основа соглашения, тем более что на них не согласилась бы и большая часть протестантов. Его другой — и последней — попыткой мирного решения разногласий было написание так называемого «Аугсбургского исповедания» (1530 г.), в котором догматы лютеранства излагались таким образом, чтобы они могли послужить объединительной программой для католиков и умеренного крыла Реформации и содержать примирительные жесты в сторону католицизма. В «Аугсбургском исповедании», сохранявшем в мягкой форме протестантскую критику доктрины о благодати, требование брака для священников, причащения под обоими видами для мирян и другие догматы лютеранства, вместе с тем подчеркивалось, что протестантское учение нисколько не противоречит основам католицизма и что оно отвергает все старые ереси — манихейство, пелагианство, арианство. В ответ было немедленно составлено опровержение, написанное католическими теологами — оппонентами Лютера, в котором требовалось отречение протестантов от их еретических заблуждений. Таким образом, достигнув первой цели — формулирования догматов лютеранства, Меланхтон в «Аугсбургском исповедании» не сумел добиться компромисса с католической церковью.

Стремление найти платформу для восстановления

единства обнаруживалось порой и с католической стороны. Георг Витцель (1501—1573), священник, принявший в 1524 году лютеранство и вернувшийся через девять лет в лоно католицизма, выдвигал различные проекты примирения церквей. В конце своей карьеры он стал доверенным лицом короля — потом императора — Фердинанда I. «Разве можно поделить Христа?» — патетически вопрошал Витцель, предлагая свои компромиссные решения. Аналогичную позицию занимал нидерландец Георг Кассандер (1513—1566), считавший, что существует единая платформа для всех христиан, за исключением радикальных течений в Реформации. Он издал специальный труд, в котором, разбирая один за другим пункты «Аугсбургского исповедания», старался их примирить с доктринами католицизма.

Эти старания найти общую основу католицизма и лютеранства имели, конечно, и свою социальную и политическую почву. Немалую роль играли здесь и общий страх перед народным течением в Реформации, и обстановка, созданная в Германии наступлением феодальной реакции (второе закрепощение крестьян), и самый характер тогдашнего лютеранства как княжеской реформации, и международная обстановка, и другие причины, впрочем, также далекие от гуманистической мечты Эразма, от его надежды искоренить войны и вражду между европейскими народами.

Социальная почва и политические причины, побуждавшие даже Габсбургов время от времени поощрять примирительные жесты, могли лишь именно порождать новые попытки такого рода, но никак не привести их к успеху, что противоречило бы главным тенденциям общественно-политического и идейного развития Европы. Этот успех был невозможен уже потому, хотя бы, что он шел вразрез с устремлениями и крайнего крыла католицизма, одержавшего верх в консервативном лагере, и бюргерского течения в Реформации — кальвинизма, которое быстро усиливалось начиная с 40-х годов. Меланхтон подвергался яростным нападкам за свое примиренчество, недаром последними его словами на смертном одре были слова благодарности богу «за избавление от ярости богословов». Примирения быть не могло — могли быть достигнуты лишь сосуществование государств с разной религией, отказ от попытки «экспортировать» свою религию вооруженным путем и сведение к минимуму вмешательства в дела других государств, даже когда в них происходила

острая борьба сторонников и противников Реформации. Но и эта цель оказалась в пределах XVI века достижимой лишь частично, на исторически ограниченные сроки, скорее только как относительное перемирие в вековом конфликте.

Карл V долгое время стремился найти какую-то не религиозную, а чисто политическую основу для фундаментального укрепления императорской власти и ослабления фактической независимости князей. Он хотел по крайней мере сдвинуть ось конфликта. Во время векового конфликта одной из сторон обычно предпринимаются попытки его внешней деидеологизации. Это может осуществляться по различным мотивам: и для внесения раскола в неприятельскую коалицию, лишая ее объединяющей идеологической программы, и для вовлечения в свой лагерь стран, не желающих участвовать в конфликте, и для привлечения симпатий нейтральных государств, и для нейтрализации колеблющихся и т. п. Карл V старался представить свои походы против протестантских князей как войну против нарушителей порядка и законов империи. Но подобная тактика могла скорее объединить протестантских князей с католическими в отпоре притязаниям императора. Не являясь испанской или тем более национальной германской, политика Карла V не была направлена в целом и на достижение победы в вековых конфликтах с протестантизмом и исламом. Ведь растянувшийся на все царствование Карла V конфликт с Францией явно не укладывался в рамки ни одного из этих конфликтов (как это стало позднее, когда во Франции происходили религиозные войны).

Для обоснования притязаний императора подыскивались юридические мотивы, сами по себе выявлявшие реакционную сущность этих притязаний. Папа Бонифаций VIII (1294—1303) в ходе ожесточенной борьбы против французского короля Филиппа IV Красивого объявил о его низложении и предложил ставший «вакантным» престол австрийскому герцогу Альбрехту Габсбургу. Тот поостерегся принять сомнительный папский дар. А через два столетия его потомок Карл V, ссылаясь на это дарение, стал утверждать, что Франция является его наследственным владением и неотъемлемой частью империи. Идеи канцлера Гаттинары об уничтожении Франции как крупной европейской державы встречали сопротивление даже в габсбургском лагере среди бургундской и кастильской знати, не расставшейся со средневеко-

вой идеей «семейной» солидарности европейских монархов³. Карл V пытался найти средний вариант между идеями вселенской монархии и союза христианских государств, где главная роль, естественно, принадлежала бы ему самому. Напротив, Франциск I после того, как потерпел поражение на выборах императора в 1519 году, объявил себя «императором в своих владениях». 24 февраля в битве при Павии испанская пехота разгромила войска Франциска I, сам король попал в руки неприятеля и пленником был отвезен в Мадрид. Там он в январе 1526 года подписал договор, в котором отказывался от притязаний на Милан и Неаполь, на Бургундию. Однако, чтобы претворить этот договор в жизнь, пришлось отпустить Франциска I под честное слово во Францию. Как только король вырвался на свободу, он не только отказался от сделанных уступок, но уже через несколько месяцев сформировал против императора коалицию, в которую помимо Франции вошли римский папа, Венеция и которая опиралась на поддержку всех других недругов императора в Италии, пыталась заручиться поддержкой Англии.

Почти через два десятилетия, летом 1544 года, военная обстановка снова сложилась неблагоприятно для Франциска I. Карл V опирался на помощь самого крупного из протестантских монархов — английского короля Генриха VIII, войска которого из Нормандии угрожали Парижу, а армия императора пересекла Марну. Но у Карла V не хватило денег на уплату своим наемным войскам, и он согласился на сравнительно легкие для Франциска условия мира, заключенного в Креспи в сентябре. Подтверждая условия одного из прежних мирных договоров — в Камбре, новое соглашение предусматривало отказ Франциска от притязаний на Фландрию, Артуа и Неаполь в обмен на такой же отказ императора от его прав на Бургундию. Договором предусматривался брак герцога Орлеанского, младшего сына Франциска, и дочери Карла V или дочери его брата Фердинанда с получением в качестве приданого Милана либо Фландрии, которые, однако, не должны были никогда быть присоединены к Франции (эта статья соглашения не была осуществлена, так как герцог Орлеанский умер в следующем году). В секретных статьях договора Франциск обещал отказаться от союзов, враждебных Карлу V, и поддерживать его против всех еретиков.

На протяжении первых десятилетий Реформации противники Карла V не могли рассчитывать на прямую

поддержку наиболее мощной антигабсбургской силы — Франции. Французская монархия, вступившая в союз с «неверными» турками, воздерживалась от поддержки германских «еретиков», пока протестантские князья не взяли полностью верх над сторонниками демократических течений в Реформации. Вступление Франции в борьбу во время правления Генриха II сделало цели Карла V еще более неосуществимыми.

Договор в Креспи оказался непрочным, и через несколько лет война вспыхнула с новой силой. Между прочим, в ходе этой войны, вероятно, во Франции была выдвинута впервые теория «естественных границ». Ее появление было связано с занятием в 1552 году королем Генрихом II городов Вердена, Меца и Туля. Попытки императора Карла V отвоевать Мец потерпели неудачу вследствие упорной обороны города герцогом Франсуа Гиюм. Вошли в моду разговоры о Рейне как границе Галлии. В 1568 году лотарингец, враг кардинала Гиза, Жан ле Бон опубликовал трактат «Рейн — королю», в котором впервые выдвинул идею о том, что Франция может претендовать на границу по Рейну не вследствие своих исторических прав, но по «природным причинам»⁴.

Несмотря на то что мир в Креспи оказался лишь недолговечным перемирием, он обеспечил Карлу V нейтралитет Франции и тем самым свободу рук на несколько лет, в течение которых император рассчитывал нанести решительный удар немецким протестантским князьям. Совместился центр тяжести конфликта в огромной державе Карла V. Если ранее он смотрел на Германию как на источник средств для финансирования своей имперской политики, то теперь ресурсы других его владений — Испании и ее заморских колоний, итальянских владений, Нидерландов — мобилизовывались для борьбы за Германию. Центром протестантских сил, противостоявших Карлу V, являлся Шмалькальденский союз. Он был создан 25 декабря 1530 г. в гессенском городке Шмалькальдене, где собрались принявшие лютеранство князья — курфюрст Саксонский, ландграф Гессенский и другие, а также и представители ряда городов.

Во второй половине 40-х годов Карл V наконец попытался решить спор военным путем. В 1547 году императорская армия разбила войска немецких протестантских князей, среди которых не было согласия («Шмалькальденская война»). В так называемом «Временном аугсбургском постановлении» 1548 года Карл все же пытался удовлет-

ворить часть религиозных требований протестантов, но те уже успели оправиться от поражения и возобновили войну. Лишь по случайности сам император не попал в руки врагов в Инсбруке. Они захватили Аугсбург, возобновили военные действия и другие враги императора. Карл должен был поручить своему брату переговоры с протестантскими князьями. Идея объединения всего христианского мира под его властью еще раз оказалась недостижимой мечтой, иллюзией, приводившей к тяжким неудачам. В преамбуле заключенного в 1555 году Аугсбургского договора говорилось, что «ради спасения немецкой нации и нашего любезного отечества от конечного разрушения и гибели признали мы за благо вступить в это соглашение». В основу договора был положен принцип «чья власть, того и вера». (Правда, в таком виде эта формула была зафиксирована одним имперским юристом лишь в 1591 г.)

Политика Карла V потерпела поражение, конечно, не вследствие стремления германских князей сохранить захваченные ими церковные и монастырские земли, а благодаря тому, что Реформация, отражавшая в целом интересы прогрессивного развития общества, пустила глубокие корни в сознании широких народных масс. Либеральная историография подчеркивала, что Аугсбургский религиозный мир был успехом лютеран, которые отстаивали и его главный принцип — светский государь имеет право определять религию своих подданных. Вместе с тем исследователи этой ориентации не скрывали своего сожаления о том, что Аугсбургский мир не был подлинным примирением. Например, английский историк Г. Кеймен писал в книге «Развитие веротерпимости», что с помощью этого мира пытались найти решение путем «увечивания практики религиозной нетерпимости». Кеймен давал такую оценку договору 1555 года: «Главная черта Аугсбургского мира — он был соглашением между германскими самодержавными монархами. Веротерпимость не распространялась ни на кого, кроме князей, которым была предоставлена свобода искоренять значительную часть своих подданных, отказывавшихся признать религию, предписанную им государством. Только католицизм и лютеранство признавались соглашением — все остальные вероисповедания исключались из сферы его действия». Приговор суровый, но вполне справедливый. Другой вопрос, какие альтернативы существовали в момент принятия этого решения. Кеймен, видимо, склонен считать такой альтернативой мечту Эразма о веротерпимости, но опыт истории

продемонстрировал ее неосуществимость. Французский историк Ф. Эрланже назвал правило «чья власть, того и вера» «гносным принципом», «карикатурой на свободу мысли»⁵. Однако реальной альтернативой ему была не веротерпимость, а продолжение религиозных войн во имя невозможной, как показал опыт истории, победы католического лагеря. Надо учитывать и то, что религиозная терпимость и нетерпимость в разных условиях имела совершенно различный исторический смысл, но об этом ниже.

Религиозный мир 1555 года был результатом не примирения или смягчения разногласий между вероисповеданиями или тем более восприятия идеи религиозной терпимости (скорее наоборот). Он был следствием создавшегося политического положения, заключен светскими государями, не запрашивавшими по этому поводу мнения или санкции церковных авторитетов и властей. Аугсбургский договор 1555 года положил начало полувеку относительного мира в Германии — и это в условиях, когда пламя войны охватило большую часть Западной Европы. Конечно, «воздержание» австрийской ветви Габсбургов (их представители занимали трон германского императора) от участия во второй стадии военного конфликта, что сделало возможным этот сравнительно длительный мирный период, было вызвано целым рядом факторов (о них речь пойдет ниже). Однако именно такое их воздействие стало возможным только в конкретных условиях, создавшихся после заключения Аугсбургского мира. Попытка пересмотра Аугсбургского религиозного мира привела к Тридцатилетней войне, итоги которой подтвердили положения этого договора. Южная Германия осталась в своей преобладающей части католической, Северная — протестантской, причем на северо-востоке господствовало лютеранство, а на северо-западе стал позднее преобладать кальвинизм.

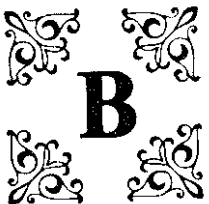
Аугсбургский религиозный мир 1555 года был объективно первым важным шагом на пути к религиозной терпимости. Крушение попыток военного решения конфликта неизбежно влекло за собой вынужденное признание принципа веротерпимости в сфере межгосударственных отношений. Вместе с тем принцип «чья власть, того и вера» заметно укреплял позиции князей по отношению ко всем формам сословного представительства.

Стремление Карла V вооруженным путем подавить сопротивление протестантских князей на деле резко усилило тенденцию к политической раздробленности, превра-

тило Реформацию в орудие «территориализации» Германии. Вековой конфликт, с помощью которого Габсбурги стремились «объединить» Европу в рамках единой империи, воздвиг на целую историческую эпоху дополнительные препятствия для слияния государств, составлявших «Священную Римскую империю германской нации», в единую Германию⁶.

Статья 18 Аугсбургского договора гласила: «Если архиепископ, епископ, прелат или другое духовное лицо отпадет от нашей старой веры (католицизма. — Авт.), то лишается тем самым своего архиепископства, епископства, прелатства и всяких других бенефиций с их поступлениями и доходами, получавшимися доселе, причем не имеет право на какое-либо за то вознаграждение, хотя не терпит при том никакого ущерба для своей чести... За капитулом также остается право избирать на его место другое лицо старого исповедания и посвящать его в этот сан...»⁷. Иными словами, для духовных княжеств за-прещалось изменение веры. Положения этой статьи заведомо могли послужить — и действительно послужили — юридическим предлогом еще для одного этапа векового конфликта, каким стала Тридцатилетняя война.

Кровавая Мария



след за поражением в Германии неудачей окончились попытки католического лагеря добиться победы контрреформации в Англии, хотя одно время казалось, что эта цель уже достигнута. Генриху VIII наследовал его малолетний сын Эдуард VI. Борьба придворных клик в его правление переплеталась с выступлениями против-

ников Реформации, которым не раз удавалось использовать в своих целях народное недовольство. В правление Эдуарда власть оспаривали дяди короля — герцог Эдвард Сеймур, герцог Сомерсет, который погиб на плахе, и одержавший победу над ним Джон Дадли, герцог Нортумберленд. Католический лагерь пытался вмешиваться в эту борьбу, прибегая к методам тайной войны.

Весной 1550 года имперский посол в Англии Ван дер Делфт подготовил план бегства принцессы Марии Тюдор (дочери Генриха VIII от его брака с Екатериной Арагонской) на испанском судне, курсировавшем для этой цели около Хариджа. План потерпел крах, и английское правительство усилило наблюдение за Марией, фанатично отстаивавшей право оставаться католичкой. В 1551 году император Карл V серьезно обсуждал возможность высадки в Англии испанской армии. Его новый посол в Лондоне Шейв имел шпионов в портовых городах, следивших особенно за тем, не оказывается ли помощь шотландским пиратам, которые вели войну против нидерландского судоходства¹. (Напомним, что Шотландия была тесно связана династическими узами с Францией — главной соперницей империи Карла V, включавшей Нидерланды.)

После смерти Эдуарда VI герцог Нортумберленд попытался короновать племянницу Генриха VIII Джейн Грей, но потерпел неудачу и был казнен. На престол вступила Мария Тюдор, решившая провести контрреформацию в Англии. Правда, сразу же выяснилось, что вернуть монастырям земли, конфискованные у них при Генрихе, было совершенно неисполнимым делом. Мария натолкнулась здесь даже на сопротивление своих министров. На заседании Королевского совета старый Джон Рассел, герцог Бедфордский, поклялся, что «ценит свое дорогое убернское аббатство больше, чем любые отеческие наставления из Рима». Упорство министров заставило даже фанатичную королеву согласиться на то, чтобы реставрация католицизма не сопровождалась возвращением захваченной церковной собственности. Но и после этого реставрация наталкивалась на глухое недовольство в стране.

Мария Тюдор вышла замуж за сына Карла V — Филиппа (будущего короля Филиппа II). При вступлении в брак Филипп получил от отца Неаполитанское королевство и Миланское герцогство. Но английский парламент не согласился на его коронацию, и Филипп остался для англичан только мужем королевы. Тем не менее угроза поглощения Англии огромной державой Габсбургов стала весьма реальной.

Еще в январе 1554 года вспыхнуло восстание, возглавлявшееся Томасом Уайетом и другими протестантскими дворянами. Повстанцы ворвались в Лондон и были разгромлены только после ожесточенного боя с королевскими войсками. Уайет пытался заручиться поддержкой Елизаветы, сестры королевы. Молодая принцесса, которую опыт

научил осторожности, ничего не ответила на посланное ей письмо. Все же она и еще один возможный претендент на корону — виконт Куртней — были отправлены в Тауэр.

Современники передавали даже, будто комендант Тауэра сэр Джон Бриджес получил приказ о казни Елизаветы. Приказ был скреплен королевской печатью, но на нем не было подписи Марии, и Бриджес поэтому отказался его исполнить. Комендант отправился к королеве, которая заявила, что ей ничего не известно о приказе, и вызвала своих приближенных — епископа С. Гардинера и других, упрекая их, что они действовали без ее санкции.

Если эта история соответствует действительности, то к фабрикации фальшивого приказа мог приложить руку и влиятельный посол императора Симон Ренар. Он считал, что Елизавета волей-неволей станет сосредоточенцем сил протестантской партии. Посол настаивал на казни Елизаветы, но Мария решила ограничиться высылкой ее из Лондона — не было никаких доказательств того, что принцесса поощряла повстанцев. Правда, был обнаружен французский перевод письма Елизаветы королеве в перехваченной французской дипломатической почте. Но сама ли принцесса передала копию своего письма французам? Не являлось секретом, что окружение королевы кишело шпионами. Французский посол Антуан де Ноай даже женился на одной из фрейлин Елизаветы для того, как подозревали, чтобы получить доступ к переписке принцессы. Антуан де Ноай и назначенный ему в помощь также послом его брат Франсуа — представители католического короля Франции — сразу же стали активно поддерживать протестантскую партию в надежде ослабить испанское влияние.

Французский король Генрих II решил даже поддержать план нового заговора, подготовленный врагами королевы Марии. Этот план включал восстание в западных графствах и поход повстанцев на Лондон, захват Тауэра и монетного двора, высадку группы заговорщиков-эмигрантов из Франции на английское побережье, занятие Портсмута и замка в Ярмуте, оккупацию французами острова Уайта. После этого можно было свергнуть с престола Марию Тюдор и возвести на трон Елизавету. Тщательно разработанный план выполнялся, однако, со скрипом. Вначале заколебался французский король, но более нетерпеливые заговорщики решили действовать, не дожидаясь его помощи. Тем временем, однако, шпионы кардинала Поула, главного советника королевы, сумели обнаружить измену. Последовали аресты заговорщиков. Елизавета опять ока-

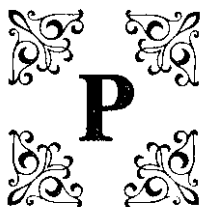
алась под подозрением. Обыск, произведенный в ее резиденции, привел к конфискации у приближенных принцессы большого количества подпольной антикатолической литературы, тайно ввозимой в Англию из-за границы. Тучи снова нависли над головой Елизаветы, судьбу которой королева обсуждала в письмах к своему мужу Филиппу, покинувшему Англию. Испания в это время находилась в резко враждебных отношениях с Францией и папой Павлом IV. Английская помощь поэтому приобрела особую ценность, и Филипп II, учитывая плохое здоровье своей жены, заранее стремился заручиться благорасположением ее вероятной преемницы. Он посоветовал Марии проявить снисходительность к сестре.

20 марта 1557 г. Филипп вернулся на время в Англию. Вскоре после этого, в конце апреля, 100 эмигрантов во главе с Томасом Стаффордом покинули Францию и высадились в Йоркшире. Они утверждали, что действуют при полной поддержке Елизаветы. Новое восстание не приобрело большого размаха и было быстро подавлено королевскими войсками, захваченные в плен повстанцы были без промедления казнены. Филипп постарался использовать явную поддержку французами мятежников, чтобы добиться широкой английской помощи для войны против Генриха II. И снова на всякий случай использовал свое влияние, чтобы не допустить суда над Елизаветой². Англия была вовлечена в войну с Францией. Это было ярким примером того, что ближайшие цели всего католического лагеря и его ведущей державы могли серьезно расходиться.

Через месяц после смерти Марии Тюдор Филипп II стал искать руки ее сестры и наследницы Елизаветы. Король писал своему послу об огромном значении этого намеченного им брака «для всего христианства и сохранения в Англии религии, восстановленной благодаря милости божьей». Конечно, при этом Елизавета должна была принять католичество. После длительных переговоров посол доносил Филиппу II, что Елизавета «не может выйти замуж за Ваше величество, потому что она является еретической...»³. Тем не менее Филипп II продолжал активно поддерживать новую английскую королеву против ее противников, которыми были католическая Франция и вдова французского короля Франциска II — шотландская королева Мария Стюарт. А эта поддержка, в свою очередь, определялась опасениями, что поражение Англии в борьбе против коалиции Франции и Шотландии может привести к такому изменению в соотношении сил, которое подорвет

позиции Испании в принадлежавших ей Нидерландах. Однако расчет Филиппа на то, что преемница Марии Тюдор будет сохранять прежний внешнеполитический курс, оказался безосновательным.

Разграбление Рима



реформация, как это ни парадоксально, временно укрепила положение папства по отношению ко многим светским государям. Прекратились их попытки выдвигать антипапу, противопоставляя его первосвященнику в Риме, как это многократно случалось в средние века. Теперь монархи, борющиеся с Римом, предпочитали взять сторону протестантизма и стать в той или иной форме главой национальной реформированной церкви. В оставшихся католическими странах выставлять антипапу стало безнадежным делом, так как Рим теперь единолично решал, что является или не является католическим.

Но все же 4 мая 1527 г. под стенами Рима появилась большая императорская армия, которой командовал коннетабль Бурбон, изменивший французскому королю и перешедший на сторону Карла V. Многие немецкие ландскнехты были лютеранами, ненавидевшими центр католицизма, являвшийся в их глазах сосредоточением всех пороков. Папа объявил жителям Рима, что бог послал еретиков к стенам города, дабы они нашли там смерть в воздаяние за свои грехи¹. 5 мая коннетабль повел на штурм свои войска. Он был убит в самом начале приступа, но немецкие и испанские полки скоро ворвались на улицы Рима и устроили кровавую резню. Убедившись, что город взят неприятелем, папа Пий VII поспешил ретироваться из Ватикана в крепость св. Ангела. Когда он бежал по длинному коридору в укрепленный замок, историк Павел Иовий заботливо нес шлейф мантии римского первосвященника и прикрывал его своей мантией и фиолетовой шляпой, чтобы папу не заметили и не подстрелили неприятельские солдаты. Труднее оказалось укрыться от вердикта истории.

Пока Климент VII выслушивал требования победителей, солдаты имперской армии, напялив на себя одежду карди-

налов, шутовски провозглашали новым папой Мартина Лютера. Современники передавали, что в первый же день имперцы убили 7 или 8 тысяч жителей. Предметом особой ненависти ландскнехтов стали католические священники, многие церкви были разграблены, погибли находившиеся там бесценные произведения искусства. Такой же участи подверглись и дворцы кардиналов, в том числе и тех, которые держали сторону императора. Однако уже на второй день после взятия города захватчики несколько умерили свой пыл, ограничиваясь взиманием выкупа. Испанские солдаты подвергали своих пленников утонченным пыткам, стремясь выведать места, где были спрятаны золото и драгоценности. Стендаль, излагая в своих «Прогулках по Риму» многие свидетельства очевидцев, добавляет: «Карл V, которому в то время было лишь двадцать семь лет, понимал, что с Римом можно сражаться только его собственным оружием; когда он узнал об ужасах, творившихся по его попустительству уже семь месяцев, он устроил торжественную процессию, моля бога об освобождении папы, которое зависело исключительно от него самого»². Секретарь императора Альфонсо де Вальдес объявил, что Рим понес наказание за грехи папы и его двора, мешающие установлению согласия и единства христианских церквей в борьбе с неверными³. В разграблении «святого города» современники видели предзнаменование близкого конца света⁴. (Его, впрочем, неоднократно ожидали и по другим поводам, панике поддавался и сам Карл V.) Когда через несколько лет, в 1534 году, Микеланджело вернулся в Рим, он увидел изуродованную фреску Рафаэля, на которой кинжалом было вырезано имя Лютера.

Как подчеркивает американский историк П. Паркер, это было «кошунственное осквернение великих святых мест католического христианства, осуществленное в тот самый момент, когда доктрины германской Реформации должны были распространиться в других частях Европы и когда вот-вот должно было родиться само слово „протестант“»⁵. И это кошунство было совершено от имени императора, главы католического лагеря, который нанимал в свои войска сторонников нового, еще не окрепшего вероучения, чтобы использовать их против протестантов и против противников в собственном лагере. Впрочем, об этом разграблении Рима современники и даже сами римские первосвященники помнили недолго — его заслонили другие события и интересы.

Показательно, что войска Карла V захватили и раз-

грабили не Виттенберг, где были обнародованы тезисы Лютера, и не Женева, ставшую позднее центром кальвинизма. Еще в начале 30-х годов XVI в. позиция папства оставляла открытым путь как к развязыванию войн против германских протестантских князей, так и к установлению религиозного мира в империи, достигнутого на деле только после этих войн⁶.

Одним из важнейших ресурсов политики Карла V была возможность оказывать давление на римский престол через испанские владения в самой Италии (королевство Неаполь и герцогство Милан). Однако вместе с тем здесь были заложены и корни то скрытой, то явной враждебности папы по отношению к большинству планов и действий императора. У Ватикана фактически не было прочных союзников, если не считать весьма ненадежной поддержки со стороны Англии до вступления на престол Елизаветы I.

В 40-е годы Карлу V пришлось приложить немалые усилия, чтобы привлечь папу к войне против протестантских князей. Павел III, соблюдавший, к неудовольствию императора, нейтралитет в войне между Карлом V и Франциском I, в обмен на различные уступки дал согласие заключить союз для искоренения ереси, который и был подписан в июне 1546 года. Однако уже в начале 1547 года Павел III стал сомневаться в правильности своего решения — ведь полная победа Карла V над его противниками в Германии политически грозила окончательно подчинить ему и римский престол.

Собравшийся в 1545 году Тридентский собор стал ареной борьбы между Римом и императором, особенно в 1546 году, когда Карл V находился на вершине своих успехов. При этом Павел III пытался опереться на поддержку французского короля и обвинял императора в том, что он скрывает религиозный характер войны против германских протестантов. В ответ Карл V заявил апостолическому нунцию, что он не упоминал имени папы в своих манифестах, так как из-за его дурных поступков оно стало ненавистным не только в Германии, но и во многих других странах христианского мира⁷. Павел III отвергал права германского рейхстага как светского собрания санкционировать условия компромиссного мира, который Карл V попытался заключить с германскими протестантами, и объявил, что это было бы узурпацией полномочий Тридентского собора.

Император стремился к реформам католической церкви, которые могли ослабить сопротивление протестантского лагеря, тогда как папа — к решению вопросов религиоз-

ной догматики и укреплению полномочий римского престола, которое было неприемлемым даже для значительной части германских католиков⁸. Отношения между императором и папой продолжали ухудшаться вплоть до смерти Павла III в 1550 году, как раз в годы, когда решался спор между Карлом V и протестантским лагерем в Германии. Разногласия растянулись на долгие годы и продолжались и при преемниках Павла III и Карла V.

Избранный в 1555 году на римский престол Павел IV питал неутолимую ненависть к испанцам и надеялся подорвать их власть над Неаполем и Миланом⁹. Вдохновителем испанской политики стал племянник папы Карло Каррафа. Папа поспешил возвести этого авантюриста, которому приписывали многочисленные преступления и убийства, в сан кардинала. В октябре 1555 года Павел IV даже объявил императору войну, развертыванию которой помешало перемирие между империей Карла V и Францией. Папа предпринял отчаянные попытки побудить французского короля Генриха II возобновить войну. Полемика сражений снова стала Италия и Нидерланды. Когда Карл V отрекся от престола, папа поспешил объявить, что император сошел с ума подобно своей матери Хуане Безумной.

В 1557 году испанцы разбили французов при Сен-Кантене, и в том же году истощенные войной и Франция, и Испания объявили о государственном банкротстве, отказавшись от уплаты старых долгов. Жители Кастилии — опоры испанской монархии, как писал еще в 1545 году принц Филипп (будущий король Филипп II), — «доведены до такой степени нищеты, что многие из них не имеют даже одежды»¹⁰. Экономическое истощение настроило враждующие стороны на более примирительный лад и привело к заключению в апреле мира в Като-Камбрези. Этот мирный договор между двумя наиболее сильными католическими державами рисовался многим современникам как фундамент европейского мира.

По случаю мира Филипп II, уже успевший дважды сочетаться браком и овдоветь, в третий раз женился на дочери французского короля Елизавете. Второй брак Филиппа II — на Марии Тюдор, скончавшейся в 1558 году, — способствовал переходу Англии, хотя и недолговечному, в лагерь католической контрреформации. Но знаменовал ли третий брак испанского короля прочное примирение Габсбургов и Валуа, которое означало бы коренное укрепление католического лагеря? Знаменитый поэт Ронсар восторгался тогда «божественным миром, прекрасным, как

утренняя заря», и брачным союзом, «тесно соединившим Испанию с Францией узами, которыми навсегда скрепляет любовь...»

Глава нидерландской оппозиции Вильгельм Оранский позднее характеризовал династический брак 1559 года как заговор против религиозной свободы Европы. На деле этот мир, хотя во Франции его считали вынужденным и хотя заключению его способствовал папа Павел IV, менее всего мог считаться успехом католического лагеря. Он подводил черту под первой попыткой военной победы контрреформации, увенчанной созданием мировой католической империи. И совсем не случайно именно десятилетие после этого мира стало временем широкого распространения протестантизма в ряде европейских стран, особенно во Франции и Нидерландах.

Еще до заключения договора в Като-Камбрези папа также должен был запросить мира у империи. Заключить его папе удалось только благодаря стремлению Филиппа II, вступившего в 1556 году на испанский престол, превратить римского первосвященника в своего послушного партнера. Прибывший осенью 1557 года в Рим испанский полководец герцог Альба (будущий кровавый наместник в Нидерландах) на коленях просил папу о мире и... потребовал безоговорочного признания испанского владычества в Италии. В 1559 году Павел IV умер, а новый папа Пий IV приказал объявить, что его предшественник был убит собственным племянником, и после комедии суда отправил кардинала Карафу на эшафот.

Карл V скончался 21 сентября 1558 г. в монастыре Юсте в горах Эстрамадуры. За три недели до кончины он выразил поистине «могильное» пожелание — прослушать собственную заупокойную мессу¹¹. Это были и прижизненные похороны вселенской монархии — путеводной цели всей его жизни. Впрочем, наследник Карла V совсем не был склонен так истолковывать опыт первой половины бурного века.

Черный треугольник



осподствующей точкой зрения в средние века было, что допустимо терпеть нехристиан (иначе вообще оказывались бы невозможными любые формы сосуществования с исламом), но никак не христиан, впавших в ересь. Фома Аквинский учил, что еретики заслуживают смертной казни — ведь предадут же такому наказанию фальшивомонетчиков, «а извращение веры, которая обеспечивает жизнь души, является значительно более тяжким преступлением, чем подделка денег, которые необходимы для наших земных нужд». Язычники не узрели света истины, тогда как еретики отвернулись от него и тем самым совершили преступления против святого духа и собственной совести. Поэтому, добавлял Фома Аквинский, еретиков «надо заставлять, даже используя физическое принуждение, выполнять то, что они обещали, и сохранять то, что они однажды признали». Эту позицию католицизм пронес через века. Именно на этом основании Григорий XVI в 1832 году объявил безумием свободу совести, и в 1864 году она была официально осуждена римским престолом¹.

Развертывание векового конфликта вызвало серьезные изменения в политике папства. В десятилетия перед Реформацией она определялась едва ли не в большей степени интересами папского государства, чем вселенскими интересами церкви. Именно это и побуждало пап искать союза с любыми врагами Карла V и радоваться неудачам императора. Во второй половине века происходит переориентация в политике папства, несмотря на продолжающиеся серьезные трения с Габсбургами (немалое значение имели распад империи Карла V и разделение династии Габсбургов на испанскую и австрийскую ветви). Тридентский собор, заседавший с перерывами с 1545 по 1563 год, резко отмежевал католицизм от всех течений Реформации, признал весь объем полномочий папы, его верховенство, выражающееся в праве отменять даже соборные постановления. Свирепое преследование протестантов, подавление всех видов вольномыслия, к которому была от-

несена и бóльшая часть наследия гуманистов, курс на создание новых и реорганизацию старых церковных орденов, всяческое стимулирование планов насильственной реставрации католицизма в странах, где восторжествовала Реформация, — все это становится основной направленностью политики Рима.

Однако даже решения Тридентского собора были неоднозначны с точки зрения векового конфликта: были ли они направлены на консолидацию католического лагеря или на укрепление власти папы, что могло только обострить отношения между Римом и Габсбургами — двумя главными опорами контрреформации. Во время Тридентского собора папы использовали свою шпионскую сеть для лучшего манипулирования дебатами на соборе. С помощью секретной службы выявлялись намерения оппозиционно настроенных кругов духовенства, дискуссии сводились к спорам по догматическим вопросам, чтобы избежать обсуждения жгучих проблем реформы церкви, обеспечивалось большинство при голосовании, распространялись «нужные» слухи² и т. п. Это как бы предвещало то, какую большую роль станет отводить контрреформация тайной войне против своих врагов.

В середине XVI века на смену папам Ренессанса, пытавшимся использовать положение главы церкви для расширения своих светских владений, бонвиванам, ценителям гуманистической образованности, приходят свирепые фанатики, мечтающие повернуть вспять историю с помощью аутодафе, выкорчевывания вредной литературы, тайных убийств и вооруженных интервенций, предпринимаемых к вящей славе божьей. Как бы ни негодовали новейшие католические историки против такого «упрощения», мрачная тройца — индекс, инквизиция, иезуиты — выражает самую суть политики папства во второй половине XVI века.

Напряженность внутривластной ситуации, связанная с участием в переплетающихся между собой вековых конфликтах, особенно ярко проявилась в Испании XVI века — стране, казалось бы, достигшей вершины могущества, получавшей невиданные прежде громадные доходы от недавно открытых и завоеванных территорий в Новом Свете. И одновременно это была страна инквизиции, как бы олицетворявшей и неумное стремление испанской короны к поискам все новых источников доходов (в данном случае — от конфискации имущества осужденных), и неуверенность в крепости своего «тыла».

Целая гора книг написана об испанской инквизиции — обличительных, и апологетических (этим особенно отличилась католическая историография последних десятилетий). Известный католический историк Р. Тревор-Девис, перечисляя достоинства святого трибунала, подчеркивал, что инквизиция не считалась с привилегиями дворянства: Она стояла за социальную справедливость. Она имела тенденцию низвести всех людей... до одного уровня перед законом»³. Американский историк П. Дж. Хаубин пишет: Испанская инквизиция называлась по-разному — от ретивого защитника католицизма до раннего варианта фашистского гестапо. К определяющим ее развитие часто причисляли расизм, религиозную тиранию, предвзятую юридическую практику, постоянное сдерживание модернизации Испании и другие такого же рода факторы «регресса». Хаубин же, напротив, считает, что инквизиция является неотъемлемой частью прошлого величия Испании. В своеобразной форме, — пишет он, — это столь же эмоциональный термин, как, вероятно, «свободное предпринимательство» для многих американцев, «свобода, равенство братство» для многих французов и «диктатура пролетариата» для коммунистов во всем мире»⁴.

Одной из распространенных, хотя и не присущих профессиональным историкам, ошибок является выведение преемственности инквизиции конца XV и XVI веков по отношению к появившемуся более чем за два с половиной столетия до этого церковному институту для борьбы со средневековыми ересями. Первая инквизиция, создание которой относится к 1233 году, ставила целью искоренение альбигойской ереси в Южной Франции. Этой инквизицией был управлял через генерала и других руководителей доминиканского ордена. Инквизиция XIII века оставила мрачную память, на ее счету десятки тысяч невинных жертв. И все же ее активность была ограничена преимущественно южной частью Франции. В XVI веке инквизиция становится учреждением, стремившимся распространить свой зловеющий сыск на всю Европу и заморские владения европейских держав. Такие притязания определялись тем, что святой трибунал стал одной из ведущих сил в вековом конфликте. Королевская власть во многих странах с недоверием и недовольством смотрела на этот инструмент папской политики. В XV веке инквизицию считали учреждением, давно утратившим былое значение, и вряд ли кто-либо тогда мог представить себе, какую мрачную роль в жизни целого ряда последующих поколений было призвана

но сыграть новое судилище, присвоившее себе старое название.

Созданная в 1478 году в Испании инквизиция была целиком и полностью делом королевской власти, хотя и получила санкцию Сикста IV и папа являлся формально главой нового трибунала. На деле испанская инквизиция была с самого начала ограждена от вмешательства Рима. (Римская инквизиция возникла более чем через полвека после испанской, в 1542 г., в разгар векового конфликта.) Испанская инквизиция состояла из 22 трибуналов, располагавшихся в самой Испании и в ее европейских и заморских владениях, верховного трибунала — Супремы. Персонал инквизиции делился на штатных чиновников, включая судей, теологических консультантов, тюремщиков, и «внештатных» — фамильяров. Обычно фамильяры, в отличие от судей, не принадлежали к духовенству и нередко скрывали свою службу в трибунале. Эти находившиеся на сдельной оплате лица выполняли роль то полицейских, то тайных агентов, выведывающих, против кого было выгодно обратиться карающий меч инквизиции. Инквизиция стремилась обеспечить себе высокий общественный престиж. В созданной ею организации, вроде «Братства святого Петра-мученика», входили даже такие люди, как прославленный драматург Лопе де Вега.

Старая инквизиция преследовала тех, кто открыто отпал от Рима после того, как их предки веками исповедовали католицизм. Испанская инквизиция обратила свою карающую десницу против мавританского и иудейского населения (морисков и марранов), силой — под угрозой смерти или изгнания — обращенного в христианство. Эти «новые христиане» (возможно, что какая-то часть из них внутренне оставалась верна своей прежней вере и сохраняла родной язык, привычные обычаи и одежду) внешне обычно всячески пытались продемонстрировать свою преданность католической церкви. Старая инквизиция карала еретиков. Новой инквизиции надо было еще немалое число своих жертв превратить в еретиков — точнее даже не в еретиков, а в снова вернувшихся к исповеданию ислама или иудаизма, — чтобы получить основание для расправы с ними. По одной этой причине попытка была не просто данью «нравам эпохи», как любят писать апологеты святого трибунала из числа новейших клерикальных историков, а главным средством достижения цели. А целью были и террор против «новых христиан», и их ограбление в пользу королевской казны под благовидным предлогом искоренения ереси.

Пытка не была средством, так сказать, предварительного наказания заведомо виновного, она создавала самую вину любого арестованного, позволяя исторгать из него любые нужные признания. Приемы при этом были настолько устрашающими, что обеспечивали ложные показания и даже «добровольные» самооговоры. Этой же цели служили и публичные казни — аутодафе. Пытка являлась предпосылкой для успешного применения всех остальных методов инквизиционного следствия — даже в тех случаях, когда к ней не прибегали. Одинокое заключение, полная изоляция от членов семьи, сохранение в тайне имен свидетелей обвинения, возможность обратиться к услугам только адвоката, назначенного инквизицией и видевшего свою роль в том, чтобы побудить обвиняемого к самооговору, — все эти и другие хорошо известные черты инквизиционной процедуры основывались в конечном счете на страхе перед дыбой, перед пыткой водой или растягиванием суставов, которые особенно рекомендовались «любвеобильным» трибуналом как не сопровождающиеся кровопролитием. Страх перед следствием оказывался сильнее страха перед последующим наказанием, будь то бичевание, отправка гребцами на галеры либо даже мучительная смерть на костре.

В инквизиционном процессе главное, что бросается в глаза, — это вовсе не стремление определить виновность подсудимого — пусть даже «виновность» только с точки зрения самой Супремы, а система добывания признания в виновности всякого, кого это судилище пожелало бы видеть виновным. Инквизиция свирепо преследовала как лютеранскую ересь все, что хотя бы на йоту отклонялось от далеко не всегда ясно сформулированной ортодоксии. Достаточно сказать, что святой трибунал дважды бросал за решетку Игнатия Лойолу — в недалеком будущем основателя иезуитского ордена, подозревая его в еретических воззрениях. Даже глава испанской церкви, архиепископ Толедский, и тот провел 17 лет (с 1559 по 1576 г.) в тюрьмах инквизиции по заведомо сфабрикованному обвинению в склонности к ереси⁵.

Недоверие человек возбуждал нередко не из-за своих взглядов, а из-за своей родословной. А это недоверие к искренности исповедания католической веры оказывалось равнозначным сомнению в его лояльности к государству, подозрению, что он является скрытым агентом или потенциальным союзником внешнего врага.

Между тем реальных «еретиков» было очень немного. В 1558 году в Севилье и Вальдолите были раскрыты не-

большие группы протестантов (строго говоря, речь шла просто о сторонниках отдельных реформ внутри католицизма). Последовали жестокие репрессии. 8 октября 1559 г. сам король Филипп II в сопровождении своего сына и брата дона Хуана Австрийского присутствовал на одном из аутодафе. Филипп обнажил шпагу и заявил: «Если мой сын впадет в ересь, я сам лично принесу хворост, чтобы сжечь его». Некоторым из осужденных, когда их вели на костер, вставляли в рот деревянный кляп, чтобы они не могли выражать свои еретические взгляды к соблазну собравшейся толпы. Протестантов сжигали в Севилье и Толедо, в Сарагосе и других городах⁶.

В последнее время в западной исторической литературе явно проступает тенденция к занижению числа жертв испанской инквизиции. По новейшим оценкам, с 1550 по 1700 год инквизиция рассмотрела 150 тысяч дел. Из 42 тысяч, протоколы которых сохранились в архивах, три четверти касались обвинения в ереси, остальные — в оскорблении нравственности; 687 обвиняемых были казнены, еще 619 приговоренных к смерти либо бежали, либо скончались в тюрьме⁷. Даже если доверять этим цифрам, никак нельзя преуменьшить огромного деморализующего влияния святого трибунала на общественную жизнь Испании и других стран.

Не распространение ереси вызвало учреждение инквизиции, скорее наоборот — учреждение инквизиции способствовало сохранению ереси. Речь шла не о ликвидации ереси среди морисков и марранов, а о ликвидации морисков и марранов как определенных этнических групп. По сути дела, для них не существовало способов избежать внесения в тот роковой список, от включенных в который инквизиция всеми неправдами добывала признание вины. Иначе говоря, инквизиция преследовала лиц, которые не могли избежать преследования, ибо критерий, по которому они попадали в число обреченных, определялся не их действиями, а их происхождением. Враг, которого преследовала Супрема, был врагом не по своей воле, не в результате каких-то поступков, а вследствие принадлежности к определенной группе населения. Критерий не был подвластен человеку. А это означало, что врага церкви и государства обнаруживали даже в том случае, если не было и намека на сознательную оппозицию, будь то ересь или любые другие считавшиеся предосудительными деяния.

Супрема заранее обеспечивала себя достаточным количеством еретиков, как бы они ни стремились быть правовер-

ными католиками. В случае с Испанией это свидетельствовало о том, что спрос превышал предложение, что «добровольных» еретиков явно не находилось в достаточном количестве и их приходилось создавать самой инквизиции. (Недаром вымогаемые признания неизменно включали указания на обычно значительный круг мнимых сообщников, причем опять-таки поведение каждого конкретного человека, как правило, отнюдь не влияло на то, попадал или не попадал он в их число.) Официально же инквизиция никогда не признавала, что она преследует кого-либо по каким-то иным мотивам, кроме сознательно совершаемых преступлений против веры.

Преследование людей не за убеждения, а за происхождение породило в Испании XVI века и воззрения, и практику, во многом подобные расизму XIX и XX веков. При словесном строе средневековья происхождение предопределяло положение в обществе. Однако чистота крови ценилась прежде всего как чистота знатной, дворянской крови вне зависимости от национальности. Средневековая система ценностей вполне допускала межнациональные браки между равными по социальному статусу, но исключала межсословные брачные союзы.

Исходя из испанского представления о чистоте крови налагается запрет и на внутрисословные браки между старыми христианами и «новыми» — самими морисками и марранами или их потомками. А это, в свою очередь, препятствовало ассимиляции «новых христиан» и как бы увещивало опасность, которую они в глазах власти имущих представляли для церкви и государства. Любопытно, что для чистоты происхождения требовалось, чтобы в числе предков не было не только «новых христиан» (тем более мусульман или иудеев), но также лиц, осужденных инквизицией. Постепенно к тому же «новым христианам» запрещалось быть членами инквизиционных трибуналов, университетскими профессорами; круг запретных для них государственных должностей со временем все больше расширялся.

Конечно, делались исключения из правила — даже при «католических монархах» Фердинанде и Изабелле и при Филиппе II в числе высших сановников имелись «новые христиане». К ним относился и первый генерал-инквизитор Торквемада. Но эти исключения никак не влияли на происходившее вытеснение лиц, не могущих похвастаться чистотой крови. Более чем 300 тысячам из них все же удалось уцелеть, несмотря на все преследования.

Стоит ли говорить, что «чистота» крови во всех случаях была фикцией в Испании, где на протяжении столетий происходили интенсивные процессы этнического смешения. Система же выдачи сертификатов о чистоте происхождения на основе свидетельских показаний и при уплате специального сбора стала источником взяточничества, лже-свидетельства, всяческих подлогов, сведения личных счетов. А полученные таким способом сертификаты, в свою очередь, становились предлогом для шантажа и все новых требований⁸.

Во время правления Филиппа II испанские чиновники постепенно привыкали смотреть на население управляемых ими территорий — будь то в Европе или в Америке — как на людей низшего сорта. Один современник, сам испанец, еще в 1557 году писал, что его соотечественники, особенно кастильцы, «делают вид, что они одни происходят от неба, а весь остальной род людской — грязь под ногами». Герцог Альба именовал членов городского магистрата Брюсселя «падалью», причем не более высокого мнения он был вообще о нидерландцах, какие бы должности они ни занимали и какие бы звания ни носили⁹.

Наряду с инквизицией действовал иезуитский орден. Самое название «иезуиты» стало нарицательным на многих языках. Об «Обществе Иисуса» написано немало. Его обличали либеральные историки прошлого века, и им восторгаются клерикальные и вообще консервативные авторы в наши дни. В самый разгар «холодной войны» главный орган американских иезуитов журнал «Америка» писал про Игнатия Лойолу и других основателей «Общества Иисуса»: «В Америке середины XX века... эти имена с новой силой и яркостью освещают нам путь»¹⁰. А в сентябре 1984 года в речи на 39-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций президент США назвал Лойолу «великим духовным вождем человечества». Кому незнакомы в общем и целом методы иезуитов? В одной из песенок Беранже сам сатана рекомендует своему воинству следовать по стопам святых отцов из «Общества Иисуса»:

В пример возьмите тех лисиц,
Которых дал Лойола.
Будь каждый с виду прост
И прячь подальше хвост.

Нужно ли рассказывать о попытках иезуитов захватить в свои руки воспитание молодежи, особенно принадлежащей к верхам общества, занять места королевских исповедников при большинстве европейских дворов, приговорить к

смерти целые народы, как это было сделано в отношении восставших Нидерландов в 1568 году, или готовить самозванцев для занятия «вакантного» — с точки зрения ордена — московского престола, организовывать подпольные типографии в протестантских странах, руководить придворными куртизанками, принимать личину буддистов или огнепоклонников в заморских землях, обращать в рабство парагвайских индейцев — да разве все перечислишь! Лейтмотивом во всей этой кипучей деятельности были многочисленные заговоры, прямо организованные орденом или вдохновляемые им.

При всем разнообразии конкретных целей и применяемой тактики основной ставкой иезуитского ордена была победа в вековом конфликте. Поэтому неизменной сверхзадачей ордена было привлечение на сторону контрреформации всех сил, которые любыми средствами можно было мобилизовать для столь богоугодной цели. Положение в любой стране рассматривалось орденом с точки зрения решения главной задачи. Орден не устраивало просто торжество католицизма в той или иной стране, ему нужно было торжество католицизма воинствующего, прежде всего воинственно настроенного против протестантских государств. С крайним рвением включились иезуиты и в борьбу папства против «вредных» сочинений.

Надо заметить, что с самого начала векового конфликта резко изменилась обстановка для книгоиздателей, публиковавших литературу гуманистов. В 1530 году книготорговцы жаловались Эразму, что на юге Германии раньше было легче продать три тысячи томов, чем ныне шесть сотен. Росло число изданий только богословских сочинений. За 12 лет после перевода Лютером Нового завета увидели свет 85 изданий этого и других переводов¹¹. Однако Рим, естественно, очень мало устраивало расширение публикации богословской литературы, вышедшей из-под пера протестантов. Церковь веками запрещала сочинения, авторы которых высказывали мысли, не совпадающие в чем-то с идеологическим обоснованием позиции церкви в прошлых конфликтах.

В середине XVI века Тридентский индекс запрещенных сочинений все еще включал трактат Данте «Монархия». Мотив запрещения — как и за два с половиной века до этого: Данте утверждает, что император получает власть от бога, а не от его заместника на земле¹². Индекс превратился в немаловажное орудие векового конфликта и стал включать все большее число произведений, ранее одобряв-

шихся папами. После отмены индульгенций в индекс попали рекламировавшие их брошюры, и было даже разъяснено, что эти сочинения составлены провокаторами, пытавшимися опорочить святую церковь. Попали в индекс многие труды гуманистов, в том числе произведения Эразма Роттердамского, страстно стремившегося предотвратить вековой конфликт. Папа Павел IV (1555—1559) приказал внести в индекс сочинение, которое он написал сам до избрания главой церкви. Римская инквизиция запретила в 1622 году ученый трактат некоего Вечьетти, и сам автор провел долгие годы в темнице за то, что высказал отличное от обычного мнение по поводу даты Тайной вечери. Испанские цензоры гордились своим либерализмом — они допускали некоторые книги, категорически запрещенные в Риме, ограничиваясь вымарыванием в них «опасных мест»¹³.

В роли цензоров стремились выступать даже армии католического лагеря. В 1589 году Женева была обложена войсками герцога Савойского, решившего раз и навсегда уничтожить это «гнездо ереси». Осаждавшие не скрывали своих планов до основания разрушить город и особенно типографию, где печатались еретические книги. Хотя Женева оказалась в состоянии выставить лишь примерно две тысячи воинов для защиты городских стен, осада затянулась на целых девять лет и окончилась отступлением савойской армии.

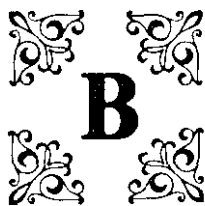
Протестантский лагерь не оставался в долгу. Религиозная нетерпимость была свойственна всем враждующим силам, и уже по одному этому очевидно, что она имела различное историческое значение в зависимости от того, кем она практиковалась, особенно в XVI веке, когда религия была другой стороной политики. Относительная веротерпимость последующего времени в странах, где победил буржуазный строй, могла утвердиться лишь в результате той борьбы народных масс в революционное время, которая проходила под знаменем нетерпимости. Поэтому было бы неправильным противопоставлять «консервативную» догматику кальвинизма его революционной политической роли, что неразрывно связано¹⁴.

Однако надо учитывать, что нетерпимость кальвинизма (и тем более лютеранства) была обращена не только против врагов справа, но и недругов слева — более радикальных течений в Реформации. Несомненно, что и в лютеранстве, и в кальвинизме был заранее заложен переход от смелой критики устоев католической церкви к созданию

новой ортодоксии, столь же нетерпимой, как и старая, и подкрепляемой протестантской инквизицией, столь же жестокой, как католическая в Испании и Риме, и не менее ее занятой преследованием гуманистов, бывших своих соратников по идеологическим сражениям кануна и первых лет Реформации. Хотя каждая из основных церквей преследовала «своих» еретиков, все они обрушивались на анабаптистов, антитринитариев, на секты, представлявшие народное течение в Реформации¹⁵. Недаром во время крестьянской войны Лютер писал: «Для господа пустячное дело истребить множество крестьян, когда он затопил весь мир потопом и уничтожил Содом огнем». Однако столь же несомненно, что крайности нетерпимости, которыми отличалось бюргерское течение — и там, где его победа была наиболее полной, как, например, в Женеве, и там, где она оспаривалась изнутри и извне, — были во многом следствием векового конфликта, добавив к внутренним мотивам важные внешние причины.

Вековой конфликт усиливал тенденцию к догматическому окостенению протестантской ортодоксии во имя укрепления «тыла»: подавление всех противников новой формы религиозного устройства создавало климат, при котором недавних союзников можно было представить помехой в борьбе. Вековой конфликт помешал проявиться тем аспектам Реформации, которые впоследствии стимулировали секуляризацию общественной жизни, в определенном смысле способствовали развитию передовой общественной мысли на ее длинном тернистом пути от эпохи гуманизма к столетию Просвещения.

Тень полумесяца



ернемся теперь из середины XVI века на сто лет назад — в середину века XV...

С наступлением весны 1453 года огромная армия султана Мухаммеда II подступила к Константинополю. Началась осада. День и ночь со стен византийской столицы вглядывались в море, откуда ожидали прибытия обещанных военных кораблей из Неаполя, Венеции и Рима. Они не должны были запоздать. Бригантина с 12 моряками, переодетыми в турецкие одежды, была послана к берегам Греции в поисках этого флота. Но суда не прибыли, их никто не посылал.

Не исполнилось пророчество, что ангел, спустившись с небес рядом с колонной императора Константина Великого, укажет на сидящего у подножия незнакомца, который с божественной помощью прогонит прочь захватчиков. 29 мая после ожесточенного штурма город перешел в руки султана. Император пал в сражении. Взятие Константинополя сопровождалось массовым избиением мирного населения, пока победители не решили, что живые невольники лучше мертвых христиан. Около 50 тысяч человек было продано в рабство. Турецкие хроники передают, что 300 греческих монахов объявили: сам бог, даруя победу султану, показал, какая религия является истинной, — и приняли ислам.

Город подвергся полному разграблению. Когда тот или иной дом обирали до нитки, на нем вывешивали флажок, чтобы избавить другие отряды турецкой армии от ненужных поисков спрятанного имущества. Книжные сокровища — та часть, которая уцелела при захвате Константинополя крестоносцами в 1204 году и после распродажи в последующие два с половиной века, — редко привлекали жадный взор победителей. Очевидец греческий кардинал Исидор передает, что погибло не менее 120 тысяч древних рукописей. Если верить молве, часть из них попала в библиотеку Мухаммеда II, но слух этот не нашел подтверждения. Даже через столетие, в 1555 году, Ожье Гизелин Бусбек, посол короля Фердинанда, брата императора Карла V, без труда мог покупать целые горы греческих рукописей.

Правитель генуэзского торгового квартала в Константинополе Перы (Галаты), который турки пощадили, писал в июне 1453 года под свежим впечатлением падения древней столицы Византии, что через два года Мухаммед пойдет походом на Рим. «Клянусь богом, если христиане не примут меры или не произойдет чуда, падение Константинополя повторится в Риме». А видный писатель Эней Сильвий Пикколомини (позднее ставший римским папой под именем Пия II) заявил на заседании имперского рейхстага во Франкфурте, что туркам открыта дорога на Венгрию и далее через нее — в Германию и Италию¹.

Братья погибшего императора Томас и Деметрий, владевшие княжествами в Южной Греции, ссорились между собой. Из ненависти к брату Деметрий предпочел капитулировать перед турками. В 1460 году он вернулся в Константинополь, отказываясь искать убежище на Западе по религиозным мотивам. В новой столице Оттоманской империи он получил от султана в дар значительную пенсию и свуха в качестве почетного телохранителя; впоследствии он мирно скончался от старости. Дочь Деметрия была взята во дворец Мухаммеда II. Томас (отец Зои-Софии, вышедшей за великого князя Московского Ивана III) уехал в Италию, прихватив драгоценную реликвию — голову святого Андрея, и получил пенсию от римского папы и кардиналов. Один из сыновей Томаса — Мануэль — вернулся в Константинополь. Мухаммед II подарил ему двух рабынь. Сын Мануэля стал одним из придворных султана. Что касается другого сына Томаса — Андрея, — то он женился на итальянской куртизанке и продал свои более чем призрачные права на византийский престол сначала королю Франции, а потом еще раз — королю Арагона. От трагического, как и от великого, до смешного — один шаг. Впрочем, эти слова были сказаны через три с половиной века после конца Палеологов.

Трагедия Константинополя произвела большое впечатление на Западную Европу. Многие поколения европейцев находились под влиянием «крестоносного духа», который можно было назвать даже идеологией крестовых походов. Горько оплакивали гуманисты захват «неверными» христианских стран, особенно, конечно, Греции, считавшейся колыбелью европейской культуры. Вместе с тем тот факт, что христианские государства не пришли на помощь Константинополю, показал их явное нежелание воевать за веру, если не затронуты их непосредственные интересы².

Некоторые западные авторы, начиная с Х. Тревор-Ропера³, склонны сравнивать конфронтацию социалистического и так называемого свободного (капиталистического) мира со столкновением между Востоком и Западом в эпоху Возрождения. «Действительно, — писал Р. Швებель, — имеются некоторые заметные параллели. В обоих случаях можно обнаружить не только борьбу и конфликт идеологий и противоположных социальных, экономических и политических систем. В период Ренессанса, как в наши дни, противники — латинское христианство и оттоманские турки — верили, что они ведут борьбу за существование. Каждый стремился изменить образ жизни другого. Обе стороны претендовали на то, что выполняют божественную миссию и что их соответствующие режимы составляют лучшую надежду человечества. Тогда правители думали преимущественно о военном решении спора. XIV, XV и XVI столетия заполнены битвами между турками и христианскими государствами. Большие войны перемежались ограниченными операциями и периодами непрочного мира, сравнимыми с нашими «холодными войнами». Однако враждебные действия прерывались также дипломатическими переговорами и мирными отношениями. Протагонисты вступали в переговоры, торговали и даже вели культурный обмен. И во времена мира или войны они были чувствительны к вопросам, затрагивающим престиж и общественное мнение; поэтому все стороны способствовали своей политике с помощью пропаганды внутри страны и за границей»⁴. Швებель признает, что наряду со схожими моментами существуют и различия, однако он неверно определяет эти различия и опускает главные из них, связанные с тем, что конфликт между Востоком и Западом в XVI веке был внутрiformационным конфликтом, а в XX веке впервые в истории передовой лагерь состоит из государств неэксплуататорского типа.

Вялая политическая поддержка Западом погибавшей Византии не была, конечно, случайной. Падение Константинополя совпало с заключительным этапом Столетней войны. Современники отнюдь не считали ее окончательно завершенной. Это служило для французского короля удобным поводом, чтобы отвергать любые планы крестового похода против турок. Интерес к этой идее проявлял при французском дворе только наследник престола — напомним, что речь идет о будущем короле Людовике XI, ставшем воплощением политики коварства и тайных козней.

Людовик XI вел упорную борьбу против крупнейших феодалов, могущество которых ослабляло власть короны, и прежде всего против герцога Бургундского Филиппа и его преемника Карла Смелого, также активных поборников — в теории — крестового похода. Примерно то же самое можно было сказать и о германском императоре Фридрихе III.

На определенных этапах конфликта, особенно в начале или при возобновлении после длительного перерыва) в конце, характерно известное расхождение во мнениях самих его идеологов и правящих кругов. Первые либо отбрасывают время — и их призывы к участию в конфликте не встречают сочувствия у власть имущих, — либо отстают от требований времени и цепляются за это участие, бесполезность или вредность которого осознается теми, кто принимает политические решения.

Первоначально турецкие завоевания в Малой Азии и в Греции вызывали слабый отклик у западноевропейских монархов. Вскоре после смерти осуществившего эти завоевания султана Мурада II в 1451 году гуманист Франциско Филельфо обратился к французскому королю Карлу VII с призывом возглавить новый крестовый поход. В этом документе отчетливо различимы характерные черты мышления идеологов нового векового конфликта: и переоценка угрозы со стороны неприятеля, и недооценка его военных ресурсов, способностей его руководителей (сына Мурада — Мухаммеда II, через два года захватившего Константинополь), и преувеличение возможностей, которыми обладали потенциальные друзья и единомышленники в неприятельском лагере (в данном случае — христианские подданные турецкого султана), и, главное, преувеличение готовности основных государств, которые должны были образовать коалицию, оставив в стороне свои споры. Филельфо планировал участие в союзе под эгидой Карла VII даже англичан, хотя еще не закончилась Столетняя война и в Лондоне не оставили планов возвращения недавно утерянных обширных областей французского королевства⁵.

Влияние, которое оказывали друг на друга переплетавшиеся вековые конфликты, было весьма различным. Более того, один вековой конфликт мог оказывать внутреннее противоречивое воздействие на другой, так что историку приходится устанавливать, какое из этих влияний было все же преобладающим. К тому же надо учитывать, что это влияние могло ограничиваться только идеологическим

воздействием, либо воздействием через систему международных отношений — то есть политической областью, либо, наконец, воздействием на социально-экономическое развитие. (Именно такой характер носило в VII в. столкновение христианства и ислама в Средиземноморье. Известный бельгийский историк А. Пиренн поэтому даже был склонен считать именно VII в. временем гибели античного мира и рубежом, с которого начинается средневековье.)

Влияние одного из конфликтов может обострять, расширять, углублять или, напротив, смягчать, отодвигать в сторону, постепенно сводить на нет другой конфликт. Возникают даже ситуации, при которых старый конфликт сохраняется как форма, как прикрытие, как отвлечение внимания от нового. Надо оговорить, впрочем, то, что не всегда новый конфликт доминирует над старым, иногда первый все время остается в подчиненной роли. Это зависит от многих факторов, и прежде всего от того, насколько глубоко данный конфликт отражает ведущий антагонизм эпохи.

192 года со времени восстановления Византийской империи в 1261 году волны турецкой экспансии разбивались о стены Константинополя. Последующие 230 лет, с 1453 по 1683 год, были временем то нарастающей, то ослабевавшей, но никогда не исчезающей угрозы турецкого нашествия на Западную Европу. Это был внутриформационный конфликт. Правда, в XV веке турецкий феодализм находился еще в процессе перехода от ранней стадии к развитой. В этом отношении турки отставали примерно на четыре столетия от Западной Европы, где подобное перерастание происходило в XI веке⁶. Энгельс отмечал, что османское нашествие «урожало всему европейскому развитию»⁷, что «турецкое, как и любое другое восточное господство несовместимо с капиталистическим обществом»⁸.

Турецкое завоевание сопровождалось обычно грабежом и избиением населения, а позднее — постепенным усилением налогового гнета. Однако этот гнет первоначально не всюду был более тяжким, чем тот, который ранее испытывало крестьянство от местных феодалов.

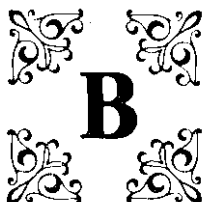
Что же касается веротерпимости, то турки здесь выгодно отличались от завоевателей, обуреваемых «крестоносным духом». Насильственное обращение в ислам, правда, практиковалось, но в различных завоеванных странах его масштабы обычно зависели от условий, в которых проис-

ходило само завоевание. В ряде мест часть церквей была захвачена турками в мечети, власти запрещали звон колоколов и вводили другие подобные ограничения. Однако, как правило, турки предпочитали превращать духовенство в органы своего управления, в придаток турецкой администрации. Во всяком случае, православная церковь пользовалась значительно большей терпимостью со стороны турецкого правительства, чем со стороны католических стран и Ватикана. Турецкое правительство, как правило, не было заинтересовано в вербовке новых приверженцев ислама — ведь христианское население облагалось дополнительным налогом, а из его среды насильственно изымали детей для воспитания будущих солдат султанской гвардии — янычар.

Надо добавить, что этот «налог кровью» был особенно тяжелым в XVI веке и постепенно уменьшался в следующем, XVII веке — как раз когда он стал широко известен в Европе и служил излюбленной темой обличения турецких завоевателей. Однако этот налог редко где встречал особое сопротивление, зачисление христианских детей в корпус янычар порой служило прологом к военной и придворной карьере, вызывавшей зависть самих турок.

Обращает на себя внимание соотношение турецкого продвижения и крестьянских войн. Хотя не было никакой прямой связи крестьянских войн во Франции и Англии с турецкой экспансией, этого нельзя сказать о косвенной связи — через воздействие этих войн на систему международных отношений. Что касается восстания в Венгрии и Крестьянской войны в Германии, то их связь с последующим турецким нашествием была более прямой. Попытки дальнейшего усиления феодального гнета, вызвавшие широкие крестьянские движения, сосредоточили основные силы господствующего класса на подавлении народных масс и ограничились их возможности и волю к отпору внешнему врагу.

Под стенами Вены



начале правления султана Сулеймана Великолепного (1520—1566), при котором Османская империя достигла зенита своего могущества, изменилось главное направление турецкой экспансии. После успешных походов против Персии и завоевания Египта Сулейман обратился против Юго-Восточной Европы. В 1521 году был захвачен

Белград, в течение многих десятилетий успешно выдерживавший атаки турок. Был открыт путь в Венгрию. В 1520 году был захвачен остров Родос и созданы условия для дальнейшего турецкого наступления в Средиземноморском бассейне.

Султан рассылал повсюду своих лазутчиков. Обычно это были христианские ренегаты, скрывавшие свой переход в ислам. Сами же турки в качестве разведчиков нередко попадали впросак из-за незнания европейских нравов, обычаев и религиозных обрядов. Например, один из агентов так сообщал о католической мессе, на которой он присутствовал: «Они убили ягненка и выпили его кровь». Значительно более полезной оказывалась информация, получаемая с середины века через учрежденный в Константинополе банк Иосифа Микаса, имевший связи с купцами в Венеции, Севилье, Антверпене и других торговых центрах¹.

29 августа 1526 г. в битве при Мохаче армия султана разгромила венгерские войска. Большая часть Венгрии подпала под власть турок, в сентябре повернувших, как обычно, назад, чтобы не вести зимнюю кампанию. После поражения при Мохаче венгры могли рассчитывать устоять перед наступлением османов, лишь передав королевский престол Габсбургам. Однако притязания Габсбургов на главенство в Европе отвлекали их от борьбы против турецкого наступления, отражение которого являлось жизненно необходимым для венгерского народа. Более того, политика Габсбургов, сталкивавшая их с Францией, породила союз между Парижем и Константинополем. Этот альянс исключал возможность опоры на французскую помощь для тех сил в Венгрии, которые стремились вести борьбу на два фронта — против турок и империи².

21 сентября 1529 г. армия Сулеймана в сопровождении вспомогательных войск поставленного турками венгерского князя Заполя подступила к стенам Вены. Численность нападавших достигала, по некоторым сведениям, 240 тысяч, и они привезли с собой 300 пушек. Гарнизон города насчитывал 22 тысячи солдат и 12 пушек. Эрцгерцог (будущий король) Фердинанд еще до начала осады уехал в Вену, чтобы поддерживать постоянную связь со своим братом — императором Карлом V, находившимся в Италии. При дворе Фердинанда считали, что, захватив Вену, турки в течение последующих трех лет ворвутся в Германию. Однако осада затянулась — приближалась зима, и 14 октября Сулейман приказал начать отступление. Турецкое нашествие было отражено (как показало время — надолго), хотя Фердинанд считал, что уже в следующем году султан повторит попытку занять Вену.

Осада Вены поразила воображение европейцев. Целых восемь столетий — со времени битвы при Пуатье в 732 году, в которой Карл Мартелл отразил нападение арабов, — ни разу страны Западной Европы за пределами Пиренейского полуострова не подвергались нашествию со стороны мусульманского Востока.

Еще со второй половины XV и начала XVI века тема усиливающейся турецкой опасности постоянно дебатировалась в ученых трудах, о ней слагали баллады народные певцы на ярмарках, о ней звонили «турецкие колокола» в разных германских городах, призывая к покаянию в грехах, чтобы смилостивить гнев божий, без которого не было бы успехов неверных. Интересно, что по-немецки слово «газета» (Zeitung) впервые, по-видимому, возникло в связи с антитурецкой пропагандой. В 1502 году была напечатана подборка известий «Newe Zeitung von Orient und Auffgang» о борьбе венецианцев с турками³.

Добиваясь от немецких, в том числе протестантских, князей денежных взносов для отражения турецкого нашествия, Карл V должен был пойти в 1532 году на подписание мира с ними. А это, в свою очередь, облегчило князьям-протестантам объединение в Шмалькальденский союз.

Вслед за снятием осады Вены военные действия переместились на границу Австрии и занятой турками Венгрии. После 1562 года граница между владениям Габсбургов и Порты оставалась, по сути дела, неизменной в течение целого столетия, хотя почти непрерывные вооруженные стычки на этом рубеже нередко перерастали в большие

сражения и постоянно существовала опасность нового оттоманского вторжения. Императорский посол в Константинополе Бусбек в начале 60-х годов предостерегал, кивая на могущество султана: «От персидской границы почти до окрестностей Вены он все подчинил своему игу»⁴.

С 60-х годов основное направление турецкой экспансии снова переместилось в район Средиземноморья. В руках Порты оказалась уже большая часть побережья Средиземного моря, а турецкий натиск все продолжался. На картах XVI века юг обычно изображали на верху листа, а север — в низу: огромный полумесяц турецких владений на севере Африканского континента как бы нависал над Европой. Правитель Алжира Хайр-ад-дин Барбаросса, поставленный Сулейманом во главе турецкого флота, в 30-е и 40-е годы наводил страх на все Западное Средиземноморье. Попытки испанцев наносить контрудары по прибрежным городам Северной Африки в целом окончились полной неудачей. Сам Карл V во главе 20 тысяч воинов высадился в 1541 году около Алжира, но вскоре должен был снять осаду города и, потеряв почти половину армии, едва спасся от преследовавших его турецких кораблей⁵.

В 1560 году Испания предприняла экспедицию с целью отвоевания города Триполи, за девять лет до этого занятого турками и находившегося сравнительно недалеко от острова Джербы. Однако турецкая эскадра рассеяла испанские корабли, 10 тысяч солдат Филиппа II были отправлены пленниками в Константинополь. Новый галерный флот, построенный в последующие два года, был почти уничтожен бурей во время маневров близ Малаги в октябре 1562 года. Боеспособность испанского флота с трудом удалось восстановить только к 1564 году, когда он смог снова возобновить наступление против турецких укреплений близ Тетуана. Это, вне сомнений, заставило Филиппа II пойти на уступки в Нидерландах (отзыв главного министра-кардинала Гранвелла). А в 1565 году турки начали осаду Мальты⁶, от исхода которой зависела судьба Западного Средиземноморья, и Филипп II снова месяцами не отвечал на письма правительницы Нидерландов, своей сестры Маргариты Пармской. Но вот турки были вынуждены снять осаду, и король в двух письмах Маргарите от 17 и 20 октября 1565 г. полностью отвергает все требования нидерландской оппозиции, выражая полную поддержку действий инквизиторов. Это было объявление вой-

ны недовольным, которые ответили открытым неповиновением. В 1566 году турецкий флот возобновил наступление, и в разгар его успехов Филипп направляет письмо Маргарите, предписывающее смягчить законы против еретиков.

В сентябре 1566 года оттоманский флот, не добившись успеха, вернулся в Константинополь, а вскоре после этого умер султан Сулейман Великолепный, в империи начались поспешные мятежи, восстания в провинциях. В ноябре 1566 года испанское правительство решает послать в Нидерланды наиболее закаленные полки испанской армии, поставив во главе их герцога Альбу — решительного противника любых компромиссов в отношениях с нидерландскими мятежниками. Однако эти части были направлены в Нидерланды из Милана лишь в июне 1567 года, когда выяснилось, что турки не предприняли очередного наступления. Турецкий флот не появился в Западном Средиземноморье ни в 1567-м, ни в 1568 году, позволяя Филиппу II тратить все наличные средства на содержание армии Альбы в Нидерландах. Взаимосвязь этих событий была вполне усвоена в западноевропейских столицах и тем более в самих Нидерландах. Так, например, Вильгельм Оранский писал во время осады турками Мальты: «Турки являются очень большой угрозой; это означает, как мы полагаем, что король не явится (в Нидерланды. — Авт.) в этом году»⁷.

7 октября 1571 г. при Лепанто (около побережья Греции) произошла крупнейшая морская битва XVI века. Она оказалась и последним крупным сражением гребного флота. 300 галер испанского короля и его союзников, имевшие на борту 80 тысяч солдат и моряков, атаковали еще более многочисленный мусульманский флот. Молитвы коленопреклоненных солдат на кораблях, поднявших флаги с изображением Христа, смешивались с боевым кличем мусульманских воинов. Несколько часов длился жестокий бой, в котором обе стороны пытались таранить и брать на abordаж вражеские корабли и в рукопашных схватках уничтожить их команду. Сражение окончилось полным поражением турок, победители потопили или захватили три четверти неприятельских судов. Во введении к «Назидательным новеллам» Сервантес писал, говоря о себе в третьем лице: «В морской битве при Лепанто выстрелом из аркебуза у него была искалечена рука, и хотя увечье это кажется иным безобразием, в его глазах оно — прекрасно, ибо он получил его в одной из самых знаменитых битв,

которые были известны в минувшие века и которые могут случиться в будущем...»⁸.

В разных странах победу при Лепанто были склонны рассматривать как победу христианства в борьбе с исламом, а не только как успех католицизма или даже только одной Испании. Тициан создал картину «Испания, пришедшая на помощь религии», на которой Филипп II предстал как орудие неба, карающее и неверных, и еретиков. Известный испанский поэт Фернандо де Эррера, заканчивая свою знаменитую «Оду на битву при Лепанто», восклицал:

По всем краям в честь господ да к небу фимам
Восходит, души же упрямец осужденных —
В геенне огненной. Я вижу их сожженных!

Шотландский король Яков (сын Марии Стюарт), воспитанный в протестантстве, в детстве написал поэму в честь победы при Лепанто, которую издал в 1591 году. Впрочем, он тут же получил отпор со стороны шотландской церкви, объявившей, что «весьма несоответственно его сану и религии, подобно наемному поэту, писать поэму в честь иностранного папистского бастарда»⁹, то есть командующего испанским флотом Дона Хуана Австрийского, незаконного сына Карла V.

Однако и после битвы при Лепанто Испания должна была держать 9-тысячную армию в Сардинии и создать резервный корпус в 10—12 тысяч солдат для укрепления позиций в других районах Средиземноморья.

Вскоре после Лепанто Франция предложила союз султану. Испанский наместник в Нидерландах герцог Альба писал о французах: «Они были бы счастливы потерять один глаз, если бы мы при этом лишились обоих»¹⁰. Венеция заключила сепаратный договор с Портой, получив в обмен на уплату контрибуции разрешение возобновить свою левантийскую торговлю¹¹.

Руководители нидерландского восстания еще в 1566 и 1567 годах посылали своих послов в Константинополь, но турки ограничивались лишь обещаниями помощи. В начале 70-х годов Вильгельм Оранский пытался добиться наряду с поддержкой ряда европейских держав также помощи султана и алжирского бея в осуществлении своего плана освобождения Нидерландов. В 1574 году султан послал большой флот для захвата Туниса, что ослабило испанские позиции в борьбе против нидерландских повстанцев.

Столкновения с Персией (тоже, кстати, приобретавшие черты векового конфликта¹²) постоянно отвлекали внимание Порты от Европы, тем более что традиция, по которой крупную турецкую армию должен был возглавлять сам султан, вообще исключала ведение если не войны, то активных военных действий сразу на двух фронтах. Войны Селима I с персидским шахом Исмаилом воспрепятствовали завоеваниям турецкого султана в Европе. (Это даже побудило императора Карла V вступить в переговоры с персидским шахом о союзе против турок¹³.) А наступление и планы наступления в Европе Сулеймана Великолепного не раз терпели неудачу (в 1533, 1548 и 1552 гг.) из-за военных кампаний против персидского шаха Тамаспа I.

В середине XVI века упоминавшийся выше императорский посол бельгиец Бусбек писал: «Когда турки уладят свои отношения с Персией, они возьмут нас за горло, опираясь на мощь всего Востока. Насколько мы не готовы, я не решаюсь сказать». Поэтому уже начиная со времени правления папы Юлия II (1503—1513) Рим стремился нащупать пути сотрудничества с Персией, несмотря на огромные тогда препятствия, создаваемые отдаленностью этого потенциального союзника. (Время, которое уходило на доставку корреспонденции и тем более посылку дипломатов, занимало не месяцы, а годы, и не раз к моменту получения информации обстановка кардинально менялась — адресат успевал умереть.) Вслед за папой такие попытки были предприняты Венецией, а потом императором Карлом V и его братом Фердинандом.

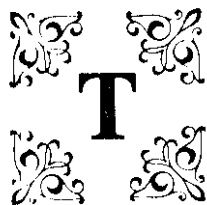
Битва при Лепанто не имела такого решающего значения, какое ей первоначально приписывали торжествующие участники антитурецкой лиги, а нередко и последующие поколения. Турки очень быстро восполнили понесенные потери¹⁴. Правда, в 1572 и 1573 годах испанцам удалось добиться серьезных успехов в Северной Африке. Осенью 1573 года эскадра под командой дона Хуана Австрийского захватила Тунис и Бизерту. Но удержать завоеванное не хватило средств. Летом 1574 года новый турецкий флот, не уступавший по мощи тому, который участвовал в сражении при Лепанто, отвоевал Тунис и вернулся с триумфом в Константинополь¹⁵. Современникам не дано было знать, что такое торжественное возвращение стало последним в истории оттоманского флота. Да и причины тому лежали во внутренних процессах развития самой Порты, а не в отдаленных последствиях битвы при Лепанто.

По дороге на родину турецкие корабли задержались около острова Корфу, что оживило прежние опасения и страхи Венеции. Огромный турецкий флот угрожал Сицилии. В 1574 году Тунис, а в 1576-м — Марокко подпали под власть Порты. Филипп II приказал послать секретного агента в Константинополь для переговоров о перемирии. Лишь смерть персидского шаха и концентрация внимания Порты на конфликте с Персией побудили султана согласиться в марте 1577 года на прекращение военных действий, за которым последовало формальное заключение перемирия в 1580 году. Планы установления испанского господства в Средиземном море путем победы над Портой развеялись как дым.

В 1578 году началась, как уже указывалось, новая война Турции с Персией, которая продолжалась до 1590 года и в течение этих 12 лет занимала лучшие армии Порты. Уже с середины XVI века вопрос о союзе с Персией как средстве избавления от турецкой угрозы открыто обсуждался даже в памфлетной литературе. Филипп II, присоединивший к своим владениям Португалию, старался через португальские колонии в Африке наладить более прочные связи с Персией и, по некоторым сведениям, даже посылал туда опытных пушечных мастеров. А в 1585 году среди противников Габсбургов всерьез заговорили о тайном договоре между Филиппом II и персидским шахом о разделе мира (Испания должна была достаться Европа, а шаху — Азия). Ходили слухи и о намерении шаха Аббаса (1586—1628) перейти в христианство и о том, что он якобы уже носит под верхней одеждой крест в знак уважения, которое питает к Иисусу Христу. Стратегические мотивы тесно переплетались с перспективами развития выгодной торговли, привлекавшей особый интерес английских и голландских купцов. «Персидская карта» упорно разыгрывалась как в начале XVII века, так и во время Тридцатилетней войны.

Уже с конца XV века влияние на соотношение сил в конфликте с исламом оказывал рост могущества Русского государства. Еще в большей степени сказывалось это с середины XVI века — в начале правления Ивана Грозного, присоединившего Астрахань и Казань.

Турецкий образ жизни



уркам мало что было известно о Европе. Они иногда даже черпали сведения у... античных авторов. Столь же мало знали они европейскую историю. Бусбек писал, что турецкие чиновники «не имеют представления о хронологии и датах и создают удивительное и хаотичное смешение из всех эпох».

Впрочем, долгое время европейцы были не в лучшем положении, хотя не было недостатка в сочинениях, посвященных турецкой угрозе. Например, во Франции между 1480 и 1609 годами вышло вдвое больше книг о Турции, чем об Америке¹. «Впечатление, которое производили турки на европейцев в XVI веке, различалось от класса к классу и от страны к стране», — справедливо отмечает английский историк П. Коулс, автор книги «Оттоманское влияние на Европу»².

Осуждение Оттоманской империи было далеко не единодушным. Появлялись отдельные сочинения, в которых предсказывалось, что «турецкий кайзер» поможет крестьянину и бюргеру освободиться от давящего на них тяжкого гнета. Количество благоприятных отзывов о турках в публицистике XVI века было настолько велико, что английская исследовательница в конце 60-х годов нашего века отмечала широко распространенное мнение, что султан имел, как бы теперь назвали, «пятую колонну» в Европе»³. Действительно, еще Мухаммед II посылал значительное число лазутчиков на Запад, но вряд ли в их задачу входила пропаганда «турецкого образа жизни». Это мерещилось только тем монархам (и их окружению), которые имели основания особо опасаться турецкого нашествия. Так, последний король Боснии писал Пию II, что турки стараются привлечь на свою сторону крестьян, обещая им свободу, и те настолько простодушны, что верят этим посулам.

Среди поклонников турецких нравов и законов довольно неожиданно можно обнаружить и английского короля Генриха VIII, того самого, который сначала написал «опровержение» лютеранской ереси и получил от папы титул «защитника веры», а через несколько лет начал проводить

Реформацию в Англии и казнил Томаса Мора за неповиновение королевской воле. Того самого короля, который был известен своими шестью женами (двух из них он отправил на эшафот) и фабрикацией процессов о государственной измене. Генрих послал даже своих представителей изучать законодательство Сулеймана Великолепного и практическую деятельность турецкой юстиции... (Отметим между прочим, что трактаты, идеализирующие Оттоманскую империю, являлись и показателем того, как прокладывала себе дорогу мысль о необходимости рассмотрения государства в качестве чисто земного учреждения, не нуждающегося в религиозной санкции, и оценкой его вне связи с исповедуемой им религией или тем более вне его отношения к религии других стран.)

На иностранных наблюдателей производили впечатлительные многие особенности турецкой административной машины: вызывала удивление «Школа» султана, которая готовила чиновников для управления покоренными странами и учеников в которую набирали из жителей этих стран. Особенно поражало, что турки не придавали большого значения знатности происхождения, что высшие сановники юридически являлись рабами султана и что имущество этих лиц (иногда огромное) после их смерти возвращалось в казну падишаха. Верхушка оттоманской администрации, по сути дела, не была турецкой. В нее входили принявшие ислам люди разных национальностей, потомки захваченных в плен и проданных в рабство людей из многих соседних стран, янычар, ряды которых, как уже было отмечено, до XVII века пополнялись преимущественно за счет христианских детей, насильственно отбираемых у родителей. Доктор Кавел, входивший в состав английского посольства в Константинополе, писал о султанине Мустафе II (1695—1703): «У него совершенно русское лицо., его мать была русской, а его отец — русского происхождения». Французский дипломат Филипп дю Фран-Канайе писал в 1573 году в своем «Путешествии в Левант»: «Султан... управляет многими народами, совсем различными по религии и нравам, таким образом, что кажется, будто его империя является совершенно единой». А знаменитый политический мыслитель Жан Боден в «Шести книгах республики» (1576 г.) восторженно отзывался о веротерпимости султана и добавлял: «Более того, даже в его серале в Пере он разрешает исповедовать различные религии — еврейскую, христианско-римскую, христианско-греческую и ислам...»

Конфронтация христианства и ислама, запреты, предусмотренные мусульманской религией, различия в нравах и вкусах не воспрепятствовали проявлению султанами уже в первой половине XV века (еще до взятия Константинополя) интереса к европейскому искусству и культуре, не мешали вниманию и почету, с которым принимали при турецком дворе итальянских и греческих художников, писателей, врачей, ученых, просто образованных людей — будь то купцы или дипломаты. В одном из музеев Флоренции — Галерее Буонаротти — находится картина Д. Бильверти, художника, жившего в конце XVI — первой половине XVII века. Она изображает сцену отказа Микеланджело принять приглашение султана, переданное через специальное посольство, отправиться в Константинополь для выполнения заказов турецкого двора. В действительности султан не присылал посольства к Микеланджело, хотя художнику действительно дважды (в 1506 и 1519 гг.) предлагали приехать в турецкую столицу. Сцена, изображенная Бильверти столетие спустя, вымышлена, но она тем более характерна для «драматизации истории» в духе векового конфликта. Не менее характерны, однако, и переговоры, которые велись с Микеланджело вопреки не только этому конфликту, но и вопреки ясному запрещению живописи исламом — одной из противостоявших в этом конфликте идеологических систем.

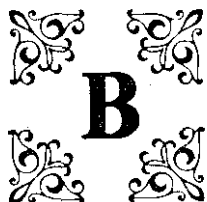
Характерно, что имела место неприязнь турок к европейским художникам, связанная в определенной степени с вековым конфликтом. Дело в том, что обычно в состав европейских посольств включали опытного рисовальщика, причем отнюдь не для удовлетворения простого любопытства в отношении быта и нравов Константинополя и султанского двора. Задачей этого отдаленного предшественника некоторых атташе по вопросам культуры было набросать портреты различных высокопоставленных сановников и других лиц из султанского окружения, чтобы их можно было узнать в случае появления в Европе в качестве турецких шпионов⁴.

Турецкая тема широко входит в западноевропейскую литературу. Уже в начале XVI века романтизируется история родного брата султана Баязета — Джема, который бежал из Турции и потом много лет содержался в заключении разными европейскими государями, включая римского папу Александра VI Борджиа, с целью шантажировать Порту угрозой появления претендента на престол и выманить крупные суммы денег якобы на содержа-

ние пленного принца. Можно напомнить также, насколько широко сюжеты, связанные с действиями североафриканских корсаров, представлены в творчестве Сервантеса. Соперничество между сыновьями Сулеймана Великолепного и другие эпизоды турецкой истории находили широкое отражение в европейской драме. Опера В. Давенанта «Осада Родоса» посвящена одному из наиболее ярких эпизодов борьбы Порты и европейских государств за преобладание в Восточном Средиземноморье.

Несомненно, что в XVI веке Западная Европа, вступившая в переходную эпоху, обогнала страны ислама по уровню развития ремесла, науки и техники. Вместе с тем — и отчасти именно поэтому — тысячи и тысячи европейцев добровольно эмигрировали во владения султана, переходили в ислам, надеясь обрести возможность для применения своих способностей, которой не находили у себя на родине. К этим добровольным «ренегатам» надо прибавить еще больший поток жертв национальных и религиозных преследований, искавших убежище в Оттоманской империи, тысячи военнопленных, обращенных в рабство и пытавшихся переходом в ислам вернуть себе свободу, начать новую жизнь в Алжире, Каире или Константинополе. Напротив, обращение в христианство было сравнительно редким явлением и никогда искренним — даже среди военнопленных⁵.

«Золотой век» гонений



течение столетий в Испании христиане и мавры должны были научиться жить бок о бок, несмотря на длившиеся тоже веками войны между христианскими и мусульманскими государствами. Даже после завершения реконквисты в 1492 году государство и церковь первоначально проявляли известную долю терпимости к мав-

ританскому населению, хотя довольно скоро начали заниматься обращением его в христианство.

Положение изменилось после того, как Испания втянулась в конфликт с исламом, точнее, с Османской империей и ее сателлитами. Надо добавить, что это произошло уже после того, как в первую четверть XVI столетия основная часть мавров приняла крещение. Их стали именовать «морисками». Многие из них оставались приверженными вере предков. Наряду с христианскими именами, которые давали детям при крещении, их тайно наделяли арабскими именами. Часть мавров, сохранивших верность исламу, в 1526 году подняла восстание в горах Эспадана, подавленное с большим трудом при помощи германских наемных войск. Правительство Карла V вынуждено было ограничиться сравнительно мягкими условиями договора: в случае принятия христианства повстанцам было разрешено сохранить свои обычаи, на протяжении 40 лет на них не должна была распространяться юрисдикция святого трибунала. В течение некоторого времени после этого власти были прежде всего озабочены тем, чтобы «новые христиане» исправно платили налоги.

Однако по мере втягивания Испании в оба основных конфликта на международной арене положение менялось. Христианские помещики были довольны, что их держатели-мориски увеличивали свои доходы — ведь тем самым возрастали и возможности взимать с них более высокую ренту. Напротив, правительство и церковь с тревогой следили за возрастанием имущества и числа «новых христиан» (прирост населения у морисков был большим, чем у испанского населения). Исподволь социальные низы приучали смотреть на морисков как на конкурентов, отбирающих землю у арендаторов из числа старых христиан, заказчиков — у ремесленников, покупателей — у мелких торговцев. Особые подозрения у инквизиции вызывало то, что многие мориски имели оружие, которое они не хотели сдавать властям. Между прочим, едва ли не главной причиной этого были не планы нового восстания, а стремление арагонских магнатов сохранять вооруженные отряды своих вассалов, среди которых было немало морисков.

Морискам приписывали всяческие пороки. В «Назидательных новеллах» Сервантеса так отражено это распространное мнение: «Было бы чудом отыскать среди них одного мавра, искренне верящего в наш христианский закон: вся их забота состоит в том, чтобы копить деньги и беречь накопленное. С этой целью они работают, отказывая себе даже в еде: когда к ним в руки попадает реал, в особенности же не простой, они присуждают его к пожиз-

ненному тюремному заключению; таким образом, все время наживая и ничего не расходуя, они собирают и хранят у себя огромные деньги из тех, что обращаются в Испании. Они — ее копилка, ее моль, ее сороки и хорьки: все они собирают, все прячут и все поглощают. Не следует забывать, что их много и что каждый божий день они понемногу наживают и откладывают (а медленная лихорадка подтачивает жизнь с такой же силой, как и скоротечная); поскольку, однако, мавры все время размножаются, все время увеличивается и число укрывателей, причем опыт показывает, что они множатся и будут множиться без конца»¹.

Мориски рассматривались и короной, и духовенством как потенциальная агентура грозного врага внутри страны. В действительности дело обстояло не совсем так, а может быть, и совсем не так. Мориски могли стать вполне лояльной частью разноплеменного населения Испании, если бы подозрительность, мелочные придирки и все более усиливавшиеся преследования не подтолкнули их к сопротивлению и к поискам помощи извне. Вероятно, аналогичный результат дали бы подобные гонения против любой категории населения. Удивляться приходится лишь тому, насколько все же слабыми оказались контакты подвергавшихся жестокому преследованию морисков с внешними врагами испанской монархии.

Выше говорилось о том, какой характер приобретала деятельность Супремы с середины XVI века. «Золотой век» Испании стал «золотым веком» гонений. Все более глубокое вовлечение Испании в международные конфликты, происходившие в форме религиозных, идеологических столкновений, наложило дополнительный отпечаток на отношение властей к проблеме морисков. Можно ли было считать безопасным положение государства, когда в ряде его районов — да еще прибрежных — население состояло почти целиком из морисков, а во многих селениях старыми христианами были только священник, нотариус да еще иногда деревенский трактирщик? Стремление морисков держаться вместе с теми, кто подобно им сохранял язык, костюм и обычаи предков, естественно, только усиливалось от преследований. Репрессии не помогали, а вредили процессу ассимиляции, а это, в свою очередь, укрепляло подозрения и страхи властей. Морискам стали приписывать связи не только с алжирскими корсарами — что было неудивительно, когда те усилили свои рейды против Средиземноморского побережья Испании, — но и с француз-

скими гугенотами (через Каталонию), что уже не было в ладу ни с какой логикой, кроме той, что и мусульмане, и протестанты были врагами «его католического величества» короля Испании. Впрочем, политика репрессий приводила к тому, что самые нелепые подозрения стали претворяться в действительность.

Если речь шла о связях с гугенотами, мориски подкивали с ними торговлю оружием и другим военным снаряжением. В отношении же алжирских корсаров дело было сложнее. В 50-е и 60-е годы корсары не раз высаживались на испанской территории, иногда продвигаясь на 10—12 километров вглубь. На их кораблях нередко уезжало немало морисков. В 1565 году турки осадили остров Мальту. Все попытки испанцев нанести контрудары (например, экспедиция против Триполи) окончились неудачей. А тут еще инквизиция представила «доказательства» связи морисков с корсарами Алжира и Тетуана, с вождями марокканских племен, более того, приводился даже факт пересылки в Константинополь известия о том, что «новые христиане» готовы захватить ряд портовых городов и передать их в руки турецкого флота. Сообщалось также, что ранее бежавшие из Испании мориски были посланы в качестве шпионов на Мальту, чтобы собрать сведения о находившейся там испанской эскадре. Правда, все подобные признания были сделаны под пытками в казематах инквизиции, но это отнюдь не смущало правительство Филиппа II.

Еще в 1526 году был издан Прагматический эдикт, ставивший под запрет мусульманские одежды, имена, песни, танцы и даже мавританские бани, которые превратились в своего рода политические клубы. Долгое время это законодательство оставалось по большей части только на бумаге, но 1 января 1567 г. — в 75-летнюю годовщину завоевания Гренады, последней опоры мавров на Пиренейском полуострове, — было объявлено, что Прагматический эдикт будет введен в действие в течение двух лет. Притеснения становились непереносимыми. В отчаянии мориски прибегли к единственному оставшемуся у них средству — открытому восстанию. Начавшееся в конце 1567 года, оно охватило обширные горные районы между Сьерра-Невадой и побережьем. Мориски учитывали, что 60 тысяч отборных солдат испанской армии находились в Нидерландах, а также надеялись на обещанную им помощь турецкого султана. Восставшие одержали ряд побед. Папский нунций при дворе Филиппа II сообщал в секрет-

ной депеше от 26 октября 1569 г., что, если мятеж продлится еще одну зиму, испанское государство может потерпеть катастрофу². Неспособность Филиппа II длительное время, несмотря на мобилизацию крупных военных сил, подавить восстание стала сразу же фактором общеевропейского значения. Вильгельм Оранский писал: «Примером для нас является то, что мавры оказались способны столь долго оказывать сопротивление... Посмотрим, что произойдет, если мориски продержатся до того, как турки смогут оказать им помощь»³. В 1569 году алжирский бей, вассал Порты, послал повстанцам оружие и военное снаряжение, провел рейды на побережье Испании, а в январе 1570 года занял испанский протекторат Тунис. Султан сам обещал прийти на помощь морискам в борьбе против «тиранических и проклятых неверных», но запоздал.

Для разгрома повстанческой армии, насчитывавшей до 45 тысяч вооруженных солдат, испанским властям потребовалось два года. После подавления восстания, в ноябре 1570 года, 150 тысяч морисков были изгнаны из Гренады в другие части Испании. Не менее чем пятая часть из них погибла по дороге от голода и лишений. Провинция была опустошена, как после вражеского вторжения, а проблема морисков, расселенных теперь по всей территории королевства, была превращена из локальной в общеиспанскую. Спыхватившись, власти запретили морискам селиться в приморских районах Андалузии (с 1579 г.) и Валенсии (с 1586 г.). Оксфордский историк Ч. Петри писал: «Сомнительно, что XX столетие лучше бы обошлось с морисками... Во всяком случае, Филипп II наконец получил свободу рук в противоборстве с турками, не опасаясь ножа в спину»⁴. Это лишь воспроизведение точки зрения самих испанских властей.

«Мы должны рассматривать всех морисков как заклятых врагов», — читаем в официальной переписке 1588 года. После поражения в том же году Непобедимой армады, посланной против Англии, морискам стали приписывать связи с британскими еретиками, опасались восстания «новых христиан» в случае возможных рейдов английского флота. Стоит добавить, что численность морисков не превышала 80 тысяч человек, то есть составляла меньше одного процента 9-миллионного населения Испании⁵.

Общественная атмосфера, созданная вековым конфликтом, породила и кровавую «охоту на ведьм», развернувшуюся в Западной Европе и потребовавшую многочислен-

ных жертв. Не случайно хронологические вехи этих преследований точно совпадают с рамками векового конфликта (примерно 1520—1650 гг.), а центрами гонений стали районы, которые являлись главным полем борьбы между враждующими лагерями⁶.

Нечестивый альянс



Испания Карла V неизбежно должна была превратиться в основного противника турецкой империи. Она являлась одним из источников мощи германского императора, с войсками которого турки столкнулись при своем продвижении на Балканах, и главной силой среди христианских государств, противостоящих Оттоманской империи в Средиземном море. Вассалы Порты в Северной Африке — прежде всего Алжир и Триполи — существовали за счет нападений на испанские владения в Южной Италии и Сицилии, на испанские корабли. А порожденное конфликтом усилившееся преследование морисков и марранов в Испании вызвало новую волну эмиграции — и прежде всего во владения султана. Часть из эмигрантов сумела добиться влиятельного положения в Константинополе при дворе Сулеймана Великолепного и усердно подогревала там антииспанские настроения, которые, впрочем, и без того порождались самой сложившейся обстановкой и все больше влияли на планы турецкого падишаха¹.

По существу, Порты угрожала не Западной Европе в целом, а определенным странам, и прежде всего владениям Габсбургов, поэтому объективно она была союзником для всех противодействующих Римской империи сил, и в первую очередь для лагеря Реформации. В знаменитых тезисах Лютера 1517 года (которые были осуждены папой в 1520 г.) 34-й тезис специально посвящен турецкой угрозе. В нем указывается, что сражаться с турками значило бы сопротивляться осуждению всевышним людских прегрешений и пороков. Этот же тезис Лютер защищал в 1520 и 1521 годах в своих возражениях на папскую буллу об отлучении его от церкви. Однако в конце 20-х годов высказывания Лютера приобретают совсем другой харак-

тер. В октябре 1529 года он уже заявлял: «Я буду до смерти бороться против турок и турецкого бога».

В чем же была причина полной перемены, которую претерпела позиция духовного вождя княжеской реформации? Изменилась международная ситуация. В 1517 году угроза нового турецкого похода на Венгрию и через нее — на Германию не казалась близкой. В турецкой экспансии преобладало средиземноморское направление, и здесь организация отпора была заботой папства — главного врага рождавшегося протестантизма. Борьба против турок должна была неизбежно принять характер борьбы против неверных под главенством папы — не удивительно, что в сознании Лютера она казалась покушением на авторитет и повеления господни, тем более что церковная традиция учила: Атилла — «бич божий». (Между прочим отметим, что другие теологи шли дальше, пытаясь представить турецкое продвижение как исполнение предсказаний Даниила и других пророков Ветхого завета. Лютер возражал против таких истолкований Библии.)

В 1529 году после сражения при Мохаче началось нашествие на Австрию. Война против турок теперь должна была вестись под главенством императора, как раз в это время враждовавшего с римским престолом. Но одновременно не наступило — и не могло наступить — и прочное примирение Карла V с протестантскими князьями, чьим идеологом выступал Лютер. Его высказывания отражали опасение, что спор протестантских князей с императором приведет к постепенному завоеванию Германии турецкими полчищами, к победе ислама над христианством. Однако в тех же памфлетах, где Лютер призывал к единству против надвигавшихся турок, он неизменно напоминал, что с папой и доктринами Рима следует сражаться с такой же энергией, как против султана и мусульманской веры. Повторяя в своих сочинениях — вплоть до последнего из них, — что нашествие неверных — знак гнева божьего, наказание греховной Европы, что поэтому «турок — наш школьный учитель», Лютер призывал не впадать в отчаяние, поражением и покаянием заслужить прощение и избавление².

Эразм Роттердамский расходился с Лютером в оценке оттоманской опасности, но считал, что успехи султана действительно являются следствием испорченности христианского общества и что изменения к лучшему могут завоевать ему уважение и дружбу грозного врага. Американский историк С. А. Фишер-Галати в специальной моно-

графии «Оттоманский империализм и немецкий протестантизм. 1521—1555» приходит к следующему выводу: «Протестанты с готовностью связали проблемы, возникшие для Габсбургов в результате прямой и косвенной оттоманской агрессии, со своей борьбой за существование, за консолидацию своих позиций и экспансию в Германии... Почти все главные уступки, вырванные у Габсбургов с 1526 года, были связаны с оттоманскими действиями в Восточной и Западной Европе, и во всех наиважнейших кампаниях лютеран за юридическое признание в Германии эксплуатировался нерешенный конфликт Габсбургов и Порты из-за Венгрии»³. (Венгерские магнаты-кальвинисты во второй половине XVII в. также обращались за помощью к туркам против Вены.)

Линия соприкосновения между двумя конфликтами прослеживается прежде всего в сфере финансов. Как раз злоупотребление папства денежными суммами, которые оно извлекало из различных стран под предлогом снаряжения нового крестового похода против турок, и послужило одним из главных поводов к началу Реформации в Германии. Император Карл V стал объединяющей силой в борьбе против турок и одновременно против реформационного движения. Вместе с тем для того, чтобы выставить достаточно многочисленную армию, способную остановить турок, Карл нуждался в крупных денежных субсидиях, а добиться их от рейхстага, где было сильно влияние протестантских князей, оказалось невозможным без удовлетворения части их требований. В результате в период наибольшей опасности со стороны турок были сделаны наибольшие уступки протестантизму, от которых потом не удавалось отказаться. Турецкое нашествие в определенной мере способствовало тому, что утверждение протестантизма приняло необратимый характер.

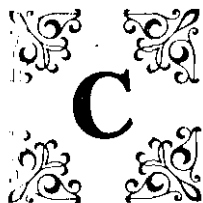
На заседании рейхстага в Шпейере в 1526 году обсуждался вопрос об осуществлении утвержденного за пять лет до того, в 1521 году, но не претворенного в жизнь решения, ставившего Лютера как еретика вне закона. Однако и новый рейхстаг уклонился от реализации прежней резолюции: на Венгрию надвигались бесчисленные турецкие рати, и было невозможно допустить серьезный внутренний конфликт в Германии. Подобная же ситуация сложилась и в 1529 году во время осады турками Вены. После отступления армии Сулеймана Великолепного Карл попытался проводить более жесткую линию против протестантов. Результатом было создание Шмалькальденской

лиги, главный организатор которой — князь Филипп Гессенский — явно строил свои расчеты с учетом возможности нового турецкого наступления. Ее не мог игнорировать и сам Карл V, писавший в июле 1531 года, что он вынужден будет, вероятно, пойти на соглашение с лютеранами. На протяжении ряда последующих лет сохранялась самая непосредственная связь между борьбой Карла против турок и против Шмалькальденской лиги — обострение одной приводило к ослаблению другой.

Но взаимосвязь между двумя конфликтами проявлялась не только в Германии. Германский император в качестве короля Испании был главной силой, противостоявшей туркам в Средиземноморском бассейне, и эта борьба требовала большого напряжения сил. Она, по существу, исключала возможность широкого использования ресурсов Испании и итальянских владений империи в борьбе против протестантской партии в Германии. К этому стоит добавить, что в завоеванных европейских странах Порты не только не мешала, а скорее способствовала существованию и развитию всех форм протестантизма среди христианского населения. А не будь турецкого завоевания — католическая контрреформация постаралась бы уничтожить все следы «ереси».

В целом в первые три — решающих для протестантизма — десятилетия он смог выиграть время для организации своих сил и консолидации своих рядов в огромной степени благодаря «турецкой угрозе». Иначе говоря, продолжавшиеся тщетные попытки решить вооруженным путем старый внутриреформационный конфликт с особой отчетливостью выявили невозможность военного решения нового, более фундаментального, межреформационного конфликта. Цели одного конфликта и далее постоянно вступали в противоречие с целями другого. Характерно, что иезуиты, правдами и неправдами устроившись в Константинополе, занялись не миссионерской проповедью, обращенной к неверным, а доносами султанским властям на проживавших в городе протестантов и православных греков. При этом иезуиты продолжали эту деятельность десятилетиями вплоть по крайней мере до середины XVII века⁴.

Письмо Франциска I



ила натиска османов определялась не только тем, что он получал косвенную поддержку от протестантских княжеств, но в еще большей степени тем, что турки нашли союзника в могущественном католическом государстве — Франции.

В 1525 году войска Карла V нанесли в битве при Павии сокрушительное поражение французской армии, возглавлявшейся самим королем Франциском I. Глава французского королевства был увезен пленником в Мадрид. Ему удалось освободиться лишь ценой унижительных обещаний, которые он, впрочем, вырвавшись на волю, поспешил взять назад. Пока Франциск оставался в плену, ставшая во главе французского правительства королева-мать Луиза Савойская попыталась завязать связи с султаном. Первые ее посланцы были перехвачены и убиты агентами Габсбургов. Одному из французских представителей — некоему Иоанну Франджипани — в декабре 1525 года удалось достичь Константинополя. Он передал от имени королевы просьбу напасть на владения императора, который иначе станет господином всей Европы. Это послание королевы-матери, по мнению одного из ее новейших биографов, позволяет считать, что она первая выдвинула концепцию «равновесия сил»¹. (На деле, как мы убедимся, эта концепция и даже начало ее практического применения относятся к более раннему времени.) По ходившим слухам, Франджипани доставил также личное письмо Франциска, которое тот тайно направил в Париж из своей мадридской тюрьмы и которое курьер провез спрятанным в подошве ботинка. Султан, намечавший поход на Венгрию, ухватился за представившуюся возможность обрести союзника. Он даже отправил ответное послание Франциску, советуя не падать духом в несчастье, и устно через Франджипани обещал помощь против Карла V. От императора не укрылся этот, по его выражению, «свято-татственный союз лилии (герба Валуа. — Авт.) и полумесяца»². Современники вспоминали, что, когда импера-

тор Карл V упрекнул Франциска за союз с «неверным псом» — султаном, король ответил: «Я воспользовался помощью пса, но для того, чтобы мое стадо не попало в зубы к волку»³.

Французская дипломатия стремилась воспрепятствовать союзу Карла V с протестантскими князьями на анти-турецкой основе. Часть историков полагает, что Франциск I прямо призывал султана в 1525 году к нападению на Венгрию. (Такие же обвинения раздаются в адрес Венеции и самого папы. Говорили даже о том, что ими были посланы вспомогательные отряды для усиления турецкой армии.) В 1533 году состоялась встреча Франциска I с папой Климентом VIII. Папу современники обвиняли в том, что он дал согласие на союз французского короля с султаном, а также с германскими протестантами. Это нельзя подтвердить документально. Зато фактом является то, что Климент пересказал содержание этих секретных переговоров Карлу V. По словам папы, король прямо заявил: «Я не только не собираюсь сопротивляться турецкому нашествию на христианские страны, но, напротив, насколько смогу, буду способствовать ему, дабы облегчить себе возвращение того, что принадлежит мне и моим детям и что было узурпировано императором»⁴.

Франко-турецкий союз диктовался и расстановкой сил, но обе стороны не могли открыто заключить его. Это было затруднительно и для «его христианского величества» короля Франциска I, носившего титул «защитника веры», и для «повелителя правоверных» — султана Сулеймана. Даже неформальное и первоначально сохранявшееся в тайне соглашение между Парижем и Константинополем было встречено в Европе с негодованием. Однако в 30-е годы XVI в. связи между Парижем и Портой стали общеизвестным фактом. Французские купцы получили от султана торговые привилегии в Турции (так называемые капитуляции 1535 г.)⁵.

Под предлогом сохранения Франции на стороне католицизма в главном вековом конфликте Габсбурги хотели вернуть ее на свою сторону и в другом вековом конфликте — христианства и ислама. По тайному Жуанвильскому договору, который в декабре 1584 года заключила Испания с французской Католической лигой (группировкой крайних католиков), последняя обязалась порвать союзные отношения, которые уже полвека связывали Францию и Османскую империю⁶. Французские гугеноты также не раз пытались ходить «турецкой картой». Адмирал

Колиньи установил связи с Сулейманом Великолепным, прерванные смертью султана в 1566 году. После убийства адмирала во время Варфоломеевской ночи контакты с султаном Мурадом III завязал Генрих Наваррский (будущий Генрих IV), неоднократно получая обещания помощи против Филиппа II.

Восставшие Нидерланды также пошли по этому пути. Уже в 1569 году тайный посланец Вильгельма Оранского прибыл в Константинополь. Попытки установления прямых контактов с Портой предпринимались и в последующие годы. Символический смысл имел один эпизод в длительной борьбе нидерландцев против армии Филиппа II: когда осажденный испанцами Лейден был спасен прибытием подкреплений, солдаты носили на своих шляпах изображение полумесяца с надписью «Лучше турки, чем паписты»⁷.

Интересы еще одного важного участника конфликта — Венеции, связанные с отсутствием у нее достаточных сил (особенно сухопутных) для отпора натиска Оттоманской империи, влекли островную республику к попыткам создания возможно более широкого и мощного союза против турок, превращения войны против султана в конфликт христианства и ислама. Вместе с тем крайняя зависимость Венеции от торговых путей на Восток, находившихся под турецким контролем, от поставок зерна из Малой Азии, с Балканского полуострова и из Южной России, подвоз которого был невозможен без согласия султана, уязвимость венецианских владений в Восточном Средиземноморье делали Республику святого Марка особенно податливой на турецкие угрозы и готовой на крайние уступки ради окончания войны. В 1540 году Венеция вышла из антитурецкой коалиции, в которую входили помимо нее император и папа, и обратилась к Порте с просьбой о мире. Причиной были явное несоответствие военных целей Венеции и Карла V (он ограничивался борьбой против Алжира) и забота о сохранении оставшихся владений в Восточном Средиземноморье.

Венеция сыграла особую роль в тайной войне, которая сопровождала вековой конфликт. Информация, которую смели друг о друге обе стороны, столкнувшиеся в конфликте, была, как говорилось выше, весьма неполной и, главное, обычно крайне устаревшей. Поэтому сведения, которые можно было получить любым путем из Константинополя, ценились очень высоко. Источником таких сведений для ряда христианских государств были Венеция

с ее хорошо налаженной разведкой, а также некоторые круги в порту Рагуза (нынешний Дубровник), которые, в частности, регулярно снабжали новостями Ватикан. Турки, в свою очередь, решили использовать осведомленность венецианской дипломатии и секретной службы. Во времена мира с Турцией Республика святого Марка была очень заинтересована в том, чтобы не возбуждать неудовольствия султана. Учитывая это, венецианского посла в Константинополе вежливо попросили сообщить Порте все детали подготовки императором Карлом V военного флота. С турецкой стороны было любезно добавлено, что выполнение этой просьбы не обременит венецианское правительство, поскольку его представители знают даже, «что делает рыба в морских глубинах».

Впрочем, случались провалы и у венецианской разведки. В 1540 году инструкции венецианскому послу, который вел мирные переговоры с турками, были проданы французам, а те передали полученные сведения своим турецким союзникам. Это имело самые тяжелые последствия и резко ухудшило для Венеции условия договора, подписанного с турецким султаном⁸.

Англия при Елизавете придерживалась принципа держаться подальше от борьбы с исламом⁹. Это вполне соответствовало интересам британской торговли. Позднее английская дипломатия начала все более активно использовать связи с Портой в своих дипломатических комбинациях.

На протяжении XVI века неоднократно выдвигались проекты прекращения одного векового конфликта путем объединения обоих лагерей для участия в другом. Кальвинист Ла Ну, брошенный в тюрьму Филиппом II, в 1584 году составил план нового крестового похода. Такие же идеи развивал капуцин отец Жозеф, позднее ставший главой секретной службы Ришелье. Все эти планы остались на бумаге.

Наиболее серьезных успехов Габсбурги добивались, когда наступала временная пауза в развитии одного из конфликтов. Яркий пример тому — победа объединенных эскадр, выставленных Испанией, Венецией и папой, над турецким флотом при Лепанто 7 октября 1571 г. Это было как раз в то время, когда казалось, что герцогу Альбе удалось полностью подчинить Нидерланды, а Англия — другой возможный противник — была парализована недавним (1569 г.) католическим восстанием в северных графствах, и Елизавета I опасалась новых заговоров (одним

из них стал знаменитый «заговор Ридольфи», который мог быть отчасти и правительственной провокацией). Политика временного приглушения одного из конфликтов для сосредоточения всех сил на другом становится с конца 70-х годов вполне осознанной целью испанской дипломатии. В 80-е годы она добивается неоднократно возобновляемых соглашений о перемирии с турками, чтобы сосредоточить силы против Англии и Нидерландов, вместе с тем обвиняя их в стремлении заручиться поддержкой «врагов христианства».

С начала XVII века исчезает прежнее единодушие в оценке серьезности турецкой угрозы. Сомнения в том, что Порта по-прежнему представляет опасность для западного христианства, стали высказываться все чаще. Еще в 1607 году английский посол Генри Лелло, вернувшись на родину, выразил мнение, что Турция переживает упадок и что западноевропейским странам будет нетрудно одержать над ней решительную победу. Его преемник в Константинополе Томас Ро, наблюдая за хаотическим состоянием дел во времена очередного междуцарствия и мятежа янычар, в 1622 году писал, что Османская империя «неизлечимо больна». Ро предвосхитил на 230 лет известную фразу русского царя Николая I о Турции как о «больном человеке Европы»¹⁰.

По мере ослабления Порты Габсбурги не раз стремились утилизировать недовольство поработанных турками христианских народов Балкан, пытались вмешиваться в борьбу за престол, возникавшую после смерти почти каждого из султанов. В 1609 году и в последующие годы испанские власти обсуждали планы использования некоего Яхия, утверждавшего, что он сын Мехмеда III, родившийся в октябре 1585 года и переправленный в Грецию своей матерью, которая опасалась, что ее ребенок будет убит после смерти султана и вступления на престол его преемника. (Сам Мехмед при занятии трона истребил 18, по другим сведениям — 21 своего брата.) На протяжении последующих двух десятилетий о возможности извлечь выгоду из притязаний этого турецкого «Гришки Отрепьева» не раз подумывали правительства ряда европейских стран.

Особое внимание обращало на себя отставание турецкого военного флота, по-прежнему состоявшего из галер, тогда как в Европе стали строить значительно более крупные и быстроходные парусные корабли. Много говорили об ослаблении Порты сторонники нового крестового

похода, которые не перевелись даже после начала Тридцатилетней войны (1618—1648 гг.), сделавшей явно невозможным осуществление такого проекта. Констатация упадка могущества Порты явно опережала события, и планы военного решения конфликта со всем исламом — и даже с одной только Оттоманской империей — по-прежнему оказывались столь же химерическими, как и за столетие до этого, в годы правления Сулеймана Великолепного. Окончательно упадок Порты стал очевидным после последнего турецкого похода в Западную Европу в 1683 году, закончившегося поражением под Веной. Польский король Ян Собеский вступил в освобожденную от осады Вену. Вскоре в свою столицу вернулся и император Леопольд, публично вопрошавший, должен ли он, наследственный монарх, давать аудиенцию королю по праву избрания, каким являлся победитель турок. Обсуждение этого вопроса, ярко проявившее истинно габсбургское представление о благодарности, заняло целых пять дней, и турки смогли спокойно отступить за пределы Австрии.

После 1683 года для Порты начинается период почти непрерывных неудач и отступлений. Войны Габсбургов против Оттоманской империи в самом конце XVII и начале XVIII века уже во многом лишены примет векового конфликта. Религия перестает играть прежнюю роль; это проявилось и в том, что офицеров в императорские войска набирали, не обращая внимания на то, католики они или протестанты, что главнокомандующим был принц Евгений Савойский — если не свободомыслящий, по критериям того времени, то явно равнодушный к религии человек (ходили даже слухи, что его пытались отравить иезуиты, когда он воевал против армий Людовика XIV). Но и на этой стадии вековой конфликт не получил военного решения. Он постепенно переставал быть самим собой, превращаясь в пресловутый «восточный вопрос» — вопрос о судьбах преимущественно европейских территорий, еще находившихся под властью Порты, и проливов Дарданеллы и Босфор.

Призраки Эскуриала


В


конце 50-х годов XVI в. один за другим сходят со сцены Карл V и французский король Генрих II, английская королева Мария Тюдор, Лойола и Кальвин, папа Павел IV и другие персонажи, воплощавшие вековой конфликт в первые десятилетия его развития. Наступил краткий перерыв в борьбе, который был дополнен миром

между Испанией и Францией. Юг Европы — Испания и Италия — остался вне влияния Реформации, которая победила на севере — в части Германии и Скандинавии, пустила корни на западе Польши и в Чехии. В Англии, Франции и Нидерландах предстояла еще длительная борьба между протестантизмом и контрреформацией. На сцену выступают руководящие фигуры нового этапа борьбы — Филипп II, Елизавета I Тюдор, Екатерина Медичи, Вильгельм Оранский, папы контрреформации, пришедшие на смену папам эпохи Возрождения.

Неистовый шотландский проповедник - кальвинист Джон Нокс опубликовал трактат «Первый звук трубы против уродливого скопища женщин», в котором обличал католических принцесс и королев и предрекал бедствия от их прихода к власти. Он имел в виду прежде всего Екатерину Медичи и Марию Стюарт, которым действительно предстояло сыграть немаловажные, хотя и весьма различные роли в вековом конфликте.

К тому времени, как проявилась неудача попытки сокрушить протестантизм в Германии военным путем, оба лагеря уже разработали идеологическую платформу, которая служила им на протяжении последующего столетия вооруженной конфронтации. Основы протестантизма были заложены в трудах идеологов первого поколения Реформации — прежде всего Лютера — и второго поколения — Кальвина. Впоследствии к ним не было добавлено ничего существенно нового. Не появилось и новых имен, могущих в какой-то мере соперничать по влиянию с этими основателями различных течений в протестантстве. В противостоящем лагере решения Тридентского собора торже-

ственно подтвердили слегка модернизированные догматы католицизма, усилив вместе с тем централизацию и эффективность церковной организации. Завершением Тридентского собора в 1564 году и (за год до этого) смертью Кальвина можно датировать окончательное идеологическое оформление враждующих лагерей. Оба они уже обладали к этому времени и своими ударными отрядами: кальвинисты — в протестантском лагере и иезуитский орден — в стане контрреформации.

Конфликт затронул все слои общества — от монархов и социальных верхов до простого народа, которому предстояло нести основную его тяжесть. Он затронул и все слои общественной идеологии, теологию и философию, науку, литературу, искусство. Для современников были неясны социально-экономические причины конфликта и совершенно недоступно предвосхищение его последствий.

Едва ли не все мирные договоры периода векового конфликта были, по существу, лишь перемириями: стороны договаривались не о прекращении конфронтации, а о временной передышке. В этих соглашениях стремились застолбить условия, которые создавали бы в будущем предлоги для возобновления вооруженной борьбы. Государства все же заключали мирные договоры, а международные отряды контрреформации, прежде всего иезуиты, продолжали действовать. Развитие конфликта шло скорее не по восходящей линии, а по спирали. Первые десятилетия он сдерживался военной конфронтацией двух наиболее могущественных католических держав — империи Карла V и Франции, окончившейся только в 1559 году. Попытки военного решения конфликта были ограничены рамками Германской империи. Во второй половине века такие попытки распространились почти на всю Европу.

Середина века была, таким образом, переломным пунктом. Начиная с 60-х годов вековой конфликт сосредоточивается на борьбе за Нидерланды, восставшие против Филиппа II, за раздираемую гражданской войной Францию, за Англию и Шотландию — на борьбе, которая должна была определить судьбу Европы. В эту борьбу были втянуты разные силы и разными путями — либо непосредственно, либо через цепную реакцию, вызываемую конфликтом в системе международных отношений.

«...А король Филипп пребывал в неизменной злобной тоске... И вечно его знобило, ни вино, ни пламя душистого дерева, непрерывно горевшего в камине, — ничто не согре-

вало его. Он всегда сидел в зале среди такого множества писем, что ими можно было наполнить сто бочек. Филипп писал неустанно, все мечтая стать владыкой мира подобно римским императорам». Таким предстает испанский король со страниц бессмертной «Легенды об Уленшпигеле» Шарля де Костера. Историческая традиция приписывает Филиппу II, превратившему Мадрид в столицу Испании (в 1561 г.), добровольное уединение в расположенном неподалеку мрачном и пышном замке-монастыре Эскуриал. В Испании Эскуриал считали восьмым чудом света, в его сооружении и украшении участвовали лучшие зодчие и художники Испании, Италии и Фландрии. Впоследствии четырехугольная неприветливая каменная глыба, далеко видная на темном фоне гор Сьерра-де-Гвадаррама, напоминала кому гигантскую казарму, кому госпиталь. Впрочем, затворничество Филиппа является известным преувеличением. Некоторые историки даже употребляют здесь слово «легенда» — королю случалось объезжать испанские провинции, да и не все время года проводил он в Эскуриале. Но в легенде хорошо схвачена суть политики Филиппа II, все более отрывавшегося от реальной действительности и как будто и впрямь отгородившегося от жизни высокими стенами монастыря. Политическое мышление короля все менее считалось с теми фактами, которые противоречили его предвзятым концепциям. Если Карл V облакал планы реакционного лагеря в откровенно имперскую форму, то Филипп II выдвигался на первый план как лидер и знаменосец католической контрреформации. (В исторической литературе много спорили даже о термине «контрреформация», который нередко пытались заменить понятиями «католическая реформа», «католическая реформация»¹. Суть дела от этого не меняется.) В 1564 году Филипп II писал папе Пию IV: «Чем допустить малейший ущерб для истинной религии и служению господу, я предпочел бы потерять все свои владения и, если бы я мог, сто раз лишиться жизни, ибо я не являюсь и не буду правителем еретиков»².

Като-Камбрезийский договор 1559 года фактически означал установление испанской гегемонии в Италии в обмен на признание французских приобретений на восточной границе (Мец, Верден, Туль, Булонь), а также недавно (за год до подписания документа) отвоеванного Кале, которым целых два столетия владели англичане. «После 1559 года Испания играла роль арбитра Европы, — писал известный американский историк, — и пока мотивом ис-

панской политики была упрямая решимость поддерживать status quo (что означало сохранение испанской гегемонии), интересам Филиппа больше всего соответствовали консерватизм и всеобщий мир»³. Однако все дело заключалось как раз в том, что сохранение и укрепление испанского преобладания были немислимы без попыток подавления множасщегося числа внутренних и внешних, открытых и скрытых, потенциальных и действительных врагов. Некоторые западные историки считают, что приписывать Филиппу II намерение «обратить в католичество весь мир» — значит упрощать реальное положение вещей, поскольку каждая из завоевательных акций Испании была следствием целого ряда конкретных мотивов и обстоятельств. Однако протестанты будто бы считали, что Испания стремится к их сокрушению, и действовали в соответствии с этим представлением⁴.

В бесчисленных бумагах Филиппа II исследователи не обнаружили чего-либо подобного плану создания всемирной монархии, с которым носился Карл V. Известный американский историк Г. Д. Кенигсбергер считал это обстоятельство доказательством того, что у короля и не было такой цели, что он субъективно прежде всего стремился к защите своих владений от покушений внешних врагов и к сокрушению ереси внутри страны. «Однако остается существенно важный вопрос — что он подразумевал под этими целями и какими действиями он стремился их достигнуть»⁵. На практике оказывалось, что достижение этих целей было связано не только с подавлением восстания в Нидерландах и с сокрушением мощи Порты, но и с подчинением в той или иной форме Франции и Англии, с преодолением сопротивления протестантских князей преобладанию Габсбургов в Европе.

Вековой конфликт создавал дополнительные возможности — идеологические, политические, дипломатические и военные — для ведения главной державой реакционного лагеря захватнических войн. Но наряду с этим он умножал причины и мотивы ведения войны для победы над отдельными входящими в неприятельский лагерь государствами, для предупреждения его возможного усиления, для захвата выгодных стратегических позиций с целью продолжения в будущем вооруженного конфликта против главных сил противника. Многочисленные «частные» войны велись как подготовка для возобновления войны во всеевропейском масштабе. Существование векового конфликта не только способствовало созданию военно-полити-

ческих блоков, цементировало их сплочение. Оно помогало ведущей державе консервативного лагеря заставить других участников смириться с ролью младших партнеров, с неравноправным положением; подчинить свою внешнюю политику интересам лидера; идти на более крупные расходы, чем казалось им целесообразным, на передачу их вооруженных сил под иностранное командование и на участие в военных операциях, прямо не связанных с защитой их государственных интересов; проводить даже внутри своей страны меры, угодные державе-гегемону; наконец, порой просто оставаться в рамках данного союза вопреки собственным выгодам.

Новейшие католические авторы, ополчившиеся на «очернение» Филиппа II, к чему, по их мнению, были склонны либеральные историки прошлого века, подчеркивают, что королю были свойственны облагороженное религиозное высокое чувство долга, стремление к строгому, пусть даже и нелицеприятному, отправлению законов и правосудия. Эти авторы только редко замечают, что монаршее «чувство долга» включало убеждение в праве короля тайно осуществлять любые незаконные и вероломные действия, отдавая в них отчет лишь богу (или, точнее, придворным духовникам, всегда готовым оправдать любые деяния Филиппа).

Филипп II был воплощением того, что последующие поколения окрестили бюрократическим правлением. С утра до ночи сидел он в своем кабинете, пытаясь «управлять миром за письменным столом»⁶, просматривая множество бумаг, в том числе и маловажных, заполняя их длинными замечаниями и нравоучениями на полях и даже педантично исправляя орфографические ошибки. Здесь, за письменным столом, ткал он бесконечную паутину административных указаний, военных приказов и внешнеполитических интриг, которая должна была оплести все известные тогда страны Старого и Нового Света. Личные привязанности и дела редко отрывали короля от поглощавшего его бумажного моря. Он, правда, четыре раза был женат, но всегда шел под венец только по мотивам глубоко династическим и дипломатическим. В 27 лет он женился на английской королеве Марии Тюдор, которая была на 11 лет старше его. Когда она умерла, ему было 32 года, и на этот раз была избрана 14-летняя невеста. Вся жизнь Филиппа II была подчинена бюрократическим добродетелям, которые в его представлении сливались с религиозным долгом. Постепенно он приобрел привычку

ежедневно по три-четыре часа, стоя на коленях, возносил молитвы господу. Прямым результатом стала лишь нервозность, мучившая его много лет до самой смерти.

В январе 1568 года король в сопровождении вооруженной стражи появился в покоях своего сына и наследника Дон Карлоса. Проснувшийся принц в страхе спросил: собирается ли тот убить его. Филипп со своей холодной невозмутимостью приказал изъять булавку и держать его под арестом. Это было последнее свидание отца с сыном, который был помещен в тюрьму в Алькасар. Пока Филипп II обсуждал со своими советниками судьбу Дон Карлоса, 25 февраля 1568 года он умер, были и остаются неизвестными. Вероятно, принц, который обнаруживал сильные признаки психического расстройства, был сочтен Филиппом II недостойным занимать престол. Однако сразу пополезней принц казнен и притом за любовь к своей жене Валуа либо даже за участие в «протестантском бегстве». Молва еще ранее приписывала Дон Карлосу сам бегство в Нидерланды (а впрочем, и в Италию). Но сам Дон Карлос не очень скрывал свои намерения, и это скорее превращало их в причуды невольного человека, чем в обдуманное действие. Впоследствии именно слухи о заговоре насильственно породили легенду о Дон Карлосе, которую Ф. Шиллер в своей знаменитой трагедии «Филипп II» (1799 г.), в которой описаны эти планы бегства Дон Карлоса, и Филипп II в адрес своего беспощадного отца:

Ночной король, коварный согляда-
Угрюмый и неистовый король,
..... король
Молчанья, бешенства и гнева.

Недоверие ко всем Филипп II возвел в принцип своего правления. Объектами его подозрительности были даже герцог Альба и Александр Фарнезийский, верность которых была проверена в самых сложных обстоятельствах. Это недоверие не только отражалось на ведении дел: не решаясь доверить или иного из своих наместников или подданных, вместе с тем сознательно лишал их необходимых полномочий для успешного выполнения перед ними задачи. Таким образом

обивался усиления своей власти, того, чтобы корона не
оилась орудием в руках различных аристократиче-
группировок или придворных клик. Но это никак
омогало достижению целей в многочисленных войнах
ругих внешнеполитических предприятиях испанского
ля.

Основной чертой империи Филиппа II, — писал из-
ный французский историк Ф. Бродель, — безусловно,
ется ее испанский, можно даже сказать, кастильский
актер»⁷. В этом она резко отличалась от державы его
Карла V. Уже в 1546 году протестантские памфле-
Германии заявляли об императоре, родившемся в Ни-
андах, и его возможном преемнике — Филиппе:
должен нами управлять валлонец, а вдобавок и испа-

В этих условиях консервативный лагерь должен был
ллироваться к национальным предрассудкам и вражде.
периоды максимального напряжения векового конфлик-
становилось невозможным обходиться без более или
нее широкого вовлечения в него масс. Руководители
консервативного лагеря, однако, по существу ничего не
гли обещать массам, кроме надежды на военные трофеи
для тех, кто попадал в ряды сражавшихся армий. Тем
более напряженно должен был действовать аппарат идео-
ического принуждения, обещаая награду на небе, играя
осталости и суевериях, разжигая ненависть к чужакам
вступая на путь социальной демагогии, когда участие
онflikте приводило к гражданской войне. Идеология
реформации подчеркивала примат интересов веры
интересами государства, которые должны были выво-
ся не из анализа реальной действительности, а из
митов религии и основанных на ней универсальных
новых норм.

В Европе утверждалась система национальных госу-
ств, большинство из которых сознательно или бес-
ательно тяготело к соблюдению принципа равно-
и сил, известного уже античности⁹ и вновь усвоен-
в эпоху Возрождения. Между тем ход веково-
конflikта все более ясно отражал планы руководя-
державы католического лагеря по созданию уни-
альной монархии. Усиливалась тенденция к бипо-
ности, хотя внутри протестантского лагеря и не было
щего государства, вокруг которого консолидировались
силы Реформации. Вместе с тем возможность выхода
екологического конфликта создавалась как раз относительным

равновесием сил, эта военная биполярность открывала путь к политической многополярности.

Направленность векового конфликта могла идти вразрез не только с государственными интересами тех стран, которые были вовлечены в него (порой вопреки их политическим приоритетам). Участие в конфликте против протестантизма на стороне Испании и германского императора явно противоречило национальным интересам Франции. Поэтому, оставаясь католической, Франция фактически выступала против главных сил католической контрреформации как в первой половине XVI века (при Франциске I и Генрихе II), так и в первой половине XVII века (об этом далее). Ситуация менялась только в последней трети XVI века — во время длительных гражданских войн, когда католическая партия во Франции считала участие в вековом конфликте средством одержать победу внутри страны. Полного совпадения интересов консервативного лагеря в целом и любой из входящих в него стран не было никогда, даже если понимать государственные интересы так, как их представляли себе правительства этих стран. К тому же по этому вопросу не было единодушия и в самих правящих кругах. Так, если Филипп II вполне отождествлял интересы Испании с династическими устремлениями испанской ветви Габсбургов, то даже среди его приближенных были люди, сомневавшиеся в выгодах, связанных с участием в вековом конфликте, и отдававшие себе — хотя бы отчасти — отчет в тех бедствиях, которые это участие приносило стране. И именно благодаря существованию таких настроений даже Филиппу II приходилось маскировать порой интересы династии заботой о государственных приоритетах в собственном смысле слова. Однако представлять главной выгодой для страны достижение химерической цели уничтожения противника в вековом конфликте значило просто сделать бессодержательным самое понятие государственных интересов. Король привык отождествлять задачи стремившихся к европейской гегемонии габсбургских держав, и прежде всего Испании, с интересами католицизма. Но и он готов был идти на крайние меры, использовать крупные военные силы только там, где на карту были действительно поставлены великодержавные интересы Испании.

Такая раздвоенность была присуща и Ватикану. Папство выступало вдохновителем лагеря контрреформации. Пий V, посылая вспомогательный отряд на помощь французским католикам, дал приказание его командиру графу

Сантафиоре: «Никого из гугенотов не брать в плен, а всякого, попавшегося в руки, тотчас же умерщвлять»¹⁰. Пий V рекомендовал Филиппу II подавить нидерландское восстание силой оружия, одобрил кровавые меры Альбы и послал ему освященные шляпу и меч. Во время разгула террора в Нидерландах папский нунций заявил, что он «совершенно доволен» действиями испанских властей¹¹. В 70-е и 80-е годы папа Григорий XIII не скрывал, что ставит целью общее нападение на еретическую Англию, и вел об этом переговоры с Филиппом II и Гизами¹². В 1590 году папа Григорий XIV отлучил от церкви «прелатов, дворян и людей третьего сословия, которые упорствуют в том, чтобы оставаться верными еретике». Случалось даже, что для испанской дипломатии, эксплуатировавшей «дух контрреформации», но преследовавшей собственные цели, создавали немалые сложности прямолинейность и слепая ненависть к еретикам, которые утверждались в Ватикане, когда политика сменял узколобый фанатик вроде Пия V.

Этот первосвященник, 73-летний суровый аскет, монах-доминиканец, инквизитор и профессор теологии, был известен своей ненавистью к еретикам и еретическим сочинениям. Испанский посол сообщал в Мадрид, что «церковь не имела лучшего главы за последние 300 лет»¹³. Заняв римский престол, он отправил пожизненно гребцом на галеры казначея святого престола, запускавшего руку в папскую сокровищницу. Расправившись с рядом высших сановников, Пий V установил в Риме режим террора против всех подозреваемых в склонности к отступлению от истинной веры. Объявив центральной задачей борьбу против мусульман и протестантов, Пий V обнаружил признаки ереси среди римских жриц свободной любви, под видом которых якобы скрывались тайные кальвинистки. Многочисленным представительницам «самой древней профессии», нередко располагавшимся буквально у дверей папского дворца, был предложен выбор между изгнанием и пострижением в монахини. Однако у «древней профессии» нашлись влиятельные защитники. Депутация из 40 видных жителей города разъяснила первосвященнику, что его приказ может серьезно повредить римской торговле и, следовательно, апостолическим финансам. Ходатаями выступили также послы Испании, Португалии и Флоренции. Папе пришлось отступить перед таким, несколько неожиданным, проявлением единства сил контрреформации. Жесткие меры должны были, по мысли Пия V, испра-

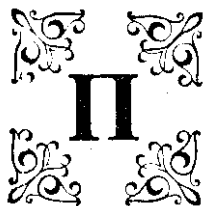
вить нравы римского духовенства и всех обитателей «вечного города». Папа неустанно охранял свою паству и от других искушений, например от светской музыки и поэзии, и даже ополчился на вводящие в соблазн античные статуи, некоторые из них он предписал отослать в подарок дружественным монархам.

В 1570 году Пий V отлучил от церкви Елизавету I, что было очень неуместным действием, с точки зрения Филиппа II. Он в течение почти всего первого десятилетия правления королевы, по сути дела, блокировал планы, которые были направлены на ее насильственное свержение и торжество контрреформации в Англии. В 1561 году Филипп добился отказа Рима от намерения отлучить Елизавету от церкви в связи с ее отказом принять нунция — посла римского престола. Через два года (в 1563 г.) Филипп принял меры, чтобы обсуждение вопроса об отлучении Елизаветы на Тридентском соборе также окончилось безрезультатно. Даже в 1570 году, когда Пий V наконец все же отлучил Елизавету, король выразил протест римскому первосвященнику и писал Елизавете, что еще ни одно из действий папы не вызывало у него, Филиппа, такого неудовольствия. Причина была очевидной: торжество католической контрреформации в Англии привело бы на престол шотландскую королеву Марию Стюарт, которую Елизавета держала в заключении, а Мария Стюарт была родственницей Гизов — в то время еще не связанных с Мадридом — и французского королевского дома Валуа. От победы контрреформации в Англии могла выиграть, как тогда казалось Филиппу, не Испания, а Франция.

На протяжении 70-х годов Филипп II решительно отвергал многочисленные предложения папы Григория XIII попытаться силой вернуть Англию в лоно католицизма, несмотря на то что английские пираты нарушали связи Испании с ее заморскими колониями и Елизавета оказывала помощь Нидерландам. Вместе с тем испанские планы превращения контрреформации в орудие создания универсальной монархии чем дальше, тем больше наталкивались на скрытое или открытое противодействие римского престола. Правление Филиппа II началось с объявления ему войны папой Павлом IV и закончилось, когда Климент IX стал оказывать поддержку врагам короля во Франции. Григорий XIII пытался предотвратить захват Филиппом II Португалии, а Сикст V отказался оказать содействие планам Испании в Нидерландах. Филипп писал своему

доверенному советнику и министру кардиналу Гранвелле: «Мне ясно, что, если бы Нидерландами правил кто-либо другой, папа совершил бы чудеса, чтобы воспрепятствовать их потере для церкви. Но так как это мои владения, я полагаю, что он готовится увидеть их потерянными, поскольку они тем самым будут потеряны и для меня»¹⁴. В Мадриде, в свою очередь, не допускали расширения власти Рима над испанской церковью. «В Испании нет папы»¹⁵, — заявил председатель Королевского совета Кристоаль Суарес де Фигуэроа.

Действие второе



осле битвы при Лепанто Филипп II считал, что у него развязаны руки для подавления восстания в Нидерландах, для попыток помочь Марии Стюарт овладеть английским престолом, для поддержки партии воинствующих католиков во Франции — все это мыслилось как шаги на пути к полной победе контрреформации.

Альба писал, что он намеревается в Нидерландах «не выкорчевать, а только очистить виноградник». «Очищение» было кровавым. С 1567 по 1573 год Совет по делам беспорядков осудил 12 302 человека, из них 1105 были казнены или изгнаны из страны. Никто из лиц, даже пользовавшихся каким-либо влиянием, не мог быть спокойным за свою жизнь. Исход борьбы казался predetermined вследствие колоссального неравенства финансовых и людских ресурсов. В 1574 году только около 20 небольших городов, общая численность населения которых не превышала 75 тысяч человек, поддерживало Вильгельма Оранского. Даже Амстердам до 1578 года сохранял лояльность к испанскому королю¹. Да и впоследствии, каковы бы ни были торговые успехи Голландии, территориально и в демографическом отношении она оставалась малой страной. В 1617 году голландский публицист К. Р. Хоофт, вспоминая о прошедших десятилетиях борьбы, писал: «По сравнению с королем Испании мы были как мышь по сравнению со слоном»².

Держава Филиппа II была, несомненно, самым богатым государством тогдашней Европы. Король имел в распоряжении доходы, далеко превосходившие те, которыми могли располагать даже французский или английский монархи. В течение длительных войн Испания создала централизованную систему подготовки, обучения и снабжения крупных войсковых контингентов, которыми не обладало ни одно из западноевропейских государств и которые обеспечили испанской армии славу лучшей в Европе. Испанский военный флот по тоннажу и вооружению также не имел равных в странах Запада. К тому же надо учесть, что Испания могла для ведения войны против гезов широко использовать экономические возможности большей части самих Нидерландов, то есть, по сути дела, ресурсы буржуазного уклада.

И тем не менее такая оценка соотношения сил оказалась неправильной, поскольку не учитывала главного и решающего — с каждым годом все более проявлявшихся экономических потенций восставших провинций, что было выражением непреодолимости нового общественного строя. Именно на этой основе проявлялось действие других факторов, и прежде всего менявшихся международных условий, в которых протекала борьба.

Английский историк М. Робертс выдвинул тезис о «военной революции» в 1560—1660 годах³, которая включала изменения в тактике и стратегии, потребовавшие создания постоянных армий, увеличения масштабов военных действий, численности войск, усиливала воздействие войны на жизнь общества и т. д. На многие из этих изменений еще за столетие до Робертса обратил внимание в ряде своих произведений Ф. Энгельс. Работа Робертса вызвала дискуссию, его оппоненты небезосновательно отмечали, что некоторые эти явления берут начало за несколько десятилетий до 1560 года⁴. Однако бесспорно, что главная и основная часть этих нововведений приходится на полтора столетия, охватываемых вековым конфликтом. Стоимость войны намного возросла во вторую половину XVI века.

Французский историк М. Шоню стремился увязать зигзаги в политике Мадрида в Нидерландах — ее успехи и неудачи, попытки достигнуть соглашения и возвращение к бескомпромиссной позиции — с динамикой поступления доходов от торговли через порт Севилью с испанскими колониями в Новом Свете. Однако дальнейшие исследования показали, что финансовые ассигнования на войну

не совпадали с этой динамикой — наиболее крупные военные расходы (например, в 1580—1585 гг., когда испанцы снова завоевали Южные Нидерланды — Бельгию) не раз приходились на годы резкого сокращения поступлений от торговли с Америкой.

Главную финансовую тяжесть войны несло на своих плечах население самой Испании, и прежде всего Кастилии⁶, которая уже к 1591 году переживала полный упадок. Начиная с первой половины 70-х годов Филипп II занимал огромные суммы под все более высокие проценты, пока банкиры не поняли, что его правительство не в состоянии платить по своим обязательствам, и не отказали ему в новых кредитах. Испанская казна к этому времени задолжала 36 миллионов дукатов, что равнялось государственными доходам за 6 или 7 лет. 1 сентября 1575 г. Филипп II после двух лет колебаний объявил об отказе от уплаты всех долгов и от передачи кредиторам поступлений от ряда налогов в погашение сделанных займов. Это финансовое облегчение было куплено дорогой ценой: исчезли возможности получения средств в счет будущих государственных доходов, и вдобавок был уничтожен кредитный механизм для перевода имевшихся денег из различных владений Филиппа II в Нидерланды на содержание испанской армии. Наместник в Нидерландах генерал Луис Рекесенс писал через два месяца после объявленного банкротства, 30 октября 1575 г.: «Даже если бы король и имел золота на 10 миллионов и захотел его все направить сюда, он не имел бы способа сделать это в связи с банкротством. Если деньги были бы посланы в звонкой монете морем, они были бы потеряны; невозможно послать их и в виде векселей, поскольку там (в Испании) нет купца, который бы выдал их, и нет никого здесь, кто бы мог учесть их и уплатить по ним». В ноябре 1576 года не получавшая жалованья испанская армия, численность которой на бумаге составляла 60 тысяч, сократилась до 8 тысяч, вспыхнули солдатские бунты. Испания должна была согласиться на требования повстанцев. Филипп II был принужден, как указывалось выше, нащупывать почву и для соглашения с султаном.

Обстановка, в которой началась нидерландская революция, создала для нее в целом неблагоприятные международные условия. Борьба нидерландцев за независимость, явившаяся формой буржуазной революции, растянулась на 80 с лишним лет — с 1566 по 1648 год. Это было следствием действия ряда факторов, прежде всего того, что

борьба велась против наиболее мощной феодальной державы, которая вместе с тем могла использовать экономический потенциал громадной колониальной империи, а также других своих владений в Европе (в некоторых из них — ресурсы значительного буржуазного уклада). Здесь надо упомянуть о переходе на сторону Мадрида дворянства Южных Нидерландов. В результате они остались в составе испанской монархии. Все же несомненно, что важнейшим фактором, делавшим возможной борьбу испанского правительства за достижение ставшей явно недостижимой цели, были социально-психологическая обстановка и структура международных отношений, порожденные вековым конфликтом.

Конфликт потенциально создавал идеологические и политические возможности для мобилизации против нидерландской революции европейской контрреформации. Вместе с тем относительно благоприятным для дела восставших нидерландцев было то обстоятельство, что вековой конфликт тогда не имел — как это было в первую половину XVI века — формы общеевропейской войны. Это сокращало масштабы помощи Филиппу II со стороны других сил католической контрреформации, в особенности австрийских Габсбургов, в то же время не ограничивалась активность всех главных противников Испании — Порты, Франции и Англии. Правда, гражданские войны во Франции, с одной стороны, мешали ей оказывать эффективное противодействие испанцам, но в то же время — с другой — сводили на нет возможность использования французской католической партии против восставших нидерландских провинций. Более того, поддержка Филиппом II французской Католической лиги отвлекала часть его ресурсов. Еще больше он тратил на борьбу против Англии в течение двух десятилетий, предшествовавших гибели Непобедимой армады. Борьба против Испании побуждала правительство Елизаветы I, хотя и с колебаниями, оказывать помощь голландским «мятежникам». Вмешательство Филиппа II во внутреннюю борьбу во Франции и Англии, вытекавшее из всей логики векового конфликта, в конечном счете свело на нет те шансы на победу в Нидерландах, которые, казалось, оставались у испанцев.

Против католического лагеря в конечном счете выступали отнюдь не только революционные силы, являвшиеся носителями нового способа производства. Против оказались и те, отнюдь не революционные, элементы, которые в той или иной степени способствовали прогрессивному

развитию общества. Это касается и английской монархии, возглавившей умеренную Реформацию, и французской абсолютной монархии, игравшей в то время позитивную роль в процессе национальной консолидации.

Нидерландская революция изменила развитие векового конфликта. Вместо того, чтобы служить одним из основных источников финансовой и военной мощи Габсбургов, нидерландские владения стали оттягивать, как губка, и денежные средства, и отборные войска испанской короны. Уязвимость разбросанных по всей Западной Европе владений Филиппа II, а позднее и заморских колоний резко увеличилась, причем в конце XVI века — во многом благодаря действиям на море тех же самых голландских «мятежников». Нидерландская революция оказала большое влияние на ход векового конфликта уже одним фактом перехода Голландии с ее растущими ресурсами в лагерь противников контрреформации. Можно по-разному оценивать вклад революции в идеологию передового лагеря, но при любых оценках его нельзя сбрасывать со счетов. Главное воздействие на ход конфликта революция оказала тем, что ликвидировала препятствия для развития голландского судоходства и торговли, что, в свою очередь, имело далеко идущие последствия для мировой торговли в XVII веке⁶. Надо учитывать и другую сторону того же явления: вековой конфликт не мог в конечном счете воспрепятствовать ни победе революции в Нидерландах, ни утверждению их господствующего положения в мировой торговле, которую так стремились удержать в своих руках Карл V и Филипп II в качестве материальной основы своей империи.

Мотивы для испанского вмешательства в разные страны все усиливались, но одновременно и сужались объективные возможности осуществить вооруженное вторжение. Одним из объектов испанского вмешательства стала Франция, где как раз в середине века Реформация достигла крупных успехов. В самый канун гражданских войн (которые протекали в религиозной оболочке и потому часто именуются религиозными войнами), в 1562 году, венецианский посланник доносил о быстром распространении среди французов воззрений «женевского папы» и их соотечественника — Кальвина. Дипломат добавлял даже, что «люди моложе 40 лет редко продолжают оставаться верными католицизму». Католическая историография пытается представить гражданские войны во Франции как следствие соперничества вельмож во время малолетства короля — так было после смерти Карла V (XIV в.) и

Людовика XI (XV в.), а впоследствии — после кончины Генриха IV и Людовика XIII. Аналогичные войны во второй половине XVI века, «которые для дискредитации религии называли в XVIII веке религиозными войнами, тогда как современники всегда именовали их гражданскими войнами или просто волнениями, — писал клерикальный историк Л. Кристиани, — были прежде всего войнами, проистекающими из малолетства или несостоятельности носителя центральной власти. Они были также войнами соперничавших феодалов — Гизов против Бурбонов и Шатийонов»⁷. Говорят, что частичной правдой прикрывают ложь. Здесь скорее частица лжи искажает всю правду.

Несомненно, что в основе религиозных войн лежали социальные причины, так же как и в основе средневековых междоусобиц или Фронды в середине XVII века (и эти причины были значительно более важными, чем малолетство короля). Ныне и многие буржуазные историки, с теми или иными оговорками, вынуждены признать то, что является аксиомой для марксистской историографии: религиозные войны были лишь формой гражданских войн, острой классовой борьбы. Религиозный фактор, имевший и относительно самостоятельное значение, в общем контексте оказывался идеологической оболочкой, обеспечивающей внутреннее сплочение столкнувшихся социальных сил и политических группировок⁸. По мере своего развития гражданские войны все более приобретали форму династической борьбы — между Бурбонами, возглавлявшими протестантский лагерь, и Гизами — руководителями крайних католиков, — борьбы за престол, который должен был стать вакантным после смерти последнего из сыновей Генриха II и Екатерины Медичи. Этот династический конфликт в не меньшей степени, чем религиозный, стал средством сохранения Франции в рамках векового конфликта — прежде всего потому, что он делал для Екатерины Медичи (фактической правительницы Франции при последовательно царствовавших трех ее сыновьях — Франциске II, Карле IX и Генрихе III) невозможным прочный союз ни с одной из партий для победы над другой.

Оправдание Екатерины Медичи



катерина не сразу достигла власти. При жизни мужа Генриха II она была вынуждена терпеть унижения, наблюдая, как им вертит его надменная фаворитка Диана де Пуатье, которая вдобавок была старше короля на 20 лет.

— Что Вы читаете, сударыня? — спросила как-то Диана Екатерину.

— Я читаю историю Франции, — невозмутимо ответила итальянка, — и обнаружила, что во все времена шлюхи управляли делами королей¹.

При правлении своих сыновей, одного за другим, Екатерина сумела нарушить этот «обычай». Она отказалась и от односторонней ориентации на силы контрреформации, которой следовал Генрих II (не без влияния той же Дианы де Пуатье).

Франция могла в любое время ожидать интервенции со стороны Испании, направленной против гугенотов, от нее спасало фактически лишь отвлечение сил Мадрида на другие цели. Строя завоевательные планы под маской заботы об интересах религии, Филипп II нередко стремился придать им и видимость обороны от наступления протестантизма. Жена испанского короля Елизавета, дочь Екатерины Медичи, в июле 1561 года, в самом начале гражданских войн, писала матери, что никто более ее мужа не озабочен угрозой для католической веры во Франции, поскольку «Фландрия и Испания находятся исподалеку»². Попытки Екатерины достигнуть соглашения с гугенотами вызвали открытое и резкое вмешательство со стороны Филиппа. «Дайте понять королеве, — писал он испанскому послу во Франции, — что, следуя этому курсу, ее сын потеряет свое королевство и лишится повиновения со стороны своих вассалов»³.

Папский нунций писал про Екатерину Медичи: «Королева не верит в бога»⁴. Большинство современников были склонны абсолютизировать значение религиозных споров. Екатерина Медичи, напротив, придавала так мало значения спорам церквей как таковым, настолько привыкла считать их чем-то не очень важным по сравнению со стал-

квивающимися материальными интересами и политическими противоречиями, что порой принижала относительное значение религиозного фактора. Поэтому даже после того, как на третьей сессии Тридентского собора были сформулированы католические догматы, четко отделяющие римскую церковь от любой формы протестантизма, королева строила неосуществимые планы восстановления религиозного единства на основе примирения двух вероисповеданий. На деле реальной альтернативой было — поскольку речь шла о Франции, а не о Европе в целом — утверждение веротерпимости или уничтожение одной из борющихся сторон.

Первое решение, оказавшееся весьма выгодным для интересов короны, поддерживала так называемая (с 1563 г.) партия «политиков». Она решительно отвергала и старую идею о том, что власть базируется на религиозной традиции, и новую идею о происхождении власти из общественного договора. «Политики» придерживались идеи божественной власти монарха, которая одна только способна отстаивать единство, стабильность и суверенитет государства, обеспечить осуществление законов и поддержание порядка. Для «политиков» проблемы религии имели второстепенное значение, и они были готовы пойти на утверждение веротерпимости, если это в государственных интересах. Нетрудно заметить, что теория божественного характера власти монарха имела в сочинениях представителей этой партии совсем иной общественный смысл, чем тот, который она приобрела впоследствии в XVII и XVIII веках. Для периода гражданских войн во Франции взгляды «политиков» являлись обоснованием защиты национальной государственности против претендентов на европейскую гегемонию, против ведущих сил католической контрреформации. Недаром такая позиция вызывала подозрения, перешедшие потом в открытую ненависть со стороны воинствующих католиков. Теоретические воззрения «политиков» были выражены в речах и письмах Мишеля Лопиталья, в трактатах Жана Бодена и ряда видных юристов. К их партии, хотя и далеко не последовательно, примкнула и королева-мать.

Признанным главой партии «политиков» стал Мишель Лопиталь, с 1560 по 1568 год занимавший пост канцлера Франции, последователь взглядов Эразма и настолько решительный сторонник прекращения религиозных войн, что партия Гизов сомневалась даже в его приверженности католической вере⁵. Его поддерживали люди, вышедшие

из школы гуманизма, отдельные влиятельные представители гугенотов и католиков, считавшие, что интересы страны следует поставить над интересами религии и что они властно требуют известной степени веротерпимости. Екатерина Медичи, одобрявшая деятельность Лопиталья, после его отставки то приближалась, то отходила от рекомендованного им курса.

Участие Франции в вековом конфликте превращало неизбежную религиозную и династическую форму внутриполитической борьбы в серьезное препятствие для сохранения достигнутого национального объединения и самого независимого существования страны. Внутреннюю борьбу во Франции сразу же попытались использовать другие державы.

Первоначально Англия... Дипломат и разведчик сэръ Николас Трокмортон — сторонник решительной борьбы с противниками Елизаветы — был в мае 1559 года назначен постоянным послом в Париж. Как раз в это время был заключен Като-Камбрезийский мир, закончивший длительную войну между Валуа и Габсбургами. Возникла угроза создания коалиции наиболее мощных католических держав, тем более серьезная, что родственница Гизов Мария Стюарт, ставшая женой французского короля Франциска II (1559—1560), должна была занять шотландский престол и имела династические права на английский трон. Франция действительно направила в январе 1560 года военную эскадру в Шотландию для помощи регентше Марии Гиз (матери Марии Стюарт) в борьбе против сторонников Реформации. Буря рассеяла эту эскадру, избавив Елизавету от опасности, быть может, не меньшей, чем состоявшийся через 30 лет поход Непобедимой армады против Англии.

Ответным ударом английской секретной дипломатии и разведки было разжигание религиозных распр между католиками и протестантами во Франции. К открытому столкновению там шло, конечно, и без британских интриг, но Н. Трокмортон одним из первых усмотрел возможности, которые это открывало для Англии. Он писал, что при умелом ведении дела королева Елизавета «окажется в состоянии стать арбитром и правителем христианского мира»⁶. В 1562 году в Гавре высадились английские войска для поддержки гугенотов в начавшейся войне. Однако британская помощь запоздала и была недостаточной, чтобы предотвратить неудачу гугенотской партии на этом первом этапе гражданских войн, растянувшихся

с перерывами на три с половиной десятилетия. В июле 1563 года протестантский Гавр капитулировал, английской дипломатии пришлось спешно заключать соглашение с французским двором (т. е. фактически с Екатериной Медичи).

Филиппу II, со своей стороны, также было крайне важно не допустить соглашения между французскими католиками и гугенотами, которое позволило бы обратить энергию дворянской вольницы, занимавшейся после мира в Като-Камбрези внутренними распрями, на новую войну против испанской армии в Нидерландах.

В начале гражданских войн, в 1562 году, Карл IX сам призвал на подмогу испанские войска, чтобы подавить народные выступления на юге Франции, но уже в следующем году поспешил отказаться от этой опасной помощи⁷.

...24 августа 1572 г. Варфоломеевская ночь — избиение в Париже сотен и тысяч гугенотов — всех подряд: мужчин, женщин, древних стариков и младенцев на руках у их матерей. Екатерине Медичи приписывали изречение: «Быть с ними жестокими — человечно, а быть милосердными — жестоко». Испанский посол с радостью доносил Филиппу II: «Когда я это пишу, они убивают всех, они сдирают с них одежду, волочат по улицам, грабят их дома, не давая пощады даже детям. Да будет благословен господь, обративший французских принцев на путь служения его делу! Да вдохновит он их сердца на продолжение того, что они начали!» А папа Григорий XIII, получив известие о Варфоломеевской ночи, воскликнул, что оно ему более приятно, чем 50 побед при Лепанто⁸. Кровавая ночь поразила воображение современников и потомков. (Отчасти поэтому редко упоминались избиения католиков протестантами еще до Варфоломеевской ночи, например — в Неме в День святого Михаила в 1569 г. — так называемые «мишеляды».)

«На протяжении 400 лет Екатерина Медичи, это черное светило на небосклоне, беспокоит и завораживает нас... Из-за ее поступков и черт характера, расцвеченных фантазией многих поколений, она занимает большое место в нашей мифологии»⁹, — пишет один из ее новейших биографов. Ненависть к Екатерине ее современников-протестантов была ярко выражена в памфлете «Удивительное повествование о жизни, действиях и дурных поступках королевы Екатерины Медичи», автор которого писал: «Иностранка, питающая вражду и злобу к каждому... От-

прыск купеческого рода, возвысившегося благодаря ростовщичеству, воспитанная в приверженности к безбожию». И далее следовал полный набор обвинений: отравительница, убийца тысяч гугенотов, стоящая в ряду с самыми кровавыми королевами всех времен¹⁰. Эстафету этих обвинений от памфлетистов XVI века приняли просветители XVIII столетия, обличавшие религиозную нетерпимость; в следующем веке — протестантские и либеральные историки, авторы приключенческих романов, а потом уже, в наше время, — западное кино и телевидение, ознакомившие сотни миллионов зрителей со всем реестром преступлений королевы. Варфоломеевскую ночь рисовали в ледяных подробностях многие писатели, среди которых и Проспер Мериме с его «Хроникой Карла IX», и замечательный рассказчик Александр Дюма с его знаменитой трилогией «Королева Марго», «Графиня Монсоро» и «Сорок пять». Организатора Варфоломеевской ночи — Екатерину Медичи — те, кто знаком с ней по работам либеральных и протестантских историков прошлого века или скорее по романам Дюма, представляют себе чуть ли не профессиональной отравительницей. Впрочем, Бальзак не разделял этой точки зрения. В одном из своих «философских этюдов» — «О Екатерине Медичи» — он заметил, что флорентийка после смерти своего мужа Генриха II не отравила даже его фаворитку, являвшуюся объектом долголетней ненависти королевы, хотя вполне могла это сделать.

Современные западные исследователи склонны пересмотреть традиционно суровый вердикт и даже упрекают своих предшественников в распространении «черной легенды» о королеве-матери. «Уточним, — пишет, например, Ф. Эрланже, — что флорентийка, столь известная содеянными ею преступлениями такого рода, не совершила ни одного, в отношении которого история имела бы доказательства и могла бы поэтому признать за факт»¹¹. (Добавим, однако, что такие преступления вообще нелегко доказать, особенно по прошествии четырех столетий!) Одним из злодеяний Екатерины Медичи считали отравление королевы Наваррской Жанны д'Альбре, умершей в Париже 9 июня 1572 г. Это обвинение, которое повторялось веками, теперь уже никем не поддерживается. Королева Наваррская была больна туберкулезом. Вскрытие обнаружило абсцесс правого легкого, опухоль мозга¹². Представление о Екатерине Медичи как отравительнице было еще в 1901 году убедительно опровергнуто доктором

Нассом. С того времени рассказы о ядах флорентийки большинство серьезных историков относят к фантазиям романтической литературы¹³. «Если бы Екатерина не несла ответственности за Варфоломеевскую ночь, было бы не слишком парадоксально утверждать, что она являлась довольно привлекательным историческим персонажем»¹⁴, — писал один из ее биографов.

Но была ли Варфоломеевская ночь 24 августа 1572 г. тщательно подготовленным заранее заговором или же стала следствием решения, принятого чуть ли не за несколько часов до начала резни? Сама Екатерина Медичи и ее сын Карл IX предпочитали первую из этих версий. Это не значит, что она соответствовала истине, просто королева-мать и король первое время после Варфоломеевской ночи близоручко полагали, что разрыв с гугенотской партией является окончательным. И, принимая решение сблизиться с католическим лагерем, в Лувре считали удобным истолковывать свои действия как продиктованные прежде всего интересами религиозного порядка. А католической контрреформации было выгодно согласиться с такой трактовкой событий зловещей ночи. Кардинал Лотарингский, брат герцога Гиза, организовал издание в Риме книги некоего Капилупи «Военная хитрость Карла IX» — вымышленного рассказа о политике французского правительства, призванного доказать, что убийства в Варфоломеевскую ночь были заранее задуманной и подготовленной акцией. Кардинал правильно рассчитывал, что такая версия событий затруднит правительству ведение новых переговоров с еретиками¹⁵. Однако Гизы просчитались, если полагали, что препятствия такого рода окажутся непреодолимыми.

Сближение с Испанией оказалось лишь одним из бесчисленных зигзагов в политике французского двора, а резкое ухудшение отношений с протестантскими державами, прежде всего с Англией, явно не отвечало его интересам. К тому же гугенотская партия во Франции вовсе не была сломлена и начала вырисовываться необходимость достижения с ней новых временных компромиссов. Вскоре после Варфоломеевской ночи Екатерина Медичи снова установила контакты с руководителями гугенотов. Поэтому уже осенью 1572 года французский двор попытался дать новое объяснение Варфоломеевской ночи: она предстала теперь уже как ответ на «протестантский заговор», возглавлявшийся адмиралом Колиньи, который, как известно, был убит в самом начале жестокой бойни.

Гугенотов, по этой версии, наказали не за их веру, а за государственную измену. Надо заметить, что накануне Варфоломеевской ночи Екатерина Медичи имела среди гугенотов своего тайного агента — сьера де Бушавана, который изображал из себя протестанта и пользовался доверием Колиньи. Де Бушаван сообщил Екатерине Медичи, что адмирал собрал руководителей гугенотской партии и обсуждал с ними заранее разработанный план захвата Парижа, занятия Лувра и ареста короля. Переворот якобы предполагалось произвести 26 августа. Так по крайней мере докладывал де Бушаван, или, точнее, так излагалась позднее суть его донесений. Екатерина Медичи уверяла, что для предотвращения заговора она должна была решиться на устранение нескольких лидеров гугенотов — всего каких-то пяти или даже трех человек, включая Колинью¹⁶. (Некоторые католические историки и поныне повторяют эти уверения.)

Впрочем, версия о гугенотском заговоре с самого начала не вызвала доверия, а утверждения о заранее спланированном заговоре католиков, напротив, получили широкое распространение в историографии: такой позиции придерживались, в частности, многие историки прошлого века. В пользу этой точки зрения свидетельствуют аналогичные Варфоломеевской ночи события в ряде больших городов, случившиеся, возможно, даже прежде, чем до них могла дойти весть о парижских убийствах¹⁷. Тем не менее и эта версия не выдержала критической проверки. Анализ сохранившихся документов, мемуары современников, для которых не было нужды скрывать правду, позволяют прийти только к одному выводу: решение об избиении гугенотов было принято за немногие часы — или по крайней мере дни — до полуночи 24 августа¹⁸. Таким образом, «ужасающие убийства Варфоломеевской ночи были скорее результатом усиливавшегося давления и собственных страхов Екатерины, чем предательством с заранее обдуманном намерением с ее стороны»¹⁹.

Может показаться, что этот вывод исключает Варфоломеевскую ночь из ряда событий, непосредственно вытекавших из векового конфликта, превращает ее лишь в один, хотя и наиболее кровавый, эпизод долгих гражданских войн во Франции. Но такое заключение было бы ошибочным. Пусть организаторы Варфоломеевской ночи сознательно и не руководствовались целями одной из сторон конфликта, сама возможность поднять население столицы (и других городов) никогда не возникла

бы вне того социально-психологического климата, который был создан вековыми столкновениями и поддерживался воинствующим крылом католического духовенства, включая, конечно, иезуитов.

По существу, спор между Екатериной Медичи и адмиралом Колиньи, приведший к Варфоломеевской ночи, шел вовсе не о том, поддерживать ли мир, заключенный между католиками и протестантами, и даже не о том, на каких условиях его сохранять (в этом они были согласны), — речь шла о возможностях его упрочения. План Екатерины заключался в том, чтобы, добившись примирения партий, вывести Францию из векового конфликта во имя интересов государства и — что было куда важнее с точки зрения королевы-матери — дома Валуа. Напротив, адмирал Колиньи считал, что внутренний мир, гарантирующий интересы гугенотов, приобретет прочность только в том случае, если Франция будет вовлечена в войну с главной державой католического лагеря — иными словами, если Франция будет вести войну вне рамок векового конфликта, но объективно способствовать в то же время успехам протестантского лагеря. По существу, план Колиньи заключался в возвращении к положению, которое занимала Франция до (и — как мы убедимся ниже — после) гражданских войн. Этот план предусматривал союз с Англией, Тосканой, Венецией, германскими княжествами и даже с самим римским престолом против Филиппа. Но план был нереален хотя бы потому, что папа и Венеция вошли наряду с Испанией в Священную лигу, созданную для борьбы с Турцией и добившуюся победы при Лепанто 7 октября 1571 г. Англия, опасавшаяся завоевания французами Фландрии, сделала примирительные шаги в отношении Испании. Германские протестантские князья тоже не проявляли желания ввязываться в борьбу. Таким образом, Франции угрожала перспектива воевать один на один с мощной державой Филиппа II. К тому же сам католический лагерь прилагал усилия, чтобы не допустить открытого конфликта между Парижем и Мадридом. Об этом особенно заботился папский нунций во Франции Сальвиати, родственник королевы-матери. Филипп также маневрировал, не скупясь на дружественные жесты²⁰.

Под влиянием Колиньи — хотя в Королевском совете он один стоял за войну — Карл IX разрешил отправить 5-тысячный отряд французских протестантов под командой графа де Жанлиса в Нидерланды на помощь осажденному испанцами Монсу. Войска герцога Альбы разгро-

мили отряд Жанлиса. Наряду с этим Альба сумел максимально использовать опасения, которые внушали английскому двору французские планы завоевания Южных Нидерландов. Королева Елизавета дала понять Альбе, что она, несмотря на тогдашние союзные отношения с Парижем, никак не собирается содействовать подобным планам. Герцог поспешил довести английский демарш до сведения Екатерины Медичи. В определенном смысле двойная игра английской дипломатии являлась одной из причин Варфоломеевской ночи. Екатерина сочла, что у нее не остается выбора между согласием на заведомо безнадежную войну и устранением Колиньи, который приобретал все большее влияние на Карла IX и подрывал тем самым позиции королевы-матери, правившей страной от имени своего слабовольного и истеричного сына. Давая санкцию на убийство Колиньи, флорентийка, по-видимому, рассчитывала, что гугеноты не останутся в долгу, что ей разом удастся избавиться от руководителей обеих враждующих партий, и, укрепив положение короны как арбитра между ними, она сумеет воспрепятствовать возобновлению религиозных распри. Именно поэтому королева-мать одновременно с приготовлениями к убийству адмирала форсировала подготовку свадьбы дочери Маргариты с другим руководителем гугенотов — Генрихом Наваррским.

Главные события в жизни Маргариты Валуа были самым непосредственным образом связаны с вековым конфликтом. Намерение выдать ее замуж за еретика Генриха Наваррского могло вызвать только негодование у такого фанатика, как Пий V, а без разрешения папы нельзя было заключить этот брак, противоречивший церковным канонам. Пий V в конце 1571 года писал Карлу IX: «Наш долг повелевает никогда не соглашаться на этот союз, который мы рассматриваем как оскорбление для господ». Генералу иезуитского ордена было особо поручено убедить Маргариту, что она жертвует спасением души, соглашаясь на такой брак. Взамен римский престол предлагал выдать принцессу замуж за короля Португалии.

Этот план, еще недавно обсуждавшийся в Париже, был отброшен после события, казалось, прямо не затрагивавшего Францию,— после битвы при Лепанто. Крупное поражение оттоманского флота, воздействие которого на ход войны в первое время даже преувеличивалось, побуждало Екатерину Медичи искать примирения с гугенотами для противодействия Филиппу II. Ведь теперь начала казаться

близкой возможностью победа испанского короля над восставшими Нидерландами.

Накануне Варфоломеевской ночи Карл особенно торопился со свадьбой своей сестры, считая, что она, укрепив внутренний мир, развяжет руки для войны против Испании. Между тем неожиданная смерть Пия V в мае 1572 года не внесла изменений в позицию Рима — новый папа Григорий XIII тоже отказывал в разрешении на брак Маргариты Валуа и Генриха Наваррского. Тогда было решено действовать без Рима, благо один из лидеров гугенотов — принц Конде — подал пример, женившись 10 августа на католичке Марии Клевской без всякой санкции римского престола. Екатерина Медичи тоже сочла, что не стоит останавливать дело из-за такой детали, и приказала сфабриковать письмо французского посла в Риме, в котором извещалось о предстоящей скорой присылке папой нужной бумаги. Такая уловка позволила покончить с колебаниями кардинала Бурбона, который и сам был горячим сторонником женитьбы своего племянника на сестре французского короля. После этого уже без особого труда отыскали священника, готового совершить обряд венчания. Свадьбу назначили на 18 августа. Екатерина Медичи 14 августа спешно направила губернатору Лиона де Мандело приказ задерживать до 18 августа всех курьеров, следующих из Италии и в Италию. Королева хотела таким образом воспрепятствовать получению письма Григория XIII, запрещавшего брак, а также помешать папскому нунцию в Париже сообщить папе о предстоящем бракосочетании.

У читателя романа Дюма создается впечатление, что Екатерина искала смерти Генриха Наваррского, на деле все обстояло как раз наоборот. Это проявилось уже в Варфоломеевскую ночь. Когда сквозь ад этого кровавого кошмара вождей гугенотской партии — Генриха Наваррского и принца Генриха де Конде — доставили к Карлу IX, за королем маячила фигура его матери. Размахивая кинжалом, Карл угрожающе прорычал: «Обедня, смерть или Бастилия!» Генрих Наваррский уже в молодые годы показал себя тем ловким политиком, который через 21 год решил, что «Париж стоит обедни». Он согласился перейти в католичество. Конде отказался, король в неистовом бешенстве замахнулся кинжалом. Его руку удержала Екатерина. Чуть ли не со стенаниями она умоляла сына остановить свою карающую десницу. Слезы, которые проливали вдохновительница массовых убийств, вовсе не были

крокодиловыми слезами. Генрих Наваррский и Генрих Конде были ей нужны как противовес герцогу Генриху Гизу, который, будучи главой католической партии, после уничтожения гугенотов становился некоронованным владыкой Парижа. Карл, как всегда, уступил воле матери и приказал держать обоих Генрихов в строгом заключении в их апартаментах.

Английская исследовательница Н. М. Сазерленд в книге «Убийства во время Варфоломеевской ночи и европейский конфликт 1559—1579 годов»²¹ сделала своими главными героями одновременно и королеву-мать, и Колиньи. Известный английский историк А. Роуз писал, что Екатерина действительно непрерывно пыталась добиться мира, и выражал даже чуть окрашенную иронией симпатию к «этой столь сильно оклеветанной женщине. Было несчастьем, что ей никто не верил. Политик-макиавеллист в хорошем смысле этого слова, она не могла понять, почему люди настаивали на том, чтобы сжигать других или быть сожженными из-за бессмысленных утверждений»²².

Убийствами в Варфоломеевскую ночь Екатерина Медичи пыталась решить разом две задачи: покончить с внутренней войной, которая служила средством вовлечения Франции в вековой конфликт, и предотвратить внешнюю войну, которая также втянула бы страну в этот конфликт. Екатерине Медичи временно удалось достигнуть второй цели, но гугенотская партия не была сломлена, и гражданская война запылала с новой силой. Екатерина писала Филиппу II в связи с Варфоломеевской ночью, что меры, принятые ее сыном против «гугенотского заговора», усиливают «дружбу, связывающую две короны»²³. Она заговорила даже о намерении женить своего сына Генриха Анжуйского (будущего короля Генриха III) на дочери Филиппа. Узнав о Варфоломеевской ночи, Филипп, принимая французского посла, возможно, впервые во время исполнения государственных обязанностей «разразился смехом». Он не скрывал от француза своего «большого удовольствия»²⁴. Не было ли отчасти причиной такой радости сознание того, насколько кровавая «победа католицизма» ослабляла международные позиции Франции? Не прав ли был любимый астролог Екатерины Медичи Руджиери, заметивший своей повелительнице, что она действовала в интересах короля Испании?²⁵

Характерно, что габсбургская дипломатия и пропаганда пытались истолковать Варфоломеевскую ночь таким

образом, чтобы дискредитировать французского короля и рассорить его с протестантскими союзниками в Европе. В протестантской части Европы парижское избиение вызвало негодование и тревогу. Елизавета I приняла французского посла в черном траурном платье, но тем не менее не выразила несогласия с официальной французской версией о том, что речь шла только о наказании заговорщиков. Вскоре английская королева даже возобновила переговоры о планах заключения ее брака с младшим сыном Екатерины Медичи герцогом Франсуа Алансонским. Уверяя Филиппа II и папу, что неизменной целью французской политики является уничтожение ереси, Екатерина вместе с тем направила в Германию специального посла Гастона де Шомбера, чтобы успокоить протестантских князей. Шомбер разъяснял им, что «совершенное в отношении адмирала (Колиньи. — Авт.) и его сообщников учинено не из ненависти к новой религии, не для ее искоренения, а как наказание за подготовленный ими злодейский заговор»²⁶.

Варфоломеевская ночь имела отзвук даже в далекой России. Несколько неожиданное «возмущение» парижской резней, которое выразил Иван Грозный в письме к императору Максимилиану II, надо рассматривать в связи с неудавшейся попыткой царя побудить Габсбургов не поддерживать противников России в Ливонской войне, обещая взамен совместно выступить против турецкого султана — союзника французского короля²⁷. Как раз в это время гибель отборной турецкой армии под Астраханью (1569 г.) и разгром крымских татар при Молодях (1572 г.) знаменовали собой крупнейшее поражение турецко-татарской экспансии в Восточной Европе²⁸.

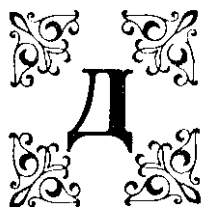
Московское государство, стремясь использовать в своих интересах обстановку, созданную обострением векового конфликта, проявляло терпимость в отношении достаточно для него неприятных политических учреждений Западной Европы. Иван IV, правда, выговаривал Елизавете I, что она, вопреки его чаяниям, — не самовластная государыня, что, как оказывается, в английском королевстве помимо нее «люди владеют и не токмо люди, но мужики торговые.., а ты пребываешь в своем девическом чину как есть пошлая девица»²⁹. Однако надо отдать должное царю: проявленная им «принципиальность» не помешала ему стремиться к поддержанию добрых и даже союзных отношений с государством, имеющим столь «несуразное и предосудительное» устройство, в котором допускались

не только дворяне («люди»), что еще куда ни шло, но даже «торговые мужики».

Варфоломеевская ночь имела совсем не те последствия, на которые рассчитывала Екатерина. До августа 1572 года гугеноты проводили различие между воинствующими католиками и законной королевской властью, даже заявляли, что защищают интересы короны от заговорщиков — Гизов. После кровавой оргии 24 августа и последующих дней положение круто изменилось. В 1573 году юрист-гугенот Франсуа Отман опубликовал трактат «Франко-Галлия», выступая в нем сторонником монархии, при которой власть короля ограничивается Генеральными штатами и аристократическими учреждениями. В следующем, 1574 году Теодор Беза издал трактат, в котором утверждал, что, поскольку бог создал народы, а народы — королей, власть монархов проистекает из договора, заключенного им с его подданными. Несоблюдение королем его обязанностей, неисполнение долга является законной причиной для низложения такого недостойного правителя. Последующие трактаты, выходившие из-под пера гугенотских теоретиков, нередко содержали уже и оправдания умерщвления короля-тирана. Ближайшим сподвижником Генриха Наваррского был в 1579 году выпущен в свет трактат «Защита против тиранов», развивавший идеи тираноборчества³⁰. Вскоре, как мы убедимся, эти идеи были заимствованы и католическим лагерем, приспособившим их для своих целей.

Варфоломеевская ночь не привела к резкому изменению внешнеполитического курса, проводившегося Екатериной Медичи. Показательно, что в переговорах, которые она в декабре 1573 года вела с германскими протестантскими князьями, королева — если верить донесениям шпионов Филиппа II — согласилась обсуждать прежний проект Колиньи об осуществлении французского вторжения в Нидерланды³¹, которое и состоялось через несколько лет.

Королева Марго



Династические вопросы в эту эпоху могли иметь совершенно различный политический смысл. Сталкивающиеся социальные группировки нередко оказывали поддержку соперничавшим претендентам на престол, классовая борьба облекалась в форму династического спора. Династические распри могли быть борьбой между участниками и противниками вовлечения страны в вековой конфликт. То же самое можно сказать и о придворных интригах, выступающих, подобно пене, на поверхности исторического процесса. И эта «пена» в конечном счете отражала существо происходивших событий. Бывали даже ситуации, когда в ней, поистине как в капле воды, отражались весьма значительные явления, когда она играла роль той случайности, в которой не только проявляется историческая необходимость, но которая накладывает свой отпечаток на дальнейшее общественное развитие. Было немало таких случайностей, влиявших на ход векового конфликта, на участие в нем различных стран. Династические браки давали возможность повернуть ход не только внутренней борьбы, но и противоборства на международной арене в нужном направлении. И когда силы, стоявшие за то или иное решение, более или менее уравновешивали друг друга, тот или иной поворот династических комбинаций приобретал относительно самостоятельное значение. Порой в возникновении или повороте в развитии вековых конфликтов немалую роль играли случайности дипломатической и придворной истории, а может быть, они служили и детонатором больших исторических событий.

...В романе «Королева Марго» (первом из серии, посвященной драматическим событиям 70-х и 80-х годов XVI в. во Франции) А. Дюма широко использовал мемуары современников, в том числе и «Воспоминания» самой Маргариты Наваррской, которые писались через два с половиной десятилетия после Варфоломеевской ночи. Образ этой «знатной дамы эпохи Ренессанса» претерпел значительные изменения под пером романиста. Он воспользовался своим правом изобразить ее во время расцвета молодости и красоты, оставляя в забвении дру-

ние, более поздние годы ее жизни, когда она стала объектом сатирических куплетов и непристойных острот. Правда, и ко времени ее брака с Генрихом Наваррским, если верить ее последующим признаниям, она успела побывать обовницей своих трех братьев — Карла IX, Генриха III герцога Франсуа Алансонского — и герцога Гиза впричину (на что, впрочем, не раз намекал и Дюма).

Маргарита Наваррская (о ее роли в событиях Варфоломеевской ночи говорилось выше), несмотря на свое активное участие в политических интригах, целиком определявшееся ее страстями и любовными приключениями, никогда не была политическим деятелем — каким несомненно была ее ближайшая родственница Мария Стюарт, — и тем не менее она занимала такое положение, которое придавало политическое значение многим ее поступкам. Роль, которую ей пришлось сыграть, сама по себе была следствием политической обстановки, сложившейся во Франции и Европе в целом. Романы Дюма подробно повествуют о заговорах и интригах, в центре которых находилась первая жена Генриха Наваррского. Эти заговоры — тоже не вымысел писателя, но в действительности они происходили иначе, чем описывает Дюма, при иной расстановке сил и ином составе участников, чьи мотивы нередко отличались от созданных неистощимой фантазией знаменитого романиста. Следует отметить, что цели заговоров были тесно связаны — если не прямо определялись — с вековым конфликтом, который раздираал Европу той эпохи.

Дюма изображает графа де Ла Моля, завоевавшего сердце ветреной красавицы-королевы, молодым человеком 24—25 лет, приехавшим в Париж из Прованса. В действительности он был на 20 лет старше — почти старик по понятиям того времени. Простаивая три или четыре мессы ежедневно, чтобы замолить свои грехи, де Ла Моль не уступал никому в галантных приключениях, составлявших скандальную хронику двора¹. Де Ла Моль был далеко не новичком в политических интригах. По поручению очень благосклонного к нему Карла IX граф ездил в Лондон искать руки королевы для герцога Алансонского. Де Ла Моль вроде бы произвел впечатление на Елизавету, но миссия его не привела к успеху. Из приближенных короля он перешел в свиту герцога Алансонского, которого надеялся превратить в орудие своих честолюбивых планов. К этому времени де Ла Моль из-за своих любовных походов успел снискать ненависть ряда влия-

тельных соперников, особенно герцога Анжуйского — будущего Генриха III. Тогда в окружении герцога Алансонского оказался и пьемонтец Аннибал Коконнато, известный больше под именем графа де Коконнаса.

В конце 1573 года Екатерина Медичи, убедившись в неудаче своей попытки подавить протестантизм во Франции, снова стремилась добиться мира, как в месяцы, предшествовавшие Варфоломеевской ночи. Приближенные к власти «политики», особенно маршал Монморанси, вновь стали выдвигать идею войны против Испании, а Екатерина — вновь резко осуждать эти планы. В последовавшем очередном туре интриг де Ла Моля обвиняли в попытке организовать покушения на герцога Гиза по поручению Монморанси и герцога Алансонского. Монморанси получил отставку, но де Ла Моль решил сам попробовать осуществить план вовлечения Франции в войну против Филиппа II.

Как раз к этому времени — к январю — февралю 1574 года — и относится начало романа опытного соблазнителя и королевы Наваррской, казавшегося для современников необычным из-за разницы в положении и возрасте затронутых лиц. Королева Марго в это время под влиянием де Ла Моля примкнула к партии «политиков». Успехи провансальца вызвали ревность у герцога Алансонского и самого Карла IX, которые даже сговорились задушить его на дворцовой лестнице. Де Ла Моль ускользнул с помощью Коконнаса и его любовницы герцогини де Невер, об этом подробно повествует Дюма. Де Ла Моль и Маргарита убедили герцога Алансонского принять участие в заговоре, составленном «политиками» и протестантами. Он предусматривал восстание против Карла IX и фактически передачу власти в руки герцога Алансонского. Попытка бегства герцога Алансонского и Генриха Наваррского, назначенная на 10 апреля 1574 г., не удалась — они были выданы Шарлоттой де Сов, являвшейся одновременно любовницей их обоих и шпионкой королевы-матери.

14 апреля испанские войска разгромили в сражении при Моор-Керхейде отряд одного из участников заговора. Трусливый герцог Алансонский поспешил выдать своих сообщников. Де Ла Моля предал суду парламента, но он даже под пыткой не сделал никаких признаний. Напротив, Коконнас, зарекомендовавший себя свирепым убийцей во время Варфоломеевской ночи, пытался спасти себе жизнь, донося на всех, кого только знал, и припи-

сывая им любые преступления. Однако 30 апреля его казнили вместе с де Ла Модем, у которого нашли фигурку Маргариты с короной на голове. Магические действия над такими, обычно восковыми, фигурками считались способными вызвать страсть или навести порчу. Было удобно счесть, что фигурка является изображением короля, и суеверная Екатерина даже всерьез приписывала ухудшение здоровья Карла действую колдовских чар. По приказу королевых-матери начались поиски астролога Руджиери, делавшего такие фигурки. Переодетого крестьянином астролога — он пытался укрыться во флорентийском посольстве — доставили к Екатерине Медичи. Она решила его пощадить, рассчитывая, что Руджиери сумеет исцелить короля.

На основе материалов процесса де Ла Моля Карл IX приказал произвести аресты маршалов де Монморанси и де Коссе. Это еще более сплотило «политиков» и гугенотов, началось новое восстание. Английская королева Елизавета ходатайствовала за Генриха Наваррского и герцога Алансонского, но натолкнулась на твердый отказ.

В 1573 году Екатерине Медичи удалось добиться большого успеха — ее любимый сын Генрих был избран на польский престол. Имея у себя в тылу короля из дома Валуа, австрийские Габсбурги должны были теперь занять более осторожную позицию в отношении Франции. Карл IX, желавший избавиться от нелюбимого брата, заставил его ускорить не раз откладывавшийся отъезд в Варшаву. Впрочем, новый польский король только и думал о возвращении в Париж, как только он получит известие о близкой кончине его больного брата.

Карл IX скончался в разгар нового восстания гугенотов 30 мая 1574 г. Спешно вызванный Екатериной из Польши герцог Анжуйский наследовал престол под именем Генриха III. Началась долгая цепь интриг Маргариты против нового короля. Герцог Алансонский и Генрих Наваррский бежали из Парижа.

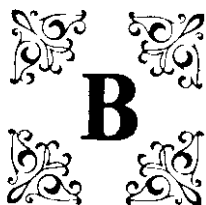
Во второй половине 70-х годов Генрих III не раз обращался к мысли о войне против Испании, чтобы посадить на трон Нидерландов своего младшего брата Франсуа — герцога Алансонского (потом герцога Анжуйского), немало досаждавшего королю во Франции. А Екатерина Медичи в это же время строила совершенно, как оказалось, нереальные планы женитьбы своего младшего сына на ее собственной племяннице — инфанте Изабелле, доче-

ри Филиппа II, которая должна была принести в качестве приданого Нидерланды.

Что касается королевы Марго, то она будет и далее участвовать во множестве интриг, примыкая к разным партиям. По настоянию Маргариты один из ее мимолетных любовников убьет 31 октября 1575 г. королевского фаворита де Гаста, настаивавшего на решительной борьбе против Испании, а по наущению Генриха III ревнивый муж графини Монсоро и его слуги зарежут другого возлюбленного королевы — легендарного дуэлянта Бюсси. Таких драматических эпизодов будет еще немало в жизни «жемчужины Валуа», «волшебницы», «новой Минервы», как именовали королеву Марго придворные льстецы. Впрочем, ее обаянию поддавались Ронсар и Малерб, Брантом и Монтень, и ей сопутствовала слава покровительницы наук.

В июле 1585 года Маргарита Валуа покинула мужа, чтобы присоединиться к католическому лагерю, и заперлась в крепости Ажан в центре протестантского Юго-Запада, обратившись за помощью к Гизам и Филиппу II. Помощь, однако, запоздала, и крепость была взята штурмом войсками Генриха Наваррского. Маргариту заключили в крепость Юсон, откуда она бежала с помощью агента Гизов, однако лишь для того, чтобы вскоре быть снова схваченной и возвращенной под стражу. Филипп II обвинял Генриха III в помощи Генриху Наваррскому при захвате Ажана, а французский король упрекал испанцев за помощь королеве Марго не только деньгами, но и солдатами-арагонцами². Маргарите пришлось испытать многие превратности судьбы (ее мать даже подумывала об убийстве дочери, чтобы женить Генриха Наваррского на какой-то из своих родственниц), снова и снова менять возлюбленных, один из которых убил другого на глазах у королевы. Подобный же случай потом повторился, и на этот раз убийце отрубили голову по просьбе самой Маргариты. К этому времени Генрих Наваррский стал Генрихом IV, а Марго сумела выторговать крупные уступки за свое согласие на развод. В последний раз ее судьба соприкоснулась с большой политикой, когда королева Марго оказалась замешанной, правда косвенно, в заговоре, приведшем к убийству Генриха IV (об этом будет говориться дальше). Она умерла в 1615 году, когда ее политическая роль была уже давно сыграна.

Паутина заговоров



торой этап векового конфликта выдвинул на передний план методы тайной войны, не игравшие столь значительной роли в первой половине XVI века. На первом этапе борьба в рамках конфликта, по сути дела, велась между императором и германскими протестантскими князьями, которых поддерживали противники Габсбургов в католическом лагере.

На втором этапе борьба распространилась на всю Западную Европу, но, приобретая характер всеобщей войны, приняла форму ряда переплетавшихся между собой конфликтов — в Нидерландах, во Франции, в Англии и Шотландии. Особенностью векового конфликта являлись превращения гражданских войн в международные столкновения, их затягивание на длительные сроки, иногда на многие десятилетия. Почти в каждой стране Западной и Центральной Европы имелось более или менее значительное преследуемое религиозное меньшинство, связанное узами единого вероисповедания с правящими кругами других враждебных данному государству. И здесь на авансцену выдвигались приемы тайной войны, тем более что при тогдашней политической структуре государств весьма эффективным орудием смены власти был дворцовый заговор под предлогом защиты династических прав того или иного претендента на престол. Агрессором в конечном счете неизменно оказывался лагерь контрреформации. Однако в каждом конкретном случае, на отдельных этапах противоборства складывались и иные ситуации. И это придавало тайной войне не только особый размах, но и некоторую неясность, не позволявшую порой выявить подлинные намерения и роль участников борьбы. Поэтому уже в наше время некоторым консервативным историкам удается изображать лагерь контрреформации обороняющейся стороной.

Остановимся на одном из возможных примеров — на одном из заговоров в непрекращавшейся тайной войне контрреформации против Англии. В середине XVI века, да и позднее, значительная часть населения Англии оставалась католической. Не исключено, что даже отдельные английские дипломаты-разведчики, вроде заклятого врага

иезуитов сэра Эдварда Уоттона (1548—1626), были католиками¹. Католические заговоры концентрировались вокруг Марии Стюарт — шотландской королевы, имевшей династические права на английский престол. Драматическая история жизни Марии Стюарт привлекла внимание великих поэтов, писателей и художников. Достаточно вспомнить Ф. Шиллера и Стефана Цвейга. Но будет лишним добавить, что трудно найти в XVI веке фигуру, которая бы служила таким ярким олицетворением векового конфликта. В этом отношении в один ряд с пылкой и романтической королевой Шотландии среди современников можно, пожалуй, поставить только ее многолетнего тайного корреспондента, сумрачного хозяина Эскуриала — Филиппа II.

Роль Шотландии во многом определялась изменяющимся положением, которое занимала ее южная соседка в системе международных отношений. Во время правления Марии Тюдор, вышедшей, как мы помним, замуж за Филиппа (тогда еще наследника престола), Англия воевала совместно с Испанией против Франции. А французское правительство, в свою очередь, стремилось в максимальной степени использовать династические связи с Шотландией, чтобы добиться активного участия этой страны в борьбе против Англии. В такой обстановке и был заключен брак между Марией Стюарт и французским дофином Франциском (позднее, в 1559—1560 гг., занимавшим королевский престол). Династия Стюартов еще ранее была связана семейными узами с Гизами, герцогами Лотарингскими (представители этой династии занимали ключевые посты в правительстве Франции и позднее возглавили организацию французских воинствующих католиков). Поэтому долгое время отношения Мадрида и Эдинбурга определялись не столько нарастающими противоречиями Испании с Англией, сколько отношениями с Францией, младшим партнером которой стала Шотландия. Подход Мадрида к Шотландии тогда также определялся не столько вековым конфликтом, сколько сложно переплетавшимся с ним соперничеством между Испанией и Францией. Однако по мере того как на первый план выдвигались борьба между Габсбургами и Англией и вмешательство Испании в гражданские войны во Франции, целиком вписывавшиеся в русло векового конфликта, отношение Филиппа II к шотландским событиям все в большей степени зависело от развития этого конфликта.

Мария Стюарт и английская королева Елизавета так

никогда и не встретились лицом к лицу. Елизавета постоянно уклонялась от такой встречи. В их соперничестве личные мотивы тесно сплетались с политическими. Елизавета, которая из-за врожденной или приобретенной аномалии не могла надеяться иметь потомство, не стремилась к замужеству, предпочитая заводить фаворитов. Она не могла не вспоминать незавидную, а подчас и трагическую судьбу жен своего отца Генриха VIII, и прежде всего своей матери Анны Болейн, отправленной супругом на эшафот. Вместе с тем надежда получить руку английской королевы была удобной приманкой, которую десятилетиями использовало английское правительство в дипломатической игре. Так же обстояло дело и с нежеланием бездетной Елизаветы назвать имя своего преемника: королева говорила, что он будет маячить у нее перед глазами, как саван. Но здесь опять-таки к обычной нерешительности Елизаветы и страху смерти примешивался хладнокровный политический расчет. Возможность взять дорогую цену за согласие признать права того или иного претендента была слишком сильным козырем, куда более важным, чем опасность того, что неурегулированность вопроса о престолонаследии может послужить причиной вооруженной борьбы за британский трон. Вместе с тем было замечено, что засидевшаяся в невестах королева с чисто женской ревностью осуждала возможность вступления в новый брак Марии Стюарт, которая была почти на девять лет ее моложе. Мария не отказывалась от права занять престол после Елизаветы. Это право, не признаваемое Лондоном, должно было быть унаследовано детьми Марии Стюарт. Потому Елизавета хотела, чтобы муж шотландской королевы, если она все же решится вторично вступить в брак, подходил для английского правительства. Супруг правящей королевы становился королем ее страны — как Филипп II стал королем Англии во время правления Марии Тюдор, а Франциск II — королем Шотландии, женившись на Марии Стюарт. Правда, ни тот, ни другой так и не успели воспользоваться политическими выгодами, которые сулили их династические браки, но причиной тому была неожиданно ранняя кончина одного из супругов (в первом случае — Марии Тюдор в 1558 г., а во втором — Франциска II в 1560 г.).

Руки Марии Стюарт стали теперь домогаться многие монархи и наследные принцы, в их числе — короли Франции, Дании и Швеции. Особенно опасными для Англии среди претендентов казались представители обеих, ав-

стрийской и испанской, ветвей габсбургского дома — эрцгерцоги Фердинанд и Карл (сыновья императора Карла V) и Дон Карлос, сын и наследник Филиппа II. Включение Шотландии с помощью династического брака в сферу влияния габсбургских держав и тем самым лагеря контрреформации вряд ли бы немедленно изменило соотношение сил, но, безусловно, создавало условия для таких перемен в недалеком будущем. Используя ресурсы лагеря контрреформации, король-католик смог бы не только подавить протестантизм в Шотландии, но и предпринять попытку свержения Елизаветы и передачи английского престола Марии Стюарт. Наибольшие опасения в этой связи вызывали притязания на руку Марии со стороны инфанта Дон Карлоса. Хотя сын Филиппа II не имел ничего общего с героическим образом, созданным воображением Шиллера в его драме «Дон Карлос», за испанским наследным принцем стояли мощь огромного государства Филиппа II, поддержка католического лагеря. К концу 1563 года Дон Карлос, никогда не отличавшийся физическим и психическим здоровьем, окончательно лишился рассудка, и в апреле 1564 года переговоры о его браке с Марией были прерваны.

Еще почти за год до этого, в июне 1563 года, Елизавета уведомила одного из наиболее влиятельных шотландских лордов — Мейтланда, что в случае брака Марии с Дон Карлосом ее будут считать врагом Англии, а если, напротив, она последует совету из Лондона при выборе мужа, то будет признана наследницей британского престола. Предложенную Елизаветой кандидатуру трудно было не счесть намеренным оскорблением. Это был многолетний фаворит Елизаветы Роберт Дадли, граф Лейстер. К тому же Лейстера обвиняли в убийстве его жены (неожиданно скончавшейся в сентябре 1560 г.) с целью женитьбы на Елизавете. (Пройдет всего несколько лет, и Марию Стюарт обвинят в соучастии в подобном же преступлении с целью выйти замуж за убийцу своего мужа.) Кандидатура Лейстера, видимо, и была выдвинута в расчете на то, что она наверняка будет отвергнута и тем самым будет создан предлог отказать Марии в ее притязаниях на английский престол. Однако, вероятно, именно поэтому советники шотландской королевы не сразу дали однозначный ответ на предложение Елизаветы — переговоры велись до начала 1565 года².

В июне 1565 года Мария неожиданно вышла замуж за своего кузена Генри Стюарта, лорда Дарнлея, сына

графа Леннокса. По словам одного придворного, сэра Джеймса Мелвила, Дарнлей «более напоминал женщину, чем мужчину. Он был хорошеньким, безбородым и лицом походил на даму». С династической точки зрения выбор Марии был не столь плох. Как и Мария, ее муж имел права на английский престол. Тем самым укреплялись и права любого их наследника. И все же этот выбор оказался серьезной политической ошибкой. Супруг королевы был спесивым ничтожеством, сразу вступившим в распри с влиятельными лордами, включая и Меря.

Елизавета была разгневана браком Марии. Соперничество с Дарнлеем объединило Меря и Гамильтонов — старых врагов Ленноксов. Однако поднятое ими восстание было без особого труда подавлено. Мерей бежал в Англию, Елизавета публично осуждала Меря, а втайне оказывала ему поддержку. И до, и после подавления (в сентябре 1565 г.) мятежа, возглавляемого Мереем, политика Марии представляла собой маневрирование между протестантами и католиками. В декабре 1565 года королева заявила, что она не будет ориентироваться на протестантов и рисковать потерей друзей на континенте, не получив взамен никаких гарантий поддержки со стороны Елизаветы. Одержав победу над частью протестантских лордов, Мария Стюарт сочла возможным более откровенно опираться на помощь католиков и в самой стране, и за ее пределами. Главным агентом католической контрреформации в Шотландии считали — без особого основания — итальянца Давида Риччио, музыканта по профессии, ставшего секретарем королевы. Влияние, которое этот выходец из Савойи приобрел на Марию, вызывало негодование лордов, видевших в возвышении выскочки-итальянца умаление своей власти. Они объяснили карьеру Риччио тем, что он будто бы являлся любовником королевы и отцом ребенка, которого она ожидала. Этот вымысел поддерживал даже Дарнлей. Он мстил Марии за откровенное пренебрежение, с которым она стала относиться к нему, как только поняла, чего он стоил. Дарнлей вступил в тайный сговор с мятежными лордами: они соглашались поддержать его притязания на власть, а он обязался не допустить конфискации имений Меря и его союзников.

Ночью 9 марта 1566 г. заговорщики ворвались в королевский дворец и на глазах Марии зарезали Риччио, умолявшего свою повелительницу о защите. Очень вероятно, что в расчеты лордов входило устранение и самой королевы. Они предполагали, что молодая женщина, кото-

рая должна была скоро родить, просто не выдержит леденящего ужаса этой мрачной ночи, направленных на нее мечей в покрытых кровью руках убийц.

Однако Мария уцелела. Ей удалось искусным притворством привлечь на свою сторону Дарнлея и таким путем освободиться от подчинения заговорщикам, которые должны были вскоре бежать в Англию. 19 июня Мария родила сына — будущего короля Якова, что, казалось, еще более способствовало примирению супругов. Но оно было лишь видимым. Мария не простила Дарнлею его предательства, и теперь, когда она с его помощью избавилась от давления мятежников, не было больше нужды скрывать свои истинные чувства. Уже в августе и особенно в сентябре 1566 года все знали о разрыве между супругами. Прибывший на крестины принца Якова английский посол граф Бедфорд писал: «Невозможно из чувства приличия и ради чести королевы передать, что она говорила о нем». Дарнлей почуял опасность и поспешил уехать в Глазго, где было сильно влияние его отца.

Возможно, что ненависть и отвращение к Дарнлею были вызваны у Марии внезапно вспыхнувшим чувством к 30-летнему Джеймсу Хепберну, графу Босвелу, самоуверенному и беззастенчивому предводителю боевых отрядов, составленных из жителей пограничных районов. Стефан Цвейг в своей «Марии Стюарт» уделяет много внимания этой налетевшей как ураган необоримой страсти, которая превратила гордую и властную королеву в покорное орудие хищного честолюбца. Под гипнотическим взглядом своего любовника королева безропотно разыгрывает комедию нового примирения с Дарнлеем, выманивает его из безопасного Глазго и 9 февраля 1567 г. осуществляет план коварного убийства. Дом Кирк о'Филд около городской стены, в котором поместили Дарнлея, взлетел на воздух. Мария Стюарт за несколько часов до этого уехала в замок Холируд, чтобы присутствовать на свадьбе своих придворных. А вскоре королева выходит замуж за Босвела, которому для этого спешно устроили развод с первой женой.

Такова версия, которой придерживались враги Марии Стюарт и которую пересказывали сотни раз даже многие сочувствующие ей историки (конечно, в различном стиле, с разными оценками и психологическими мотивировками поведения главных действующих лиц). Однако единственно несомненным в этой истории является убийство Дарнлея. Все остальное опирается на совсем не безупречные дока-

зательства, покоится на достаточно произвольных предположениях, на домыслах, порой даже не учитывающих некоторых бесспорных фактов.

О «преступной страсти» королевы к Босвелу узнали из ее собственных писем. Но подлинность этих документов никак нельзя считать неопровержимо установленной. При отсутствии оригиналов «писем из ларца» не прекращающиеся уже четыре века дискуссии вряд ли способны привести к определенному ответу. Сведений о любовной связи королевы Марии и Босвела, относящихся ко времени до убийства Дарнлея, не существует вовсе. Скандальные подробности впоследствии стали известны из сочинений врага королевы Джорджа Бьюкенена, являвшегося орудием лорда Мерея. Его рассказы хотя и богаты красочными деталями, призванными придать им достоверность, но все же являются вымыслом и не выдерживают никакой проверки. Заговорщики, взрывая Кирк о'Филд, сознательно стремились продемонстрировать, что Дарнлей был убит, а не умер естественной смертью. Так могли действовать лишь те, кто был уверен, что им удастся переложить на плечи других вину за совершенное преступление. Вместе с тем поведение Марии в декабре 1566 года, то есть незадолго до взрыва в Кирк о'Филде (в том числе и ее попытки заручиться путем щедрых денежных пожалований поддержкой протестантской церкви), свидетельствует о том, что она была в курсе заговора лордов против ее мужа и готовилась к политическому кризису, который мог последовать за его убийством. Одновременно 23 декабря католический архиепископ Сент-Эндрюсский Джон Гамильтон был восстановлен в своих полномочиях, которые были отняты у него за неразрешенное служение мессы. Теперь он обладал юрисдикцией, позволявшей ему аннулировать браки Марии с Дарнлеем и Босвела с его женой. На следующий день, 24 декабря, были прощены убийцы Риччио, которые стали ярыми врагами своего прежнего сообщника Дарнлея. 9 января 1567 г. Джон Гамильтон был снова лишен некоторых своих полномочий. Не означало ли это, что в его услугах более не нуждались и от Дарнлея было решено отделаться иным путем?

Дарнлей в последние месяцы своей жизни пытался представить себя поборником интересов лагеря контрреформации, обращался за поддержкой к Филиппу II и римскому папе. Но его прошлое поведение было настолько двусмысленным, что в Мадриде и Риме его явно не могли считать ревностным католиком, которого следует предпо-

честь Марии Стюарт. Поведение Марии, заманившей Дарнлея в Эдинбург, может быть объяснено политическими мотивами — боязнью его бегства за границу. Роль заботливой жены, которую королева играла в Кирк о'Филде, могла объясняться тем, что она стремилась таким образом «узаконить» ожидавшегося ею ребенка. (Мария в прошлом не раз ошибочно считала себя беременной, и сама могла быть источником ходивших на этот счет слухов.) Одним словом, существует множество косвенных данных, уличающих королеву в участии в заговорах против ее мужа, что, однако, отнюдь не равнозначно ее прямой причастности или просто согласию на взрыв в Кирк о'Филде.

После убийства Дарнлея, потерпев поражение в борьбе с шотландскими лордами-протестантами, Мария Стюарт бежала в Англию. Елизавета приказала держать ее под арестом и организовала суд, чтобы формально снять с шотландской королевы обвинение в убийстве мужа. Во время первого процесса Марии Стюарт на ее сторону фактически перешел один из членов судившей ее комиссии — Томас Говард, герцог Норфолк. Вражда с главным министром Сесилом и фаворитом Елизаветы герцогом Лейстером, несогласие с проводимым ими антииспанским курсом во внешней политике, а главное — такая заманчивая цель, как шотландская корона, побудили герцога Норфолка искать руки Марии Стюарт. Разгневанная Елизавета приказала обвинить Норфолка в государственной измене на основании того, что, мол, шотландская королева не отказывалась от своих прав на английский престол (как утверждала сама Мария — только от права наследовать Елизавете, но эта оговорка не принималась во внимание английским правительством).

В 1569 году в северных графствах Англии вспыхнуло восстание — народное недовольство, как это не раз случилось во времена Реформации, вылилось в движение под знаменем католицизма. Как уже упоминалось, в феврале 1570 года папа Пий V издал буллу, отлучающую Елизавету I от католической церкви (к которой она, впрочем, и не принадлежала) и, главное, освобождающую подданных от присяги «королеве-еретичке». Булла эта была издана в расчете на восстание, уже, однако, жестоко подавленное к моменту ее опубликования.

Папская булла содержала немало юридических неясностей и неточностей, и они были сразу же использованы ловкими английскими интерпретаторами, чтобы привести доводы для несоблюдения ее британскими католиками

(большинство из которых нуждалось для этого лишь в благовидном предлоге). Как бы то ни было, никаких заметных признаков неповиновения правительству Елизаветы — после подавления восстания в северных графствах — так и не последовало. Тем не менее интенсивная католическая пропаганда — особенно с помощью эмиссаров, присылаемых из-за границы, — приносила некоторые плоды. А воображение английской католической эмиграции безмерно преувеличивало достигнутые, по всей вероятности весьма ограниченные, успехи. Позднее руководитель этой эмиграции доктор (впоследствии кардинал) Уильям Аллен слышал от лиц, прибывших из Англии, будто «число тех, кто ежедневно возвращается в лоно католической церкви, превосходит всякое вероятие, что один из посланных Римом миссионеров обращал в католичество не менее 80 человек в день»³.

Восставшим в 1569 году не удалось освободить Марию Стюарт, а герцог Норфолк, которого стоявшие во главе восстания католические феодалы собирались сделать главнокомандующим повстанческой армией, струсил, предал своих сообщников и, явившись по приказу Елизаветы в Лондон, был посажен в Тауэр. Поскольку против Норфолка не было прямых улик, его выпустили из тюрьмы, но оставили под домашним арестом. Это не помешало вовлечению герцога в «заговор Ридольфи».

Флорентийский банкир Роберто Ридольфи, по имени которого назван заговор, выступал в качестве агента римского папы, короля Филиппа II и его кровавого наместника в Нидерландах герцога Альбы. Итальянец поддерживал тесные связи с испанским послом доном Герау Деспесом, с католическим епископом Лесли — послом Марии Стюарт при английском дворе, сластолюбивым жуиром и трусом, готовым на любое предательство. При тайном свидании с Ридольфи герцог Норфолк обещал в случае получения денежной субсидии поднять восстание и держаться до прибытия из Нидерландов испанской армии численностью 6 тысяч человек. Планы заговорщиков предусматривали убийство Елизаветы. Однако Альба счел планы Ридольфи трудноосуществимыми и к тому же сомневался в том, что удастся сохранить в тайне заговор, в который итальянец успел посвятить слишком многих. Альба предпочитал избавиться от Елизаветы с помощью наемного убийцы, о чем и сообщил Филиппу II. Ридольфи счел необходимым уведомить о положении дел епископа Лесли, герцога Норфолка и еще одного заговорщика — лорда

Лэмли. Курьером он выбрал молодого фламандца Шарля Байи, неоднократно бывавшего в Англии.

Байи бегло говорил по-английски и на нескольких других языках, и поэтому ему удавалось легко менять обличье, обманывая бдительность властей. Но на этот раз — дело происходило в апреле все того же 1571 года — счастье изменило фламандцу. В Дувре при таможенном досмотре у него обнаружили изданное во Фландрии на английском языке сочинение епископа Лесли «Защита чести Марии, королевы шотландской», в котором недвусмысленно обосновывались ее права на престол. Одного такого мятежного произведения было вполне достаточно для ареста Байи. Кроме того, у него были изъяты еще какие-то подозрительные бумаги и письма, явно написанные шифром. На них не были указаны адресаты, стояли лишь числа 30 и 40. Арестованный уверял, что его попросту попросили доставить эти письма в Лондон и что ему не известны ни имена лиц, которым они адресованы, ни шифр, которым они написаны. Вскоре же, однако, выяснилось, что Байи лгал. При более тщательном обыске под подкладкой его камзола был обнаружен шифр. Не оставалось сомнений, что в руки властей попали нити нового заговора против королевы. Губернатор южных портов сэръ Уильям Кобгем, который допрашивал Байи, решил, не теряя времени, отправиться с захваченными бумагами к главному королевскому министру Уильяму Сесилу, лорду Берли. При допросе присутствовал брат губернатора Томас Кобгем, тайно принявший католичество. Фламандец успел обменяться с ним многозначительными взглядами. После этого Томас неожиданно заявил, что, если бумаги попадут к лорду Берли, герцог Норфолк — конченный человек. Губернатор, однако, не стал слушать брата и приказал подать лодку. Томас взялся сопровождать его и по дороге снова стал настойчиво убеждать не торопиться с передачей бумаг главному министру. Уильям Кобгем заколебался, сообразив, что речь идет о заговоре, организованном Ридольфи, с которым он и сам был как-то связан, и боялся, что это обстоятельство выльется наружу.

Кобгем понял, что не в его интересах передавать бумаги Уильяму Сесилу. Но скрыть их было еще опаснее. Лорд Берли все равно бы вскоре узнал об аресте Байи и его допросе Уильямом Кобгемом. Лодка уже приближалась к дому Берли, надо было на что-то решиться, и... Кобгем приказал повернуть обратно. Он пошел на хитрость. Бумаги были отправлены Джону Лесли с вежливой просьбой к

епископу как иностранному послу явиться на следующий день к губернатору и вместе с ним распечатать и прочесть полученную корреспонденцию. Иначе говоря, Кобгем давал шотландцу драгоценное время для подмены бумаг. Почтенного прелата не надо было просить дважды. Он сразу ринулся к испанскому послу дону Герау Деспесу. Началась лихорадочная работа. Взамен подлинных писем были составлены подложные, написанные тем же шифром. Для правдоподобия в них содержались полемические выпады в адрес королевы, но было опущено все, что могло бы навести на мысль о существовании антиправительственного заговора. В пакет даже были дополнительно вложены другие подлинные письма, которыми обменивались заговорщики, но в которых не содержалось никаких улик. Настоящие же письма, полученные от Ридольфи, были отправлены Норфолку и лорду Лэмли. Теперь Кобгем мог переслать фальсифицированную корреспонденцию по прямому назначению — лорду Берли, а Лесли, играя свою роль, даже официально потребовал возвращения адресованных ему писем, на которые распространялась дипломатическая неприкосновенность.

Сесил если и был обманут, то только наполовину. Его шпионы во Фландрии уже успели известить его о каких-то приготовлениях к новому заговору. Кроме того, он был поражен наглым тоном, в котором была написана книга Лесли: в ней явно проглядывали расчеты посла Марии Стюарт на то, что плененная королева займет не только шотландский, но и английский престол. Однако Берли ничем не выдал своих подозрений. Он предпочитал, чтобы его считали одураченным. Главным его козырем было то, что под арестом находился, очевидно, немало знавший Байи. Настойчивость, с которой Лесли пытался добиться освобождения фламандца, ссылаясь на принадлежность последнего к штату шотландского посольства, лишь укрепила Берли в убеждении, что Байи держит в своих руках ключ к тайне. А когда к Байи, заключенному в лондонскую тюрьму Маршалси, попытались проникнуть люди испанского посла, а потом какой-то ирландский священник по поручению епископа Росского, эта уверенность еще более укрепилась. Тюремные власти перехватили людей, направленных к фламандцу, который томился в неизвестности и в отношении своего будущего, и того, какой линии держаться на предстоящих ему допросах. Берли отлично понял смятение, в котором находился Байи.

...Ночью в мрачной, сырой камере, где на вязанке соломы лежал, дрожа от холода, Байи, неожиданно появился человек. Узник с радостью узнал в нем своего старого знакомого Уильяма Герли, отважного католика, которого его благочестивые единовѣрцы почитали за святого великомученика. Он уверял, что является двоюродным братом леди Нортумберленд, жены предводителя недавнего католического восстания. За участие в этом восстании Герли был брошен в тюрьму. Заключенные и посетители тюрьмы Маршалси видели, как несчастного страдальца заковывали в тяжелые цепи и неделями держали в подземных темницах на хлебе и воде. Католики, включая епископа Росского и дона Герау, считали Герли невинной жертвой протестантов. Многие пытались даже заручиться советами или благословением узника в благочестивой уверенности, что на него нисходит божья благодать. Доказать последнее, конечно, трудно. Доподлинно известно другое: Герли находился на постоянном жалованье у лорда Берли, который характеризовал его как «джентльмена, обладающего высокими достоинствами, мудростью и образованием, большим опытом... Он хорошо известен Ее величеству, которая благосклонно относится к нему».

Как происхождение Уильяма Герли, так и причины его смерти в 1588 году остаются неизвестными. Его родственные связи с семейством лорда Нортумберленда, возможно, относятся к легенде, изобретенной им для пользы службы. Установлено, что Герли был родом из Уэльса. Его письма свидетельствуют о том, что он получил основательное образование. Он утверждал, что хорошо знает несколько иностранных языков, и это, видимо, не было выдумкой. Некоторые его послания написаны по-латыни. Известно, что он говорил по-итальянски. Впоследствии этот тюремный шпион значительно продвинулся на службе у лорда Берли. Ему даже была поручена дипломатическая миссия.

История Герли — история одного из многих дворян прожигателей жизни, не слишком разборчивых в средствах, когда речь шла о деньгах или о возможности разделиться с докучливыми кредиторами. В 1565 году его обвиняли в том, что он занимался пиратством в районе острова Уайт. Корабль, захваченный Герли и его компанией, оказался вдобавок голландским, а не испанским, а конфликт с Нидерландами не входил в планы правительства. В оправдание Герли составил подробный дневник собственных деяний с 3 по 27 июля 1565 г. (документ

этот сохранился с пометкой Уильяма Сесила). Как бы то ни было, Герли получил право отправиться в Лондон, чтобы лично представить свои оправдания. Видимо, они были приняты, а сам «безвинно обвиненный», возможно, принялся за прежнее ремесло. К 1569 году относится письмо Герли к Сесилу с попытками оправдаться уже за новые предосудительные действия. В следующем году Герли опять оказался в конфликте с законом и властями. В ноябре 1570 года он был в числе четырех лиц, направленных по решению Тайного совета в тюрьму Маршалси. Им запрещались контакты с другими арестантами. Герли выражал раскаяние, униженно предлагал свои услуги Сесилу, умоляя об освобождении и помощи, ибо «свобода без милости — все равно что жизнь без движения». Милость была оказана,.. но в стенах Маршалси. Герли была обеспечена «полная движения» жизнь тюремного шпиона и провокатора.

Разумеется, Байи не имел ни малейшего понятия о щекотливых подробностях биографии «тюремного святого», а тот, успев приобрести немалый навык в своем хлопотливом ремесле, вначале ничего не выспрашивал у Байи. Напротив, Герли доверил ему «важные тайны», а потом фламандец сам отплатил доверием за доверие. Спрос на услуги расторопного «великомученика» быстро возрастал. Герли был отнесен к числу арестантов, которым разрешали свидания с посетителями. Одним из них оказался посланец епископа Лесли, попросивший Герли помочь в установлении связи с Байи. Герли с готовностью согласился. Переписка между фламандцем и послом Марии Стюарт стала проходить через руки Герли, а фактически — через канцелярию Сесила, где снимались копии со всех писем. Но письма были шифрованными, а раскрыть код никак не удавалось. Тут еще Герли допустил досадную ошибку. Ему приходилось чуть ли не ежедневно писать длинные отчеты лорду Берли, в которых, разумеется, полагалось использовать официальную правительственную терминологию при упоминании всех недругов королевы. В разговорах же с Байи Герли нужно было находить совсем иные слова для наименования тех же лиц и событий. И вот у «святого», как на грех, один раз сорвалось с языка слово «мятежники» в отношении участников недавнего католического восстания. Этого было достаточно, чтобы фламандец догадался о подлинной роли Герли.

Пришлось действовать в открытую. Байи доставили к грозному министру, который потребовал от него расшиф-

ровать переписку с Лесли. Заключение сослался на то, что якобы потерял ключ к шифру. После этого допроса Байи был переведен в Тауэр. Там в одиночной камере он был надежно изолирован от своих сообщников. Министр приказал подвергнуть фламандца пытке, чтобы заставить раскрыть секрет шифра.

Байи был, по-видимому, склонен давать наставления даже самому себе. На стенах его камеры сохранилась вырезанная на камне надпись: «Мудрым людям следует действовать с осмотрительностью, обдумывать то, что они намерены сказать, осматривать то, что они собираются брать в руки, не сходитья с людьми без разбора и пренебрегать всем не доверять им опрометчиво. Шарль Байи». Однако он, вероятно, забыл то веское обстоятельство, что люди слишком часто поступают вопреки собственным мудрым поучениям.

В Тауэре Байи подвергли допросу под пыткой, впрочем, не очень суровой по понятиям того жестокого времени. Понятно, что и испанский посол дон Герау, и тем более епископ Лесли с напряженным вниманием ждали известия о том, удалось ли сломить упорство фламандца. Дон Герау сообщал в своих депешах, что Байи напуган, но ему не нанесли больших телесных повреждений. Представителю Филиппа II было легко сохранять невозмутимость — не то что его коллеге, епископу Лесли, которого очень слабо защищал пост посла королевы, свергнутой с престола в Шотландии и содержащейся под стражей в Англии. Он понимал, что в любую минуту может разделить участь Байи, если пытка развяжет язык его сообщника. Однако единственное, что мог сделать Лесли, это посылать Байи постельные принадлежности и хорошую пищу с напоминаниями, как надлежит вести себя в языческих темницах христианским борцам за веру.

Между тем Берли по-прежнему не считал дыбу наилучшим способом узнать от фламандца тайны заговорщиков. Пусть Герли опростоволосился. Но, учитывая выявившуюся податливость Байи на уговоры «христианских великомучеников», надо было подослать к нему «святого» с безупречной репутацией. И здесь сама собой напрашивалась кандидатура доктора богословия Стори. Это был ярый католический фанатик, призывавший к убийству Елизаветы.

Стори эмигрировал в Нидерланды, где герцог Альба поручил ему роль таможенного цензора. Его обязанностью было просматривать книги, находившиеся на кораблях,

прибывавших в Антверпен, и конфисковывать протестантские сочинения, которые контрабандным путем пытались провозить во владения Филиппа II. Понятно, что ни сам доктор Стори, ни его богоугодная, как он считал, деятельность не вызывали восторга в Лондоне. Поэтому, когда однажды Стори явился на английский корабль для обычного досмотра, команда неожиданно подняла паруса, и доктор вскоре очутился в одной из лондонских тюрем. Суд приговорил его к смерти, но Елизавета, в эти годы нередко разыгрывавшая комедию милосердия и твердившая о нежелании отправлять людей на эшафот за политические преступления (это после казни сотен участников восстания на Севере!), не утвердила смертный приговор.

Стори оставался в Тауэре, ожидая решения своей участи, а его имя оказалось в полном распоряжении лорда Берли. Почему бы «доктору Стори» не продолжить игру, столь удачно начатую Уильямом Герли? Ведь фламандец никогда в глаза не видел почтенного теолога, хотя, разумеется, не мог не знать его историю. Короче говоря, на роль Стори, по-видимому, был приглашен один из разведчиков Берли — некий Паркер (который, кстати, и организовал похищение Стори из Антверпена). Мы говорим «по-видимому», так как в литературе высказывалось и предположение, что роль Стори сыграл переодетый Уильям Герли. В камеры Тауэра свет проникал слабо, Байи мог и не узнать своего недавнего приятеля. Тем не менее, поскольку риск был слишком велик, трудно поверить, что Берли пошел на него без особой нужды.

Как бы то ни было, очередное действие драмы началось в точности, как предыдущее. Ночью в темнице, где Байи со страхом ожидал очередного допроса, появилась длинная фигура доктора богословия. Новый «святой угодник», как и Герли, тоже ни о чем не расспрашивал Байи, а только горячо сочувствовал страданиям фламандца. И не только сочувствовал, а стремился найти выход из ловушки, в которую попал Байи. И «с божьей помощью» этот выход нашел. Байи, чтобы не подвергнуться предстоявшей ему на завтра пытке более суровой, чем прежние, следовало просто перейти на службу к лорду Берли. Конечно, только для видимости, на деле же оставаясь верным приверженцем королевы Марии. Ведь, как ему, Стори, сообщили черные люди, нечестивый министр уже где-то раздобыл ключ к шифру. Байи поэтому лучше всего добровольно открыть этот ключ и тем самым завоевать доверие властей. Таким образом он сумеет не только избежать жестоких

мучений, но и оказать большую услугу святой католической церкви. Байи принял показавшийся ему блестящим план и на допросе без всякого отпирательства раскрыл ключ к шифрованной корреспонденции. Только после этого из поведения допрашивавших его лиц он с ужасом понял, что полностью выдал своих доверителей. Окончательно это стало ясно, когда было отвергнуто его предложение поступить на службу в английскую разведку. Что же касается лорда Берли, то Байи его больше не интересовал. Фламандцу был предоставлен досуг — заполнять стены своей камеры нравоучительными изречениями на английском, французском и латинском языках. Через несколько лет его выслали на родину.

Байи выдал все, что знал, но знал он далеко не все. И прежде всего ему не было известно, кем являлись таинственные «30» и «40». На этот вопрос мог ответить только епископ Лесли.

Берли снова решил действовать по уже оправдавшей себя схеме. Новую игру начал все тот же Уильям Герли, о подлинной роли которого Лесли не имел ни малейшего представления. Посланцы епископа, крайне обеспокоенного отсутствием сведений от Байи, неоднократно навещали Герли. Тюремный шпион, потрясая кандалами, жаловался на муки, которые претерпевает во славу истинной веры, и постепенно сводил беседу к значению двух чисел 30 и 40. Но слуги епископа не могли удовлетворить его любопытство, так как и сами не были просвещены на этот счет. Герли направил тогда слезливое письмо самому Лесли, который, однако, несмотря на свое сочувствие «невинному страдальцу», не видел причин знакомить его с содержанием своей секретной переписки.

Берли оставалось прибегнуть к силе. Раскрыть тайну стало тем более важно, что к тому времени министр уже ясно понял подложность переданных ему писем из Фландрии. Надо было овладеть подлинными письмами. Тайный совет отдал приказ об аресте и допросе Лесли. Епископу была отлично известна соответствующая латинская формула о неприкосновенности дипломатов. («Посла не секут, не рубят», — так примерно тогда же вольно перевел эту формулу царь Иван Грозный.) Но Лесли понимал, насколько призрачной была такая защита для представителя державшейся под стражей королевы. Поэтому посол Марии Стюарт попытался выпутаться с помощью новой лжи. Он уверял, что «30» означает дона Герау, а «40» — Марию Стюарт, что оба эти письма он сжег и они содержали толь-

ко ответ Филиппа II на просьбу оказать помощь в борьбе против партии противников королевы в Шотландии.

Лорд Берли не сомневался, что епископ лжет и пытается замести следы заговора, который плетется в самой Англии. Но у английского правительства не было доказательств. Берли по-прежнему не знал подлинного значения чисел 30 и 40, хотя его агенты сообщали ему об испанских планах вторжения в Англию и расчетах испанцев на содействие герцога Норфолка.

Неизвестно, сколько времени пришлось бы Берли оставаться в неведении, если бы не счастливый случай. Мария Стюарт получила из Франции денежную субсидию в 600 фунтов стерлингов для борьбы против своих врагов в Шотландии. По ее просьбе эти деньги были переданы французским послом герцогу Норфолку, который обещал оказать содействие в их доставке по назначению. Действительно Норфолк приказал своему личному доверенному секретарю Роберту Хикфорду переслать эти деньги в Шропшир управляющему северными поместьями герцога Лоуренсу Бэнистеру, чтобы тот их переправил в Шотландию. В самой пересылке денег еще нельзя было усмотреть государственную измену. Главное, однако, что к письму Бэнистеру была приложена зашифрованная корреспонденция. Хикфорд попросил направлявшегося в Шропшир купца, некоего Томаса Брауна из Шрюсбери, доставить Бэнистеру небольшой мешок с серебряными монетами. Тот охотно согласился выполнить такую по тем временам вполне обычную просьбу. Однако по дороге у Брауна возникли подозрения: слишком тяжелым оказался переданный ему мешок. Купец сломал печать на мешке и обнаружил в нем золото на большую сумму и зашифрованные письма. Браун не мог не знать, что герцога лишь недавно выпустили из Тауэра, где держали по подозрению в государственной измене. Нетрудно было догадаться, что означала тайная пересылка золота вместе с зашифрованными посланиями. Купец повернул коня обратно и отправился к главному министру. Получив эту неожиданную добычу, Берли мог действовать. Хикфорд был немедленно арестован, но клялся, что не знает секрета шифра. Зато другой приближенный герцога в испуге выдал существование тайника в спальне Норфолка. Посланные туда представители Тайного совета обнаружили письмо, в котором излагались планы Ридольфи. После этого Хикфорд, поняв бессмысленность дальнейшего заперательства, открыл ключ к шифру письма, которое было послано в мешке с золотом. Теперь уже было не-

сложно разгадать, кто скрывался под числами 30 и 40 в корреспонденции, привезенной Байи из Фландрии.

Той же ночью герцог Норфолк был арестован и отправлен в Тауэр, где сначала пытался все отрицать, но потом, почувствовав, что полной покорностью, может быть, удастся спасти жизнь, начал давать показания. Одновременно, правда, он попытался переслать на волю приказ сжечь его шифрованную переписку. Это оказалось лишь на руку Берли. Письмо было перехвачено. Слуги Норфолка под пыткой выдали место, где хранилась эта переписка с шотландской королевой. А дабы убедиться, что ничего не утаено, их поместили в Маршалси, где они попали на попечение Уильяма Герли, продолжавшего карьеру «тюремного святого». Проходимец сумел превратить репутацию мученика в настоящую золотую жилу.

Теперь можно было предъявить обвинение и Джону Лесли. Берли мудро учел, что этот чревоугодник и поклонник прекрасного пола (злые языки приписывали ему троих незаконных детей) не станет упрямиться, если ему прозрачно намекнут, что он будет не первым католическим епископом, отправленным на эшафот, да к тому же сопровождать эту угрозу заманчивыми обещаниями. Сопrotивление Лесли было недолгим. «Глупо скрывать правду, увидев, что дело раскрыто», — добавил он, имея склонность к поучительным сентенциям.

Как позднее Фальстаф в шекспировской драме, епископ счел, что лучшая черта храбрости — благоразумие. Лесли решил также, что глупо делать дело наполовину. Он сообщил все, что знал об участии Марии Стюарт и герцога Норфолка в подавленном католическом восстании, о планах нового восстания — теперь в Восточной Англии, о намерениях захватить Елизавету. Более того, Лесли объявил, что Мария Стюарт принимала прямое участие в убийстве Дарнлея. Но и это еще было не все. По уверению Лесли, ему было доподлинно известно (хотя этого не знал никто другой), что шотландская королева отравила своего первого мужа Франциска II и пыталась таким же путем избавиться от Босвела. Затем Лесли, как духовное лицо, написал ей длинное письмо, где наряду с отеческими увещеваниями содержался совет уповать на милость королевы Англии. А чтобы этот документ не оказался единственным, Лесли составил и льстивую проповедь в честь Елизаветы. «Этот поп-живодер — страшный поп!»⁴ — яростно вскричала Мария Стюарт, получив епископское послание.

Однако Джона Лесли теперь могло беспокоить только одно — как бы английское правительство не поддалось соблазну и в обмен на лидеров католического восстания, укрывшихся в Шотландии, не выдало его сторонникам партии короля Якова, от которых епископу не приходилось ждать пощады. Но и здесь дело устроилось без угрозы для драгоценной особы почтенного прелата. Освобожденный от забот о своей грешной плоти, Лесли мог уже с философским спокойствием наблюдать из окна за казнью герцога Норфолка, который 2 июня 1572 г. был обезглавлен в Тауэре. Лесли даже не утаил своего мнения, что участь герцога вряд ли была бы лучшей, если бы ему удалось жениться на Марии Стюарт.

«Заговор Ридольфи» закончился казнью Норфолка. Дон Герау Деспес попытался было организовать покушение на Берли, но вскоре должен был покинуть Англию. А епископ Лесли после освобождения из Тауэра отправился во Францию. Там его ждали новые подвиги ради блага многих лиц — королевы Елизаветы и Филиппа II, французского короля Генриха III и римского папы... Словом, на пользу всякого, кто, как надеялся почтенный епископ, мог бы обеспечить его достойной пенсией и добиться возвращения земель, конфискованных у него в Шотландии. А так как цели всех этих лиц были, как правило, прямо противоположными, то Лесли неоднократно уличали в занятии двойным шпионажем, в воровстве и подделке государственных бумаг и во многих других, столь же «похвальных» деяниях.

Роли и маски



етыре века прошло со времени «заговора Ридольфи». Как персонажи в комедии масок, все герои этого не во всем ясного эпизода застыли в раз и навсегда закрепленной за ними роли. Историки в зависимости от их политических симпатий искали различные краски для характеристики поступков основных действующих лиц, находили

слова осуждения или похвалы. Однако, как бы ни рисовалось поведение участников знаменитого заговора, это не меняло ролей, которые традиция отводила им в этой исторической драме. Традиция же целиком основана на официальной правительственной версии. И, оказывается, достаточно усомниться в некоторых из почитаемых за факты деталях, чтобы тот или иной из персонажей предстал в совершенно новом свете, а это неизбежно повлечет смещение представлений о роли и всех остальных действующих лиц трагедии — и Марии Стюарт, и Норфолка, и Ридольфи, и увертливого епископа Росса, и первого министра лорда Берли.

За такое переосмысливание взялись ученые отцы-иезуиты. Взялись исподволь, с характерными для них двойственностью предпринимаемых действий и утаиванием истинных намерений, прикрытием подлинных целей благовидными мотивами. Апологетическая работа началась почти столетие назад, а позднее к ней подключились и светские историки. В числе поднявших еще в конце XIX века вопрос о подлинности некоторых из католических заговоров времен Елизаветы был историк Д. Г. Поллен, изложивший свои сомнения в журнале «Манс». В этом его отчасти поддержал известный исследователь елизаветинской эпохи М. Юм в книге «Измена и заговоры». Еще одним из сомневающимся стал Л. Хикс, опубликовавший в 1948 году статью «Странное дело д-ра Уильяма Парри»¹.

Конечно, историки «Общества Иисуса» отлично понимали, что в их исследованиях с самого начала будут подозревать двусмысленность и сознательное искажение истины. Поэтому они заранее парировали это недоверие ссылками на то, что речь идет об очень давнем прошлом, переставшем возбуждать враждебные страсти, особенно в

нашу эпоху, когда господствует равнодушие к религии и различные христианские церкви научились терпимо относиться друг к другу. И здесь же лукавые отцы как бы мимоходом подкидывают мысль, будто успехи протестантской Англии породили два с лишним столетия религиозных раздоров, о предотвращении которых, оказывается, только и думали просвещенные умы католицизма, истинные гуманисты... вроде нашего знакомого Джона Лесли, епископа Росса! Ученые-иезуиты стремились представить дело так, что их работы продиктованы полным беспристрастием и бескорыстным стремлением к истине, к научной оценке традиционных исторических догм. Один из них даже сослался при этом на известное замечание философа Фрэнсиса Бэкона: «Кто начинает с уверенности, кончает сомнениями, но если он готов начать сомнением, то кончит уверенностью».

Ученые ордена отлично понимали, что ныне уже мало кто заинтересован в отстаивании традиционной версии. Они попытались провести свое освещение известных событий под флагом характерной для современной буржуазной науки тяги к перетолкованию («реинтерпретации») истории, как правило, в реакционном духе, сыграть даже на страсти к сенсации. Эта школа историков явно стремится использовать неверие, возникшее во многих общественных кругах на Западе, в реальность преступлений, которые инкриминировались обвиняемым в государственной измене. В XX веке во многих странах слишком часто такие процессы были лишь более или менее ловко организованными судебными инсценировками, при которых вымышленные обвинения в подготовке заговоров и в связях с вражескими государствами являлись предлогом для расправы с политическими противниками и способом сокрытия действительных преступлений самих реакционных сил против интересов народа и страны. Вот на родившемся в результате этого скептическом отношении к официальному истолкованию процессов о государственной измене и задумали сыграть с присущей им ловкостью историки-иезуиты для протаскивания своей контрабанды. «Стало своего рода модой, — отметил профессор Эдинбургского университета Г. Доналдсон, — утверждать, что все католические заговоры... были сфабрикованы английским правительством»². Несомненно, что такой тезис не выдерживает критики. Изображение римского престола как жертвы махинаций просто противоречит здравому смыслу, особенно если учесть массу бесспорных данных о политике папства, о его

ставке на перевороты и убийства, производившиеся к вящей славе божьей по всей Европе.

Тем не менее если отбросить апологетику, то иезуитские попытки возвеличивания святой церкви, основанные на привлечении материалов многочисленных архивов ряда западноевропейских стран, достигают неожиданно действительно полезного научного результата. Этими стараниями приоткрывается кое-что из истории английской разведки, являвшейся в елизаветинское время орудием тех сил, которые выступали против католической контрреформации.

При изучении истории английской секретной службы важно установить, в какой мере ее агентам удавалось проникнуть в тайное воинство контрреформации, использовать промахи и некомпетентность, тщеславие и неоправданный оптимизм его эмиссаров, чтобы не только разоблачать чужие планы, но и направлять вражеские заговоры в русло интересов британского правительства. Одними из способов достижения этих целей были засылка провокаторов и превращение в шпионов-двойников некоторых из пойманных вражеских лазутчиков. На эти мысли наводят исследования иезуита Фрэнсиса Эдвардса, относящиеся к «заговору Ридольфи», — «Опасная королева» (Лондон, 1964 г.) и «Чудесная случайность. Томас Говард, герцог Норфолк и заговор Ридольфи, 1570 — 1572» (Лондон, 1968 г.). Эдвардс делает одно справедливое замечание: имея дело с источниками, освещающими историю английской разведки и тайной дипломатии XVI века, надо помнить, что авторы писем постоянно учитывали возможность перехвата их корреспонденции. Во множестве случаев эти письма сопровождаются одной и той же, хоть и по-разному редактируемой, фразой о том, что одновременно с вручением депеши адресату привезший ее честный и верный человек сообщит то, что нельзя доверять бумаге. Кроме того, на письмах оставлялось специальное место — в нижнем правом углу, куда заносилась особо важная или опасная информация. Потом этот треугольник справа отрывался и уничтожался, даже когда остальная часть письма сохранялась. Иными словами, историку приходится в лучшем случае иметь дело с документами, из которых изъята наиболее важная часть информации. Нечего говорить о том, что угроза перехвата почты и вероятность того, что бумаги попадут в чужие руки, заведомо вынуждали сообщать в оставшейся части донесений ложные, сбивающие с толку известия.

Роберто Ридольфи, по имени которого назван заговор,

родился в 1531 году во Флоренции и был выходцем из богатой банкирской семьи. В Англии он появляется впервые в 1562 году (а может быть, и раньше). Торговые и денежные операции ловкого флорентийца были лишь видимой частью его дел: с 1566 года он явно выполняет роль «тайного нунция» римского папы. Об этой стороне его жизни мало что известно. Возможно, что до 1569 года деятельность Ридольфи в качестве ватиканского разведчика не имела особого значения или он не проявлял чрезмерного рвения на секретной службе святого престола. Однако нет и никаких данных, позволяющих заподозрить флорентийца в двойной игре до 1569 года, точнее — до зимы этого и весны следующего, 1570 года, когда он находился под домашним арестом (при этом не у себя, а в доме помощника Берли — Фрэнсиса Уолсингема). Причиной ареста было подозрение, что итальянец поддерживал связи с руководителями католического восстания в северных графствах. Возможно, перед итальянцем была поставлена альтернатива — либо жуткая казнь, либо переход на службу к Сесилу.

Около 25 марта 1571 г. Ридольфи покинул Англию, причем, по всей видимости, его вещи не были подвергнуты таможенному досмотру в Дувре. По крайней мере так обстояло дело, если верить последующим рассказам Ридольфи. Он, правда, ничего не говорил о причинах такой непонятной любезности властей, зато утверждал, что ему удалось увезти с собой инструкции Марии Стюарт и герцога Норфолка и, что особенно важно, их письма к герцогу Альбе, к Филиппу II и римскому папе. А в этих письмах содержалась не более и не менее как просьба о вторжении в Англию и низложении Елизаветы. Можно ли предполагать здесь крайнюю степень небрежности со стороны Сесила и его людей? Такое предположение не очень вероятно, хотя и в последующем для операций разведывательного ведомства Елизаветы характерно сочетание чрезвычайной ловкости, тонкой, ювелирной работы с непонятными грубыми просчетами, чтобы не сказать — упущениями и промахами. Впрочем, в каждом таком случае могли действовать скрытые пружины, ускользающие от исследователя вследствие преднамеренного уничтожения тех или иных документов.

Если отбросить версию, что власти просто прозевали содержание багажа недавно освобожденного из-под ареста флорентийца, остается допустить, что они сознательно смотрели сквозь пальцы на провозимую корреспонденцию.

Тогда, возможно, на действия властей оказали влияние противники Сесила (например, через Томаса Кобгема). Либо же, что куда более вероятно, власти действовали по инструкции Сесила. Конечно, и при таком предположении возникают недоуменные вопросы, прежде всего — каким образом английская разведка могла обеспечить верность Ридольфи, после того как он покинул британские берега и оказался вне досягаемости английских судей и палачей. Напрашивается ответ, что итальянский банкир нуждался в возможности свободно продолжать денежные операции в Англии, что предполагало сохранение благорасположения правительства. Если же допустить, что Ридольфи взял на себя роль шпиона-двойника, сразу же возникает сомнение в подлинности писем, которые, по его словам, ему передали шотландская королева и Норфолк.

Ридольфи не представил никаких собственноручных писем Марии Стюарт и герцога — итальянец передал по адресам лишь расшифрованные тексты. Такими же «дешифровками» были и верительные грамоты, привезенные флорентийцем от своих поручителей. Конечно, все это могло быть разумной мерой предосторожности, несоблюдение которой стоило бы головы обоим узникам (другой вопрос, что такая предосторожность не спасла авторов писем). Фактом остается то, что Ридольфи не привез оригиналов своей опасной корреспонденции.

Эдвардс прав, когда утверждает, что Ридольфи, несомненно, изменил текст письма, которое он повез от имени Норфолка к Альбе. Однако как раз в этом пункте Эдвардс неоригинален. Уже раньше к такому же выводу пришел ряд исследователей. Например, 100 лет назад Дж. Хозек в своей двухтомной монографии «Мария — королева Шотландии и ее обвинители» прямо заявлял: «Письмо написано целиком по-итальянски, оно не было подписано Норфолком, и он, вероятно, никогда не видел его. Смелый и уверенный тон письма совершенно несовместим с осторожной и колеблющейся позицией герцога. Нельзя также предполагать, что он мог сделать географические ошибки, поместив Харидж в графстве Норфолк и Портсмут — в Сассексе. Однако это ошибки, в которые легко мог впасть иностранец и которые можно рискнуть приписать епископу Росскому, Ридольфи и испанскому послу — все они, вероятно, приложили руку к сочинению письма»³. Предположение Хозека кажется весьма правдоподобным. Возможно, что Ридольфи стремился как можно глубже втянуть Норфолка в заговор и таким путем не только побудить его

отбросить сомнения, но и одновременно заставить испанские власти проявить большую активность. Однако делал все это Ридольфи ради успеха задуманного им предприятия и в согласии с другими заговорщиками — епископом Лесли и доном Герау, а не в качестве агента английского правительства.

Альба встретил Ридольфи весьма холодно. Прежде всего у Альбы вообще не вызвал доверия ловкий итальянец, возможно, даже имевший какие-то родственные связи с правителями его родной Флоренции и, следовательно, с представительницей этой династии Екатериной Медичи. Но главное — у испанского наместника было более чем достаточно хлопот с мятежными Нидерландами, и ему не улыбалась перспектива выделить часть своих войск для помощи противникам Елизаветы в Англии. Важно отметить, что Ридольфи не только не сообщил своим единомышленникам, включая Байи, об этом холодном приеме, но, напротив, уверял их, что добился поддержки Альбы. Так, во всяком случае, позднее утверждал Байи. Вместе с тем надо заметить, что Эдвардс преувеличивает степень неодобрения Альбой планов Ридольфи. Герцог отнюдь не был против действий флорентийца. Он только писал в Рим и Мадрид о трудностях, с которыми встретятся заговорщики.

Как подчеркивал еще в прошлом веке М. Минье, герцог Альба считал, что в случае удачи заговор станет наилучшим путем для «исправления зла», но добавлял, что вначале Филиппу II не следует подавать открытую помощь — ее надо приберечь на случай, «если королева английская умрет своей естественной или какой-либо другой смертью»⁴. А это вовсе не противоречило планам заговорщиков, ведь Норфолк обещал, что он будет удерживать свои позиции 40 дней до прибытия испанской помощи, и в намерение заговорщиков входило сразу же захватить в плен Елизавету.

Л. Ранке, известный немецкий консервативный историк прошлого века, специалист по эпохе Реформации, в книге «Мария Стюарт и ее время» писал: «Если Норфолк ставил свое восстание в зависимость от высадки в Англии испанских войск, то Альба требовал захвата Елизаветы прежде, чем его повелитель открыто объявит о своем вмешательстве»⁵. В планах Ридольфи была, несомненно, сильнейшая примесь фантазии, как, впрочем, и во многих других аналогичных проектах, выдвигавшихся как явными авантюристами, так и католическими политиками, которых даже

Эдвардс не заподозрит в подыгрывании елизаветинской разведке.

Особенность корреспонденции, привезенной Байи (так продолжает развивать свою аргументацию Эдвардс), заключалась в том, что она могла повредить шотландской королеве, не только если бы стала известной в Лондоне, но и если бы о ней узнали в Париже. Ведь Франция была традиционной опорой Марии Стюарт. Между тем план, привезенный Ридольфи, предусматривал ставку на Испанию — главную соперницу Франции (родственники Марии — Гизы, руководившие партией крайних католиков, лишь позднее завязали отношения с Мадридом). Испания, бывшая в течение нескольких поколений союзницей Лондона против Франции, в эти годы превращалась в основного противника елизаветинской Англии. Понятно, насколько важно было для правительства Елизаветы представить в глазах французского двора Марию Стюарт сторонницей ориентации на Испанию. Это признавал и сам Ридольфи, подчеркивавший в беседах с единомышленниками необходимость держать свой план в тайне от французов.

Нам неизвестно, встречался ли новый британский посол в Париже Фрэнсис Уолсингем, глава елизаветинской разведки, со своим недавним арестантом, когда Ридольфи в мае 1571 года прибыл из Брюсселя во французскую столицу по пути в Рим. К этому времени Ридольфи уже успел сделать один из наиболее важных ходов в своей партии — направить в Англию Байи с письмами к Марии Стюарт и Норфолку. Обстоятельства, при которых это произошло, столь существенны для понимания смысла всего заговора, что заслуживают более подробного рассмотрения.

Шарль Байи, находившийся на службе у Марии Стюарт примерно с 1564 года, после прибытия королевы в Англию в 1568 году вошел в число помощников Джона Лесли, епископа Росса. Он выполнял роль секретаря, помогал в шифровке и дешифровке корреспонденции, которая была возложена на главного сотрудника Лесли Джона Кэтберта, но в основном исполнял роль дипломатического курьера. Весной 1571 года Байи отправился из Лондона на родину, формально — по собственному желанию, чтобы повидаться с родными, с которыми не виделся более двух лет. Он не взял паспорта, рассчитывая, видимо, что сумеет с помощью золота обойти таможенные трудности. Байи не преминул посетить во Фландрии английских эмигрантов.

Совпадение поездки Ридольфи и Байи по времени вряд

ли было простой случайностью, хотя фламандцу могло казаться, что только она свела его с тайным эмиссаром Марии Стюарт. Возможно, что Ридольфи заранее знал об обязанностях, которые исполнял Байи у Джона Лесли, в частности о его шифровальной работе. Как бы то ни было, знание Байи кодов, использовавшихся епископом Росса, послужило Ридольфи удобным поводом для того, чтобы убедить молодого фламандца отвезти зашифрованные письма к послу шотландской королевы. Байи в своих показаниях отметил, что Ридольфи просил его зашифровать депеши так, чтобы они были понятны епископу. По словам Ридольфи, его собственный шифровальщик не смог бы хорошо проделать эту работу. Казалось бы, осторожность должна была побудить Ридольфи предпочесть своего помощника, пусть хуже знакомого с шифром, и поручить «случайно встреченному» Байи только роль курьера. Кроме того, если встреча была все же действительно случайной, то Ридольфи мог рассчитывать лишь на услуги своего помощника, когда незадолго до этого договаривался с Лесли о шифре и средствах поддержания связи. Между тем Ридольфи, по-видимому, не был знаком с шифром и узнал его только от Байи. Ставить Байи в известность о содержании писем было явным нарушением обычно соблюдавшегося тогда элементарного правила пересылки дипломатических депеш — не сообщать курьеру ничего о зашифрованной корреспонденции, которую он должен доставить по назначению. Быть может, именно такое нарушение общепринятого порядка и заставило Байи заколебаться. Он без особой охоты взялся за возложенное на него поручение. Однако у Байи не было сомнений в отношении самого Ридольфи, которого он часто встречал у епископа Росса.

Узнав код, итальянец настоял на том, чтобы сам Байи зашифровал письма к «30» и «40». В показаниях Байи о том, как проводилась зашифровка, много неясностей, но, пожалуй, главное не в этом. По словам фламандца, эти письма были сложены в пакет и ему было поручено передать их коменданту французского города Кале де Гурдану, чтобы тот с первой же оказией переслал их епископу. Оставим в стороне вопрос о целесообразности вовлечения французского коменданта в интригу, которую, по словам того же Ридольфи, следовало хранить в тайне от Франции. Допустим, что де Гурдан был, с точки зрения заговорщиков, совершенно надежным человеком. Интереснее другое — выполнил ли Байи указание Ридольфи передать пакет де Гурдану? В письме к испанскому послу

Деспесу от 10 мая 1571 г. Байи упоминает, что оставил пакет в Кале, не ясно только, имелась ли при этом в виду пачка с письмами к «30» и «40». Позднее, 12 октября, в письме к Сесилу Байи просто упоминает о полученном от Ридольфи приказе вручить корреспонденцию коменданту Кале, но не уточняет, выполнил ли это указание. Если Байи все же привез письма в Англию, остается непонятным, почему Тайный совет 19 сентября, уже зная шифр, настаивал на том, чтобы фламандец сообщил содержание писем к «30» и «40». Ответ на основе сохранившейся документации, по-видимому, дать невозможно.

О причинах, побудивших Ридольфи решиться на столь непонятный приказ — передать письма де Гурдану, — остается лишь гадать. Он мог, например, быть вызван и неполным доверием к Байи, и желанием доставить письма более надежным путем (если, конечно, флорентиец был тем, за кого себя выдавал, — верным сторонником шотландской королевы). С другой стороны, если Ридольфи стал агентом Сесила, он мог в последний момент пожалеть юношу, хорошо зная, какая участь ему уготована в Англии. Во всяком случае, идея оставления пакета в Кале вряд ли могла быть заранее согласована с Сесилом, хотя и это не исключено. Если же это было самовольным действием Ридольфи, легко объяснить запутанность и несогласованность в документах, оставшихся от «дела Байи», — оно развивалось не вполне так, как планировала английская разведка.

Вряд ли можно сомневаться, что Сесил заранее был поставлен в известность о приезде фламандца. Даже если исключить предположение, что эта информация была получена от самого Ридольфи, ею мог снабдить своего шефа разведчик Уильям Саттон, находившийся во Фландрии для слежки за английскими эмигрантами и для пересылки донесений от остальных британских агентов. (Эта активность Саттона находилась, в свою очередь, под пристальным наблюдением шпионов других держав, часть донесений которых об этом английском лазутчике была перехвачена его коллегами и переслана в Лондон Уильяму Сесилу.) К 12 апреля — дню прибытия Байи в Англию — все было готово к его встрече, включая и таможенные власти, и «великомученика» Герли.

Любопытный эпизод произошел за несколько дней до этого. 8 апреля в Дувр прибыл из Франции доверенный агент Екатерины Медичи и английского правительства Гвидо Кавальканти, которому были поручены переговоры

о предполагавшемся браке Елизаветы с герцогом Алансонским, младшим братом французского короля Карла IX. По приезде в Англию Гвидо Кавальканти был сразу же взят под стражу и доставлен в дом лорда Берли, а вечером того же дня был принят Елизаветой. Французский посол предположил, что арест был произведен из предосторожности — чтобы итальянец не проболтался о ходе переговоров. Однако на других стадиях этих переговоров подобных мер предосторожности не предпринималось. Можно допустить, что таможенники в Дувре приняли Кавальканти за ожидавшегося ими Байи. Правда, вскоре освобожденный Кавальканти, когда наступило время возвращаться в Париж, отправился на корабль в сопровождении вооруженной охраны. Между тем он не вез никакого важного документа — Елизавета и ее Тайный совет снова предпочли оттянуть решение. Остается допустить, что Кавальканти увозил другие секреты, которые он должен был передать в Париж английскому послу Фрэнсису Уолсингему.

Нам уже известно, как, по версии Сесила, был задержан Байи, как были обнаружены при нем книги мятежного характера и письма и как Томас Кобгем убедил своего брата губернатора южных портов Уильяма Кобгема не пересылать подлинные письма лорду Берли. Однако стоит задаться вопросом, соответствует ли эта официальная версия действительности и не призвана ли она создать выгодное для Сесила впечатление, что министр лишь постепенно узнал о содержании писем к «30» и «40» и что, следовательно, сами эти письма отнюдь не являлись частью ловко задуманной провокации. Пытаясь ответить на этот вопрос, постараемся познакомиться поближе с главными лицами, участвовавшими в изъятии подлинных писем. Тут нам сразу же встречаются неожиданности.

Первая из них — Томас Кобгем. Этот отпрыск знатного рода, брат влиятельного дипломата, ставшего губернатором южных портов, занялся пиратством — профессией, которую елизаветинские власти терпели, пока это соответствовало их планам. Кобгем, видимо, в чем-то перешел допустимые пределы и очутился в Тауэре. В 1570 году ему удалось убедить одного из приближенных Сесила — сэра Генри Невилла — похлопотать за него перед всемогущим министром. В июле 1570 года Невилл неоднократно писал Сесилу, что Кобгем может стать разведчиком, весьма пригодным для использования на службе Ее величества, например для наблюдения за испанским послом Деспесом

или за английскими эмигрантами во Фландрии. Тогда, правда, дело застопорилось: то ли у Сесила не было вакансий, то ли он не считал кандидатуру подходящей. Томаса Кобгема освободили лишь в конце 1570 года или в самом начале 1571-го, вероятно, отчасти по просьбе влиятельного военачальника графа Сассекса. (Сохранилось письмо Уильяма Кобгема к Сассексу с выражением благодарности за то, что тот соизволил принять Томаса на службу.)

Судя по всему, Томасу Кобгему было поручено наблюдать за перепиской Норфолка, находившегося уже с октября 1569 года в Тауэре. Свою работу Кобгем совмещал с одалживанием денег под поручительство Норфолка, которому и пришлось потом удовлетворить претензии кредиторов. Судя по показаниям секретаря Норфолка — Хикфорда, Кобгем занимался не только переправкой писем к Норфолку и Лесли, в частности от Ридольфи, но и выведыванием любой информации о планах и действиях противников Сесила. О причинах столь неумеренной любознательности нетрудно догадаться, хотя надо оговориться, что, по-видимому, не сохранилось письменных доносов Томаса Кобгема Сесилу.

Томас Кобгем действовал не в одиночку. В официальном рассказе о поимке Байи сообщается, что просьбу Томаса Кобгема переслать захваченные письма епископу Росскому активно поддержал присутствовавший при этом некий Фрэнсис Берти, состоявший в свите прелата. Берти вызвался отнести их епископу. Уильям Кобгем согласился, но запечатал пакет своей печатью и поставил условие, чтобы пакет вскрыли в его присутствии. Не лучше ли было тогда просто самому отнести их послу Марии Стюарт, не прибегая к услугам Берти? Между тем поведение Берти, в том числе и его тесная связь с Уильямом и Томасом Кобгемами, возбуждает сильное подозрение, что и он являлся соглядатаем лорда Берли.

И наконец, сам лорд Уильям Кобгем. Он совершил, если верить официальной версии, тяжкое преступление, сотрудничая с иностранным послом и изменниками (правда, еще не объявленными таковыми) против собственного правительства и обманывая главного министра королевы. Берли, бывало, прощал своих врагов, если они не были ему опасны, однако он не знал снисхождения к участникам заговоров против Елизаветы. Правда, Уильям Кобгем подвергается наказанию, но как раз такому, как если бы он совершил не действительное, а лишь видимое преступление, которое нужно было

скрыть. Губернатор был арестован, но содержался под стражей в доме лорда Берли. 19 октября 1571 г. Сесил писал графу Шрюсбери (которому Елизавета приказала стать тюремщиком Марии Стюарт): «Милорд, Кобгем находится как арестант в моем доме, иначе его надо было бы заключить в Тауэр. Я очень любил его и поэтому огорчен совершенным им преступлением». Правда, позднее Уильяма Кобгема все же перевели в Тауэр, но на короткое время. Заключение могло быть совсем несуровым: в главной государственной тюрьме были самые различные помещения — от холодных темных казематов до комфортабельных дворцовых помещений, в которых временами поселялись сама королева и ее придворные. А после освобождения... Кобгем вернулся на свой пост губернатора южных портов, на котором вряд ли бы сохранили действительного сообщника Марии Стюарт и Норфолка.

Надо признать, что эти ссылки Эдвардса на благосклонность Берли к Уильяму Кобгему выглядят внешне очень убедительными, но только внешне. Дело в том, что в истории елизаветинского правительства и в действиях того же Сесила можно найти немало подобных «нелогичных» поступков, которые кажутся такими только из-за незнания обстоятельств, обычно вообще не отраженных в сохранившихся документах, но влиявших на поведение политических деятелей. В данном случае многие факторы могли побудить Берли посмотреть сквозь пальцы на проступок Кобгема. Кто знает, может быть, причиной являлась расстановка сил при дворе или стремление хитроумного министра, имея столь сильный козырь против Кобгема, превратить в свою креатуру такое немаловажное лицо, как губернатор южных портов.

Задачей секретной службы лорда Берли, как считает Эдвардс, было подбросить опасные письма епископу Росскому, при этом таким образом, чтобы для него самого и впоследствии для всех было несомненным, что именно шотландец проявил инициативу в добывании роковой корреспонденции. С этой целью и была разыграна комедия, главными участниками которой стали трое — братья Кобгема и Фрэнсис Берти. Как видно из показаний епископа Лесли, он легко попался на приманку. Что же касается происхождения самих писем, то здесь допустимы различные предположения. Это могли быть действительно письма Ридольфи, действовавшего в качестве агента Марии Стюарт. Это могли быть послания, написанные

итальянцем под диктовку Сесила (если Ридольфи стал агентом английской секретной службы). Наконец, не исключено, что Байи не привез вообще никаких писем (не получив их вовсе или оставив в Кале). В первых двух случаях ведомство Сесила либо скопировало письма перед отсылкой их Лесли, либо же сохранило оригиналы, а послу Марии Стюарт отослало копии. Как бы то ни было, эти письма епископ, по всей видимости, получил непосредственно из рук... агентов Берли. Правда, Лесли не был ни глупцом, ни новичком в тайной войне и мог легко заподозрить ловушку. Поэтому были приняты меры, чтобы как-то объяснить неожиданное согласие Уильяма Кобгема пойти на обман лорда Берли. Поэтому также Уильям Кобгем первоначально заявил, что готов согласиться на подмену писем, если в корреспонденции, привезенной Байи, не содержится чего-либо, направленного против интересов королевы, а лишь малозначительные сведения, например денежные счета. Томас Кобгем утверждал зато, что он попросту украл письма к «30» и «40», пока его брат отвернулся, допрашивая Байи (в этом брат губернатора очень старался убедить Роберта Хикфорда, секретаря герцога Норфолка).

13 апреля 1571 г. Байи был помещен в лондонскую тюрьму Маршалси, где он познакомился с Герли (который как раз в апреле получил назначение на свой пост тюремного шпиона) и при его помощи поддерживал переписку с епископом Лесли, пока тот не был 14 мая арестован на основании данных, которые содержались в этой корреспонденции. Герли не только передавал письма Байи и ответы на них для снятия копий в ведомство лорда Берли. Герли посылал своему хозяину подробные донесения (они сохранились). Из них вряд ли можно вычитать, что Герли считал провокацией весь «заговор Ридольфи», хотя отдельные фразы как будто и наводят на мысль, что некоторые сведения ему были известны еще до того, как он их выудил у Байи. Не будет неоправданным предположение, что Герли было предписано держать язык за зубами даже в секретных донесениях. Руководители елизаветинской разведки, безусловно, придерживались правила, что некоторые вещи вообще нельзя доверять бумаге. Да Герли и прямо пишет, что кое-что хотел бы сообщить Сесилу устно и просить об аудиенции. Несомненно, что Герли в своих донесениях сознательно притворяется незнающим.

Незадолго до перехода на «работу» в Маршалси Герли послал отчет о ряде лиц, использовавшихся епископом

Росским для связи с его шотландскими единомышленниками. Удалось перехватить и письма, адресованные Лесли. Эту корреспонденцию Герли добыл с помощью шотландца Уильяма Бартлета. Между тем, когда тот же Бартлет был направлен епископом Джоном Лесли в Маршалси для связи с Байи, Герли предпочитал описывать встречи и беседы со своим коллегой по ремеслу так, как будто тот действительно был неприятельским лазутчиком. В частности, Герли сообщал с серьезным видом, что, по словам Бартлета, Томас Кобгем является «ближайшим и тайным другом епископа». Бартлет взял на себя задачу доставлять письма от Байи к Лесли и от посла к Байи, а потом и к Герли, облегчая тем самым работу «великомученика». Последний же, освещая в донесениях это вполне разумное «разделение труда», дополняет его описанием того, как он, чтобы произвести впечатление на Бартлета, потрясал своими цепями и как шотландец рыдал от сочувствия, а потом, изложив эту историю епископу, рассеял его сомнения в надежности «узника». Таким образом, нельзя принимать все в тайных донесениях Герли за чистую монету: что-то писалось явно не для Уильяма Сесила, а для тех, кому тот захочет показать эти донесения, будь то члены Тайного совета или будущие участники суда над Марией Стюарт и Норфолком, или сама королева.

Между прочим, эпизод с Бартлетом показывает, насколько прочной была сеть наблюдения за Байи, через которую не удавалось прорваться ни одному подлинному посланцу. 16 апреля такую попытку сделали Макинсон из свиты Лесли и служащий испанского посольства Мельхиор. Оба они были арестованы. Мельхиора выпустили через 10 дней, а Макинсон отсидел два месяца. Находясь в тюрьме, Макинсон, не первый поддавшийся чарам Герли, предложил его в качестве посредника для связи между Байи и епископом. Попытки Байи наладить связь помимо Герли сразу же окончились неудачей; до Лесли просто не дошло письмо, в котором фламандец предлагал новые пути для пересылки корреспонденции. Наконец, еще одно важное обстоятельство. По признанию Байи, он в переписке с епископом использовал шифр, переданный ему Герли. Иначе говоря, Герли и его хозяин могли делать любые пужные им добавления к этим письмам (техника, впоследствии широко использовавшаяся секретной службой лорда Берли). Остальные эпизоды «дела Байи», часть из которых уже известна читателю, — неосторожность Герли, которая раскрыла глаза Байи, трюк с «доктором Стори» —

можно оставить в стороне, так как они, по-видимому, не могут помочь в решении интересующей нас загадки — истинной подоплеки «заговора Ридольфи». С этой целью придется оставить Байи и посмотреть, чем во время тюремного заключения фламандца занимался пославший его в Англию Роберто Ридольфи.

Проездом через Францию Ридольфи добрался до Рима. Папа Пий V, ярый ненавистник Елизаветы, благосклонно встретил своего «тайного нунция» и дал убедить себя в реальности планов вторжения. При этом оставался в тени тот факт, что оба предполагаемых главы восстания — шотландская королева и Норфолк — находились в заключении. К тому же Мария Стюарт была иностранкой и католичкой, которая могла и не найти достаточного числа приверженцев. Герцог же по своим личным качествам совсем не подходил для роли вождя, а как протестант вполне мог и отказаться от участия в выступлении католиков.

Сменив сомнительные верительные грамоты от этих лиц на не вызывающие никаких сомнений рекомендательные письма Пия V, Ридольфи покинул «вечный город» и в начале июля прибыл в Мадрид. К этому времени сведения о «заговоре Ридольфи» уже достигли иностранных столиц. Тем не менее Ридольфи не поостерегся направить Марии Стюарт и Норфолку письма, хотя было очевидно, что эти послания почти наверняка будут перехвачены английской разведкой. В письмах прямо ничего не говорилось о заговоре, но содержались туманные намеки. Одно то, что флорентиец отправлял письма, явно не несущие ничего, кроме вреда, их адресатам, способно породить сомнения в его истинных намерениях.

В Мадриде Ридольфи встретил теплый прием у Филиппа II, который даже не хотел прислушиваться к предостережениям испанского посла в Риме Хуано Сунига и герцога Альбы. Отметим кстати, что, когда флорентиец находился в Мадриде, мысль, не является ли он шпионом лорда Берли, пришла в голову Филиппу II и его советникам (за четыре столетия до историка Ф. Эдвардса). Но это подозрение было вскоре отброшено. Со своей стороны, Ридольфи, учитывая точку зрения Альбы — что для успеха заговора необходимо убийство Елизаветы, — составил план покушения, осуществление которого предполагал поручить офицеру испанской армии в Нидерландах маркизу Вителли. Поставим вопрос: поступил бы так британский агент, не будучи даже уверенным, что ему удастся извес-

тить лорда Берли об окончательном решении испанских властей по поводу этого плана? Иначе говоря, независимо от своих намерений этот разведчик мог оказаться организатором не мнимого, а действительного покушения на королеву. Стоит добавить, что Вителли вскоре посетил Англию и встретил любезный прием при дворе. Явных данных об участии этого офицера в заговоре, по-видимому, не существует.

Это не значит, однако, что планы Ридольфи были отвергнуты. Напротив, Филипп в конце концов санкционировал намерение организовать убийство Елизаветы. Когда Альба попросил снова прислать Ридольфи в Брюссель, Филипп не возражал, и 11 сентября флорентиец отправился в обратный путь. К этому времени он уже не мог не знать о полном раскрытии заговора. Новая встреча Альбы с Ридольфи в конце сентября лишь убедила герцога в справедливости его крайне низкой оценки и умственных данных итальянца, и возможностей заговорщиков. Как общал Альба, Ридольфи лишь повторял как попугай заученный урок и не мог ответить ни на один из дополнительных вопросов. Альба считал несомненным, что Норфолк даже не заводил речи о своих планах с друзьями, которые якобы ему преданы. Альба не стал скрывать своего презрительного отношения к итальянцу, и тот в ноябре уехал из Брюсселя в более благосклонный к нему Рим, где многократно объяснял, что причиной неудачи всего предприятия была враждебность испанского наместника в Нидерландах. Бесспорно, что позицию Альбы нельзя сбрасывать со счетов при решении загадки, какую представляет «заговор Ридольфи».

Возвращаясь на английскую почву, надо ясно представить себе положение, в котором находились главные участники заговора. Содержавшиеся под стражей Мария Стюарт и Норфолк, а также епископ Росский и испанский посол Деспес по крайней мере с марта 1571 года были фактически полностью изолированы друг от друга. Вся переписка между ними находилась под строгим контролем, и это было им отлично известно. Не менее очевидной была опасность, связанная с попыткой вести секретную корреспонденцию. Связь поддерживалась лишь при посредстве тех, кто имел доступ ко всем четырем лицам. Таких людей было очень немного. Заслуживают упоминания бывший секретарь герцога Норфолка Уильям Баркер (о нем ниже) и, главное, сам Роберто Ридольфи. Иными словами, каждый из главных участников заговора мог узнать о пла-

нах других трех только из того, что об этом сообщит ему Ридольфи (или Баркер)⁶. Поэтому, если Ридольфи по тем или иным соображениям излагал бы не то, что он услышал, а нечто совсем иное, все заговорщики неизбежно должны были стать жертвами ложной информации, которую они никак не могли проверить. Следовательно, в показаниях каждого заговорщика нужно четко различать две части: во-первых, то, что относится к его собственным действиям, а во-вторых, все, касающееся его сообщников. Первая часть показаний говорит о реальных фактах, известных участнику заговора, которые он мог либо утаивать, либо изображать в ложном свете. Что же касается второй части, то в ней речь идет лишь о сведениях из чужих (и, возможно, лживых) уст.

В своих показаниях каждый заговорщик старался преуменьшить свою роль, перекладывая главную ответственность на чужие плечи. Однако такой рисуется картина, пока мы исходим из предположения, что заговорщик — например, Джон Лесли — получал в основном правильную информацию о планах своих сообщников. Но из того, что мы уже узнали о Ридольфи, такое предположение кажется по меньшей мере не единственно возможным. Если же допустить, что все четверо главных заговорщиков получали ложную информацию, то картина разом меняется. В этом случае утверждение каждого из них о том, что он лично и не собирался просить об испанской интервенции для свержения Елизаветы, может означать большее: заговора вообще не было, а его мнимых организаторов лишь убедил в его существовании провокатор Ридольфи. Конечно, возможно, что истина лежала посредине: велись какие-то подозрительные разговоры, которые секретная служба лорда Берли превратила в форменную государственную измену.

Как же, однако, относиться к признаниям епископа Лесли, который вначале неохотно, а потом с такой торопливостью давал в Тауэре показания? После недолгого запираательства Лесли стал с большой готовностью сообщать все, что ему было известно о заговоре. А знал он об этом со слов Ридольфи. При этом Лесли настаивал, что он лично считал желательным лишь получить через посредство Ридольфи финансовую помощь от папы и других государей для борьбы с шотландскими противниками Марии Стюарт. Все же остальные планы исходили от других заговорщиков и стали известны ему через посредство того же Ридольфи. Лесли «топил» свою госпожу и

Норфолка прежде всего в страхе за свое собственное благополучие. Однако наряду с этим полную капитуляцию прелата ускорили утверждения допрашивавших его судей о том, что остальные обвиняемые, включая арестованных друзей Норфолка, уже полностью во всем признались, причем в ущерб его, епископа Лесли, интересам. Эта довольно банальная уловка в XVI веке, быть может, еще была полицейской новинкой. Не менее важно, что для Лесли стали очевидны полная осведомленность властей о заговоре и бессмысленность дальнейших отпирательств в свете того, что его показания не будут поставлены ему в вину. Сесил к тому же дал обещание, что они не будут использованы и против других подсудимых (понятно, что оно было сразу же нарушено).

Конечно, реальные признания Лесли весьма отличались от изложенных им в «Апологии», написанной уже после отъезда из Англии. Нет нужды особенно доверять этой «Апологии», чтобы критически подойти к сохранившимся протоколам допроса. Часть из них не подписана Лесли и имеет только подтверждающую пометку Сесила. Один из членов Тайного совета, проводивших следствие, — сэр Томас Смит — впоследствии сам признавался Сесилу, что подделал подпись Норфолка на протоколе, который герцог отказался подписать. А с Лесли дело обстояло проще, и получить его подпись не составляло особого труда.

Лесли сообщил все известное о заговоре — со слов Ридольфи. Впоследствии то же сделали другие обвиняемые, так что их показания внешне казались независимыми и подтверждающими друг друга свидетельствами о подготовке этого заговора. 8 ноября 1571 г. Лесли с разрешения властей написал письмо Марии Стюарт, из текста которого следовало, как само собою разумеющееся, что королева активно участвует в заговоре. Сообщалось также, что ему, Лесли, пришлось признаться во всем. Мария Стюарт даже сочла, что епископа насильно заставили написать это письмо.

Однако не следует забывать, что все эти признания Лесли относятся к осени 1571 года, а летом власти, если верить официальной версии, еще не могли ни прочесть зашифрованных писем Ридольфи, ни определить, кто скрывался под числами 30 и 40. Впоследствии на процессе Норфолка 16 января 1572 г. генерал-прокурор Джерард заявил: «Никому никакими усилиями не удалось обнаружить это, пока тайна не была раскрыта богом посредством чудесной случайности». Этой «чудесной случай-

ностью» была посылка с купцом Томасом Брауном из Шрюсбери зашифрованных писем и денег для шотландских лордов — сторонников Марии Стюарт. Раскрытие кода, которым были написаны эти письма, показания слуг герцога позволили отождествить Норфолка с неизвестным «40». Именно обнаружение писем и привело к возвращению Норфолка в Тауэр (до этого он содержался под домашним арестом).

В этом эпизоде прежде всего бросается в глаза то, что к пересылке денег и крайне секретных писем было привлечено много людей — не менее пяти человек. Зачем было в письмах снова обозначать герцога числом 40, подвергая его смертельной опасности, когда можно было заранее договориться о любом другом знаке? Вызывают недоумение и действия Брауна: он не только сразу же определил, что в мешке не 50 фунтов серебром, как сказал ему Хикфорд, а много зодота (это можно объяснить опытом купца), но немедленно поспешил доставить свой груз членам Тайного совета. Хикфорд не был хорошо знаком с Брауном, и непонятно, как он мог вложить в мешок письма такой важности и столь опасные для их отправителей. Вопрос в том, действовал ли Браун по предварительному стовору с секретной службой или по собственной инициативе. Первое предположение вероятнее. (Что купец, возможно, был шпионом Берли, предполагали еще в прошлом веке — например, Ж. Готье в своей трехтомной «Истории Марии Стюарт»⁷.) Еще более правдоподобной выглядит версия о том, что письма — или по крайней мере некоторые из них, уличающие герцога в государственной измене, — были вложены в мешок лишь после того, как он попал в руки властей.

Чтобы пролить дополнительный свет на эту запутанную историю, следует познакомиться еще с одним персонажем — Уильямом Баркером, пожилым человеком, бывшим секретарем герцога, сохранившим его доверие. Баркер проявлял в это время куда большую активность, чем Роберт Хикфорд, который был к тому же серьезно болен. Именно Баркер дал наиболее убийственные показания против Норфолка. Возможно, это смягчило Берли в отношении самого Баркера, хотя даже самые полные и чистосердечные признания не спасли от приговора к «квалифицированной казни» ни Роберта Хикфорда, ни Лоуренса Бэннистера, несравнимо меньше связанных с «заговором Ридольфи». Правда, не сохранились документы, которые позволили бы определить, был ли приведен в исполнение

этот смертный приговор. В отношении же Уильяма Баркера, напротив, существует полная ясность: признавший себя на суде виновным в государственной измене и приговоренный к смерти, 2 февраля 1572 г. он получил королевское прощение. Это надо было заслужить...

Если Ридольфи несколько раз служил курьером между главными заговорщиками, то Баркер, в свою очередь, поддерживал связь между флорентийцем и его (действительными или мнимыми) сообщниками. Из показаний Хикфорда известно, что Баркер ведал перепиской герцога с Марией Стюарт. Норфолк в своих заявлениях на следствии и суде прямо указывал на Баркера как на предателя, который, в отличие от честных людей — Хикфорда и Бэнистера, давал заведомо ложные показания. (Другим лжесвидетелем Норфолк назвал Лесли, но прелат, как мы уже убедились, возможно, только повторял принятые им на веру чужие слова.) Как в случае с Ридольфи, позиция Баркера позволяла ему при желании представить каждому из главных заговорщиков намерения и планы его соучастников в ложном свете.

О том, что Баркер был правительственным шпионом, косвенно говорит тот факт, что в руки властей попали едва ли не все письма, которыми обменивались Норфолк и шотландская королева. Баркер доставил Норфолку по поручению Лесли присланные из-за границы письма Ридольфи и даже послание папы Пия V, добытое, конечно, тем же ловким флорентийцем. Норфолк не отрицал ни встречи с итальянцем, устроенной Баркером, ни получения писем от Ридольфи и Пия V, но придавал всем этим эпизодам совсем иной смысл. С банкиром Ридольфи он беседовал в течение часа, но по чисто денежным делам, а вовсе не о заговоре и плане вторжения испанских войск. Инструкции, которые от него получил итальянец, были такого же рода. Баркер утверждал, что было не одно, а два свидания герцога с итальянцем. Норфолк отрицал это и заявил, что он был крайне разгневан, узнав, что Баркер по наущению Ридольфи и прикрываясь именем герцога установил связь с испанским послом Деспесом. Быть может, здесь Норфолк приблизился к главному «нерву» сложной игры лорда Берли. Далее, говоря о принесенном Баркером расшифрованном письме Пия V, Норфолк заметил, что из него следовало, будто это — ответ на письмо, которое герцог и не думал посылать и которое, следовательно, было подделано и послано от его имени. Нельзя исключить того, что Норфолк здесь не лгал и снова при-

близился к пониманию механизма направленной против него интриги. Наконец, когда ему много раз повторили, что против него имеются совпадающие показания лиц, находящихся в заключении и не имевших возможности согласовать свои признания, герцог ответил: «Они не согласовали свои признания, направленные против меня, однако один сообщил их другому, и так эти сведения переходили у них от одного к другому».

Норфолк не отрицал и получение от Баркера расшифрованного письма Ридольфи — письма к «40». Однако, по утверждению герцога, в нем речь шла о денежной помощи, которую Альба был готов оказать Марии Стюарт. На замечание прокурора, что два свидетеля — Баркер и епископ Росский — независимо друг от друга подтвердили изменническое содержание письма, Норфолк резонно возразил, что тот же Баркер и Кэтберт, секретарь епископа Лесли, которому удалось бежать во Францию, могли, зная шифр, написать, что им вздумается. Прокурор допытывался, почему Ридольфи вообще писал герцогу. Обвиняемый возразил, что это ему неизвестно: он получал от Баркера лишь расшифрованный текст и не видел самого письма. Норфолка упрекали, что он добровольно ничего не сообщил властям. А было ли ему что сообщить? Не стоит множить примеры, демонстрирующие, что главные доказательства, которые были представлены обвинением, допускают возможность по меньшей мере двоякого толкования и, следовательно, вовсе не являются доказательствами в собственном смысле слова. Добавим лишь, что то же можно сказать и о доводах Эдвардса! Известный английский историк и экономист начала XIX века Д. Чомерс писал в книге «Жизнь Марии, королевы Шотландии», что Норфолк «признался во многом и отрицал немногое». Но это произошло не сразу. Норфолк на каждой стадии следствия отрицал все, что только можно было отрицать. На последнем этапе он отрицал то, что нельзя было подтвердить документами, — содержание его секретных бесед с Ридольфи, — и в этом нашел союзника в лице историка-иезуита.

Сам процесс над Норфолком велся с явным пристрастием, нарушением законных норм, как, впрочем, и большинство других политических процессов той эпохи, целью которых было скорее устранение противника, а не выяснение доказанности инкриминируемых ему действий. Судей, которые должны были быть пэрами Англии, тщательно отобрали из числа врагов герцога, могущих выиграть от его

гибели. Обвиняемому не дали времени подготовиться к защите, лишили — вопреки прецедентам — права пригласить адвоката. Показания главных свидетелей были вырваны пыткой или угрозой пытки. Елизавета разрешила подвергнуть пытке Баркера и Хикфорда. Для публики была издана специальная Декларация, оправдывавшая действия королевской комиссии, которая проводила следствие. В Декларации указывалось, что пытали только лиц, заведомо совершивших преступные деяния и не желавших сознаться, что «королевские слуги, тюремщики, обязанностью и занятием которых является управление дыбой, даже получили особое указание от тех, кто присутствовал на допросах, использовать ее настолько милосердно, насколько это возможно». Однако ряд протоколов следствия был явно подделан, допросы велись так, чтобы совершенно замаскировать возможную полицейскую провокацию. Старались ли Берли и его подчиненные (некоторые из них не могли не догадываться о возможности провокации) «для потомства», как считает Эдвардс? Ведь могли быть и более веские, с точки зрения лорда Берли, причины. Суд над Норфолком состоялся 16 января. Казнь была назначена на 8 февраля 1572 г., но в последний момент перенесена по указанию королевы на 28 февраля, а потом еще раз — на 12 апреля. Елизавета явно колебалась и, быть может, была готова ограничиться приговором к пожизненному тюремному заключению, хотя за казнь Норфолка горячо ратовал собравшийся весной 1572 года парламент. Решение о казни было окончательно принято в конце мая. 2 июня, стоя на эшафоте, Норфолк в предсмертной речи снова отрицал то, что он давал согласие на мятеж, на вторжение испанцев, отверг «папу и его религию».

Английская дипломатия максимально использовала раскрытие «заговора Ридольфи», чтобы ослабить поддержку Марии Стюарт парижским двором, представив ее союзницей Испании. Но так и должно было быть вне зависимости от того, какой в действительности была подоплека «заговора Ридольфи». Сам итальянец потом неоднократно ходатайствовал о возмещении убытков, понесенных им ради святой церкви. Папа Григорий XIII отказал ему, а через три десятилетия точно так же поступил английский король Яков I, сын Марии Стюарт. Флорентиец неоднократно выполнял дипломатические поручения своего государя, великого герцога Тосканского, был его послом в Риме, Мадриде и Лиссабоне.

Подводя итоги, можно сказать, что нет ни одного фак-

та, который прямо бы указал, что Ридольфи был шпионом лорда Берли, а не искренним, хотя и опрометчиво поступавшим, агентом католической церкви. О провокаторской деятельности Ридольфи свидетельствует совокупность косвенных доказательств, хотя каждый его поступок допускает различные толкования. Несомненно, он снабжал доверившихся ему лиц заведомо ложной информацией — например, о готовности герцога Альбы немедленно послать войска на помощь восставшим английским католикам. Зачем было Ридольфи уверять Пия V и Филиппа II, что герцог Норфолк, живший и умерший протестантом, в действительности тайный католик? Эти и другие подобные утверждения Ридольфи явно вредили тем, в чьих интересах якобы действовал итальянский банкир. Между тем флорентиец, как доказывают его успехи в торговых предприятиях, был опытным дельцом, и подобного рода нелепые поступки вряд ли могли быть следствием простого недомыслия. Слабым пунктом в концепции Эдвардса является объяснение мотивов поведения Ридольфи. Арестованный в Англии итальянец мог под угрозой пытки дать какие угодно обязательства служить Берли. Но какой смысл было ему соблюдать эти обещания, рискуя навлечь на себя месть папы и испанского короля? Эдвардс считал, что риск был не велик, а мотивом являлись деньги, которые следовало получить Ридольфи от английских должников, — 3,5 тыс. фунтов стерлингов (очень большая сумма по тем временам!) — и которые иначе конфисковали бы власти. В случае смерти Елизаветы и вступления на престол шотландского короля Якова перед флорентийским банкиром тоже открывались благоприятные возможности. Удайся заговор — Ридольфи не остался бы в накладе.

Безотносительно к концепции Эдвардса о факте переговоров шотландской королевы с Альбой неопровержимо свидетельствуют бумаги, захваченные еще в апреле 1571 года у сторонников Марии Стюарт после взятия ее врагами замка Думбартон. Историк-иезуит, пытаясь доказать свой тезис, стремится затушевать тождество планов Ридольфи интересам Марии Стюарт и Норфолка. Известно, что Сесил, как и сама Елизавета, в 1571 году считал, что цели английской политики могут быть достигнуты без открытой военной конфронтации с Испанией, на чем настаивали позднее Лейстер и Уолсингем⁸. Не могла ли организация «заговора Ридольфи» привести к такой конфронтации, активизировать и Альбу, и Филиппа II, способствовать сближению Франции с Испанией? Сесил, если он

спровоцировал заговор, не мог не задавать себе подобного вопроса. Историк-иезуиту удалось поставить под сомнение традиционную интерпретацию «заговора Ридольфи». Большинство специалистов продолжают придерживаться официальной версии, признавая, однако, что Ридольфи был безответственным болтуном, каким его и считали Филипп II и герцог Альба, не придавая значения обещаниям и проектам флорентийца⁹. Можно согласиться с одним из новейших исследователей, который, не называя Эдвардса по имени, писал, что утверждение католического историка, будто Ридольфи был орудием Сесила, «остается и, видимо, останется недоказанным»¹⁰.

Планы Ридольфи носили явно авантюристический характер, но они могли предстать совсем в ином свете для правительства Елизаветы, чувствовавшей враждебность католической Европы. Вдобавок после убийства в Шотландии регента Меря в январе 1570 года не было уверенности и в благожелательной позиции северной соседки Англии. Еще в 1558 году при вступлении Елизаветы I на престол старый сановник, служивший в высоких чинах еще ее отцу Генриху VIII, лорд Пейджет писал, оценивая международные позиции Англии, что имеется «естественная вражда» между ней и Францией, поэтому более чем когда-либо существует «необходимость поддерживать дружбу с Бургундским домом» (имелась в виду испанская ветвь династии Габсбургов, иными словами — Филипп II)¹¹. К этим мотивам добавлялась заинтересованность английского купечества в поддержании тесных торговых связей с Нидерландами, подвластными в то время испанской короне.

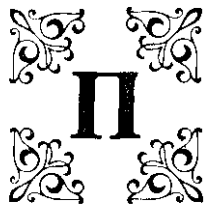
На протяжении 70-х годов позиция правительства Елизаветы была более благоприятна для Филиппа II, чем для восставших Нидерландов. Между тем победа испанского короля создала бы новую и крайне опасную для Англии ситуацию. Установление не только формального, но и полного фактического господства могущественной Испании над Фландрией, откуда за считанные часы можно было высадить войска на английскую территорию, наличие во Фландрии хорошо обученной, грозной армии для такого десанта создавали бы серьезную опасность. В чем же заключалась причина крайне вялого противодействия английского правительства планам Филиппа II? Объяснение надо искать не только в нежелании Елизаветы помогать «мятежникам» против их «законного» повелителя (к тому же «мятежникам», которые исповедовали крайние кальвинистские взгляды, имевшие явную антимонархическую на-

правленность). Елизавета учитывала ограниченность английских ресурсов, очень дорожила тем, что ей удалось избавиться от долгов, что было особо впечатляющим на фоне опустошаемых войной Нидерландов и Франции и государственного банкротства Испании. Между тем это достижение было бы наверняка сведено на нет в случае войны и вызванных ею расходов, что могло привести к росту внутренней оппозиции, в том числе и со стороны тех, кто громче всех ратовал за вооруженное отражение папистской угрозы. Елизавета считала, что компромиссный мир между Филиппом II и его восставшими подданными приведет в конце концов к эвакуации из Нидерландов испанской армии, содержание которой столь дорого обходилось Мадриду, и — что не менее важно — ограничит завоевательные планы французов во Фландрии (они могли стать не менее опасными, с точки зрения Лондона, чем сохранение Нидерландов под властью испанского короля). Здесь заключено объяснение выглядевшей столь противоречиво английской политики, непоследовательность которой порой объясняли женскими капризами и особенностями характера королевы. Между тем она умела играть даже на распространенности мнения о непредсказуемости ее действий, запрашивая высокую цену за очередной зигзаг своего политического курса.

Подход самой Елизаветы к межгосударственным отношениям как в первую очередь к чисто мирскому делу, к которому следует примешивать религиозный фактор только по политическим мотивам, не вполне разделялся ее советниками. Это особенно относится к сочувствовавшему пуританам Фрэнсису Уолсингему, сменившему в 1573 году Сесила на посту главного министра королевы. (Общее руководство политикой правительства сохранил, однако, в своих руках Уильям Сесил, получивший титул лорда Берли.) Являясь политическим главой елизаветинской разведки и тайной полиции, Уолсингем, по его собственным словам, считал, что между «Христом и Белиалом (сатаной. — Авт.) вряд ли может быть согласие»¹². Иными словами — невозможны мирные отношения между Англией и католическими странами. Но было бы неверно думать, что в планы Уолсингема входило намерение военными средствами добиваться распространения протестантизма. Его позицию нельзя оценивать в отрыве от той ситуации, в которой находилась Англия перед лицом агрессивной контрреформации. Уолсингем был убежден, что предпочтительнее не дожидаться иноземного нашествия, а преду-

предить его собственными решительными действиями. Это очевидно следует из другого его высказывания, внешне тоже облаченного в религиозную форму: «Не может ли быть у монарха, исповедующего Евангелие, более справедливой причины для вступления в войну, чем образование конфедерации, ставящей целью выкорчевывание Евангелия и религии, которую он исповедует?»¹³.

Обострение тайной войны



остепенно усиление освободительной борьбы в Нидерландах против Испании поставило английское правительство перед необходимостью принятия важных политических решений. Давая возможность добровольцам из Англии вступить в ряды «морских гезов» и войска Вильгельма Оранского, в Лондоне вместе с тем опасались, что успехи повстанцев будут способствовать вторжению французских войск в южные Нидерланды — во Фландрию. А это, как считало английское правительство, было еще более нежелательным, чем даже победы герцога Альбы.

В начале июня 1572 года Берли составил меморандум по фландрскому вопросу, возможно предназначенный для его коллег по Тайному совету. Этот меморандум показывает, между прочим, насколько непосредственно разведка ставилась на службу текущим задачам дипломатии. В меморандуме предусматривались такие меры, как засылка агентов во Флессинген и Бриль для выяснения настроений населения и обследования оборонных сооружений, направление доверенных лиц к графу Людвигу Насаускому и в Кёльн — для определения намерений немецких князей. Одновременно фиксировалась задача определить, в состоянии ли Альба противиться натиску французов. Если бы это было так, то обеим сторонам предоставлялось право самим решать свои споры, если нет, то для избежания перехода во французские руки фландрских портов надлежало секретно сообщить испанскому наместнику о намерении Англии прийти к нему на помощь. От «кровавого гер-

цога» следовало лишь попросить заверения, что он освободит жителей Фландрии от невыносимого угнетения и не введет инквизицию. Вскоре пришло известие о кровавой Варфоломеевской ночи в Париже, вызвавшее большое возбуждение среди английских протестантов. Разъяснения французского посла Ламота Фенелона о том, что гугеноты понесли наказание за заговор против законной власти, а не за свою веру, и его призывы к сохранению союзных отношений были встречены Елизаветой и лордом Берли очень холодно. Фенелон протестовал против тайной английской помощи бунтовщикам-протестантам Ла-Рошели.

Осенью 1572 года Берли явно стал считать желательным частичное соглашение с Филиппом II. Еще в 1568 году английские пираты захватили испанские корабли, груженные драгоценными металлами. Испанцы ответили конфискацией британского имущества в Нидерландах, а правительство Елизаветы, в свою очередь, присвоило испанскую собственность в Англии. Баланс этих обоюдных мероприятий был сведен в целом с большим дефицитом для Испании, даже если не считать «дополнительного» захвата британскими пиратами в Ла-Манше и Па-де-Кале еще многих испанских кораблей. За счет этой добычи Елизавета смогла возместить ущерб, понесенный английскими купцами, товары которых были потеряны в Нидерландах, при этом отнюдь не была забыта и королевская казна. Альба, вечно нуждавшийся в деньгах для оплаты наемных войск, распродал изъятые британские товары. Короче говоря, в результате этих операций в убытке остались лишь испанские купцы, а обе высокие грабящие стороны не видели причин для особого неудовольствия. Англичане поначалу не спешили с соглашением, которое могло бы помешать дальнейшему прибыльному промыслу их пиратских судов. Но в конце концов желание восстановить прерванную традиционную торговлю с Нидерландами взяло верх и привело к подписанию Нимегенской конвенции по этому вопросу в апреле 1573 года. Замена Альбы на посту наместника более осторожным Рекесенсом еще больше ослабила напряженность в англо-испанских отношениях, правда, только временно — слишком непримиримы были политические цели обеих держав.

Все же после заключения Нимегенской конвенции казалось, что английская политика приобретает явно испанский крен. В июле 1574 года в Лондон прибыл в качестве посланца доброй воли испанский дипломат Бернардино де Мендоса. Мендосу ожидал пышный прием; он вел

долгие переговоры с главными советниками королевы — Берли, Лейстером, Хэттоном. Его одаривали богатыми подарками — золотыми цепями, лошадьми и охотничьими собаками.

Но тайная война против Испании не прекращалась. Лорд Берли, несмотря на участвовавшие припадки подагры, продолжал даже лично руководить английскими разведчиками, посланными за рубеж. Среди них заслуживает особого упоминания некий Джон Ли, отчеты которого сохранились в английском государственном архиве. Если верить свидетельству самого Ли, он был выходцем из среднего дворянства, солидным купцом, эмигрировавшим в Антверпен в конце 60-х годов после какого-то скандального столкновения с родственниками жены. Ли был католиком и именно поэтому был избран для «работы» среди английской католической эмиграции в Нидерландах. Там находились вожди недавнего католического восстания — граф Уэстморленд, Фрэнсис Нортон и другие, кто мог стать орудием испанской интервенции против Англии. Главным заданием, полученным Джоном Ли, было убедить наиболее влиятельных людей среди эмигрантов просить прощения у Елизаветы и вернуться на родину. Разумеется, все это не могло прийтись по вкусу испанским властям, которые, по мнению самого Ли, были поставлены в известность о его усилиях. В октябре 1572 года разведчик был схвачен, но успел в последний момент перед арестом уничтожить наиболее компрометирующие бумаги. В апреле 1573 года Ли предстал перед судом. В качестве доказательства его шпионских занятий фигурировали копии писем к Берли. Английское правительство проявило на этот раз большое рвение, чтобы спасти своего агента, воспользовавшись благоприятным поворотом в отношениях с Испанией. Лейстер написал личное письмо герцогу Альбе, в результате чего Ли был освобожден. Дальнейшая судьба разведчика неизвестна — молчание архивов может означать, что Берли потерял интерес к своему агенту после его разоблачения. Не исключено, что в последующие годы Ли фигурировал в секретных бумагах под вымышленным именем.

Действия своей агентуры Берли дополнил установлением личной переписки с графом Уэстморлендом, лордом Генри Морли, Фрэнсисом Энфилдом, Томасом Копли. С помощью писем и отдельных услуг хитроумный министр Елизаветы пытался убедить своих корреспондентов в том, что он их лучший друг среди при-

ближенных королевы. Но этим отнюдь не ограничивалась активность английской разведки.

Восстановление внешне нормальных, если не дружественных, отношений с Испанией очень затрудняло связи Англии с голландцами. Были отозваны сражавшиеся на их стороне английские добровольцы. Елизавета даже обещала, что, если Альба вышлет английских эмигрантов, она прикажет голландским «мятежникам» покинуть Англию. Королева неоднократно предлагала свое посредничество с целью добиться прекращения вооруженной борьбы на условиях восстановления власти Филиппа II и признания им старинных вольностей Нидерландов. Аналогичное посредничество германского императора привело к созыву конференции в Бреда (март 1575 г.), которая окончилась неудачей и вряд ли могла окончиться иначе. А от английских услуг испанские власти вообще вежливо отказались. Война продолжалась, и положение повстанцев, казалось, становилось критическим. Поэтому в случае отказа Елизаветы от помощи восставшим возникали почти в равной степени неприятные для Англии перспективы — либо установление абсолютной власти Филиппа II над всеми Нидерландами, либо обращение голландцев за помощью к французам.

Между тем поддерживать контакты с гезами через обычные дипломатические каналы было сложно — английский посол при испанском наместнике Томас Вильсон сообщал Берли, что постоянно находится под «бдительным оком» Рекесенса. Оставались поэтому только методы тайной дипломатии и секретной службы.

Еще не были поставлены подписи под Нимегенским соглашением, как в Голландии появился некий Уильям Герли, сменивший «пост» тюремного провокатора на должность тайного дипломатического агента. В мае 1573 года Герли вернулся с письмом Вильгельма Оранского к лорду Берли, содержащим просьбу о финансовой помощи. Одним из активных агентов Берли в лагере повстанцев в 1574 году был некий капитан Честер, который ранее командовал группой английских волонтеров.

В конце января 1576 года в Лондон прибыл посол Рекесенса де Шампаньи, губернатор Антверпена. Его целью было настоять на прекращении помощи голландцам. Шампаньи вел долгие переговоры с Берли, каждый раз меняя мнение о намерениях Англии. Посла приняла сама королева, неожиданно разразившаяся тирадой против нидерландских кальвинистов, стремившихся упразднить монархию,

и добавившая, что Филипп II — старый друг и что она не забыла его заступничества за нее во время правления королевы Марии. После этой аудиенции Шампаньи уже не знал, что думать, — это, видимо, и было целью его царственной собеседницы. В марте он уехал с пустыми руками¹.

Голландским представителям в Лондоне не устраивали роскошных приемов, лорд Берли вообще не имел с ними никаких дел. Голландцы имели возможность беседовать с тем же Уильямом Герли, и их делом было принимать или нет советы, подаваемые столь красноречивым джентльменом. С другой стороны, кто мог запретить Уильяму Герли писать об этих встречах своему старому благодетелю лорду Берли? Справедливости ради стоит заметить, что и голландцы не сумели добиться твердых обещаний о помощи вследствие нерешительности, которая обычно в таких случаях охватывала Елизавету. (Впрочем, по сведениям испанских дипломатов, в эти месяцы не прекращалась отправка английских кораблей, груженных вооружением и амуницией для голландских повстанцев.)

Последующие два-три года были временем крупных неудач испанцев в Нидерландах, и у Англии исчезли мотивы, побуждавшие ее скрывать свои отношения с Вильгельмом Оранским². Однако установление дипломатических контактов, разумеется, не прекратило деятельность и английской, и испанской разведок. «Заговор Ридольфи» оказался только звеном в длинной цепи заговоров. Некоторые из них были, правда, спровоцированы английской разведкой, которую возглавлял в эти десятилетия — под общей эгидой лорда Берли — Фрэнсис Уолсингем, истовый пуританин, сторонник бескомпромиссной борьбы против католических недугов английской королевы. Замешанный в одном из таких заговоров («заговор Фрэнсиса Трокмортона») дон Мендоса был объявлен в январе 1584 года «персона нон грата» и покинул британскую землю с угрозой: «Бернардино де Мендоса рожден не нарушать спокойствие, а завоевывать чужие страны». Мендоса перебрался в Париж, где к нему, разумеется, тайно поступил на службу... его главный противник — английский посол сэр Эдвард Стаффорд. Уже с весны 1587 года сэр Эдвард стал передавать — точнее, продавать — испанцу секретную информацию. Историки так и не пришли к единому мнению о том, действовал ли Стаффорд по собственному почину или снабжал дона Мендосу фальшивыми сведениями по поручению своего шефа Фрэнсиса Уолсингема³.

В Англии в еще большей мере, чем в других странах,

вековой конфликт побудил правительство приложить особые усилия, чтобы заручиться поддержкой общественного мнения. В пропагандистскую войну включился даже сам лорд Берли, опубликовавший в 1583 году памфлет «Осуществление правосудия в Англии, карающего не за религию, а за измену». В этом сочинении доказывалось, что Англия борется не с католицизмом, а с притязаниями папы на власть над светскими государями. Ни один суверен не может терпеть претензию правителя другого государства на осуществление наднациональной верховной власти. В Англии этому решительно воспротивилась даже королева-католичка Мария Тюдор. Отлучение папой Елизаветы от церкви было формой объявления войны Англии. Эмиссаров Рима, в частности иезуитов, преследуют вовсе не за то, что они отказываются давать удовлетворительные ответы на так называемые «кровавые вопросы» (верят ли они, что папа имеет право низлагать с престола королеву Англии, будут ли они в случае иноземного вторжения, имеющего целью осуществить это низложение, сражаться на стороне папы). Их преследуют как изменников в соответствии с существующими законами. При этом не имеет значения то, что римские эмиссары действуют не с мечом в руке, — ведь если рассуждать иначе, то можно «признать, что и Иуда не был предателем, поскольку он пришел к Христу невооруженным и скрыл свою измену с помощью поцелуя»⁴.

В ответ в 1584 году глава английских католических эмигрантов У. Аллен опубликовал памфлет, озаглавленный «Истинная, искренняя и умеренная защита английских католиков». Аллен заявлял в нем, что утверждения, будто католиков преследуют в Англии не за их веру, являются «заведомой неправдой». В памфлете доказывалось, что английские католики не добивались издания папской буллы, отлучавшей Елизавету. Вместе с тем автор этого сочинения отстаивал прерогативу папы смещать с престола государя-еретика, хотя она совершенно не затрагивает права католических монархов. Аллен требовал введения веротерпимости в Англии, умалчивая, разумеется, о преследовании протестантов в католических странах.

Обе стороны сильно отклонялись от истины: правительство Елизаветы — уверяя, что оно преследует католиков не за веру, а за государственную измену, а католические авторы — с негодованием отвергая обвинение своих единоверцев в предательстве. Все одинаково обходили молчанием неудобные факты. Английское правительство

считало католиков своими врагами уже лишь потому, что в их глазах низложенная папой и незаконнорожденная, по мнению Рима, Елизавета (она была дочерью второй жены Генриха VIII, развод которого с первой супругой не был признан Римом) не являлась законной государыней. А Аллен и его единомышленники ставили целью не столько проповедь католического вероучения, сколько низложение еретички, узурпировавшей английский престол⁵.

Уяснить, кто был инициатором главных сражений в тайной войне середины и второй половины 80-х годов XVI в., невозможно, не представляя всю картину развития векового конфликта в эти годы. А она всего за несколько лет изменилась коренным образом и притом как раз там, где решалась судьба этого конфликта. В Нидерландах чаша весов сильно склонилась в пользу испанцев. Благодаря перемене фронта дворянством южной, по преимуществу католической, части страны Фландрия снова оказалась под властью испанцев. Во Франции дон Мендоса превратился в закулисного советника и вдохновителя действий партии воинствующих католиков. Созданная ими Католическая лига стала, по существу, одной из организаций международного лагеря контрреформации. Поскольку Гизы оказались теснейшим образом связанными с Испанией, возможная замена на английском престоле Елизаветы их родственницей Марией Стюарт означала бы не усиление французского влияния, а превращение Англии в вассала испанской державы⁶.

Составленный в 1583 году меморандум, авторство которого приписывали Аллену, рисовал Англию страной, где две трети населения открыто или тайно симпатизируют католикам и только ждут удобного момента, чтобы сбросить ненавистное иго еретиков. В Англии вновь активизировались лазутчики «Общества Иисуса». Во время обсуждения в парламенте в 1584 и 1585 годах билля против иезуитов и других агентов международной контрреформации член палаты общин от Саутгемптона Томас Дигс назвал их «адскими псами, прикрывающимися славным именем Иисуса». Несколько позднее Аллен прямо призывал английских католиков, если они дорожат спасением души, не сражаться за «бесчестную, развратную, проклятую, отлученную от церкви еретичку, являющуюся позором для ее пола и монаршего сана, главным воплощением греховности и мерзостей нашего времени...» и т. п.

В отношении Англии планы католического лагеря сво-

дились теперь к попытке одним ударом подорвать ее сопротивление власти контрреформации в лице вселенской монархии Габсбургов. А чтобы такая массированная фронтальная атака наверняка увенчалась успехом, ее должен был предварить удар в спину, каковым и был призван стать новый заговор с целью возведения на трон Марии Стюарт. Для английского правительства эти планы не были и не могли оставаться тайной и не только благодаря успешной деятельности британской разведки. О них нетрудно было догадаться по той простой причине, что аналогичные заговоры строились и ранее, на протяжении полутора десятилетий. Правда, прежде они так и не были осуществлены, хотя немалое число заговорщиков сложило головы на плахе при неудачных попытках приступить к действиям. Но в то время еще отсутствовало решающее условие успеха — готовность Мадрида ради низложения Елизаветы рискнуть своим флотом и закаленной в боях испанской армией во Фландрии. Теперь же, когда победа в Нидерландах казалась близкой, когда перспективы Католической лиги во Франции казались самыми радужными, положение становилось совершенно иным. Никакой риск не казался уже неоправданным, поскольку победа над Англией становилась возможной и достижение ее превратило бы Западную Европу в габсбургский протекторат. Таковы были объективная обстановка и настроения Филиппа II, когда ему доставили секретное послание шотландской королевы-католички, уже около 20 лет томившейся в плену в Англии.

Послание это было получено при посредстве дона Мендосы, связи которого с Марией Стюарт были установлены через ее агентов Томаса Моргана в Париже и Джилберта Джифорда в Англии, действовавшего в тесном контакте с французским посольством в Лондоне. Разумеется, при этом ни дон Мендоса, ни Томас Морган не подозревали, что учтивый джентльмен из Стаффордшира Джилберт Джифорд, несмотря на свою молодость, уже не первый год являлся двойным шпионом. И именно через него Уолсингему удалось сфабриковать знаменитый «заговор Бабингтона», участники которого поклялись убить Елизавету и, главное, сначала наладить тайную переписку с Марией Стюарт, что стало бы доказательством одобрения ею их планов. Агенты королевского министра не только снимали копии писем, но, обученные искусству подделывать почерки, вероятно, добавляли в текст то, что хотел видеть сэръ Фрэнсис. А он желал иметь доказательства, что

Мария Стюарт прямо и недвусмысленно одобряла намерение убить Елизавету. Это создало бы удобный предлог для казни опасной пленницы. И хотя именно поэтому кое-какие из писем Марии Стюарт вызывают серьезные сомнения в их подлинности, это вряд ли относится к посланиям, отправленным ею Филиппу II.

26 мая 1586 г. шотландская королева посылает дону Мендосе крайне рискованный ответ на два его письма. В нем она выражает скорбь по поводу того, что правящий Шотландией ее сын Яков упорствует в приверженности к протестантской ереси. В письме Марии содержится важное заявление: «Я решила, что в случае, если мой сын до моей смерти не вернется в лоно католической церкви (а на это остается очень мало надежды, пока он находится в Шотландии), я уступаю и завещаю свои права на наследование этой (английской. — Авт.) короны королю, Вашему господину, при условии, что он отныне возьмет под свою защиту как меня, так и государство, и дела этой страны. Следуя голосу собственной совести, я не могу наделить этой ответственностью государя, более ревностного в отстаивании нашей религии и более способного во всех отношениях восстановить ее в этой стране, как того требуют высшие интересы всего христианского мира»⁷. В заключение королева просит сохранить в строгой тайне ее письмо, поскольку, если о нем узнают еретики во Франции, это приведет к потере наследства, причитающегося Марии как вдове французского короля (Франсиска II), а в Шотландии — к окончательному разрыву с ее сыном. Крайняя опасность, которой подвергала себя королева, отправив это письмо, и о которой прямо в нем говорится, заставила отдельных историков усомниться в подлинности этого послания⁸. Однако, было оно фальшивкой или нет, важным являлось то, как на него реагировала испанская сторона.

Мендоса поспешно уведомил Филиппа о письме Марии Стюарт и рекомендовал решительно выступить в ее пользу. И Филипп II, оставив прежние колебания, бросил жребий. 18 июля он пишет дону Мендосе: «Я был рад получить копию письма к Вам шотландской королевы вместе с Вашим письмом от 26 июня. Мое уважение к ней сильно возросло вследствие того, о чем она уведомляет меня в этом письме, и усилило мою преданность ее интересам, которую я всегда чувствовал. Все это не столько от того, что было ею сказано в мою пользу (хотя я очень признателен за ее слова), сколько потому, что она

подчиняет свою любовь к сыну, которая могла бы отвратить ее от служения господу, общему благу христианского мира и Англии. Вы можете сообщить все это от моего имени и уверить ее, что если она будет следовать правильно избранному ею пути, то, как я надеюсь, господь вознаградит ее возвращением ей законных владений. Вы добавьте, что я буду очень рад взять под покровительство ее саму и ее интересы, как она того просит. Держите это дело в тайне в соответствии с ее желанием»⁹. Король предписал также доставить Марии значительную сумму денег. Изложение письма Филиппа было передано через Моргана (а следовательно, при любезном посредстве Джифорда и «компани») шотландской королеве.

В то же время, в июле 1586 года, дона Мендосу посетил английский католический священник Боллард, осведомивший посла о подготовке заговора с целью умерщвления Елизаветы и реставрации католицизма в Англии. Боллард, стремившийся выяснить, могут ли заговорщики рассчитывать на помощь Испании, был католическим фанатиком, а не наемным провокатором, как некоторые из его ближайших сообщников. Тогда же, 26 июля, уже будучи посвященной во все планы заговорщиков, Мария Стюарт посылает новое письмо дону Мендосе: «Мне особенно приятно убедиться в том, что католический (испанский. — Авт.) король, мой добрый брат, начинает противодействовать заговорам и покушениям со стороны королевы Англии, направленным против него, и не из-за благ, которые я ожидаю от этого для себя лично, но главным образом из-за поддержания королем его репутации в христианском мире, что затрагивает меня особенно сильно»¹⁰. Мария сообщала далее, что она перестала предаваться унынию, узнав о намерении Филиппа II, так как положение теперь в корне изменилось. Правда, для самой Марии это окончилось разоблачением ее роли в «заговоре Бабингтона» (являвшемся на деле в своей основе полицейской провокацией), за которым последовали суд и смерть на эшафоте.

Через 10 дней после казни Марии Бернардино де Мендоса, перемежая лицемерные вздохи с явственным удовлетворением, писал: «Поскольку господь ради своих целей пожелал, чтобы эти проклятые люди совершили сие деяние, совершенно ясно, что его намерением является передать оба королевства (Англию и Шотландию. — Авт.) в руки Вашего величества»¹¹. К этому времени

Филипп уже располагал письмом Марии, в котором она лишала права наследования своего сына Якова и назначала своим преемником испанского короля. В дополнение к этому притязания Филиппа II могли быть подкреплены и его правами как супруга королевы Марии Тюдор, скончавшейся почти за три десятилетия до этого...

Если «заговор Бабингтона», сыгравший на руку не только английскому, но и в известном смысле испанскому правительству, был сфабрикован агентами Фрэнсиса Уолсингема, то другие заговоры были несомненно подлинными, и нити от них неизменно тянулись в испанское посольство, в иезуитские семинарии в Бельгии или Италии, где обучались английские эмигранты-католики. Заговоры не прекращались до начала XVII века. Если Мария Стюарт и Филипп II — живые воплощения самого векового конфликта, то его секретная дипломатия столь же отчетливо отразилась в облике упомянутого выше дона Бернардино Мендосы. Посол в Англии (в первой половине 80-х годов), организатор заговоров (после неудачи очередного из которых ему пришлось покинуть Лондон), Мендоса с неменьшим рвением занялся разжиганием религиозных войн. Он — закулисный организатор Католической лиги во Франции; агенты дона Мендосы, главы английских иезуитов в Англии отца Парсонса и их коллеги активно подвизались в Амстердаме и Копенгагене, Стокгольме и Варшаве — повсюду, где плела свои сети контрреформация.

В центр ее внимания снова выдвигалась Германия, особенно по мере того, как становились все менее реальными планы победы в других странах. Преемники Карла V — Фердинанд (1558—1564) и Максимилиан II (1564—1576) пытались поддерживать Аугсбургский религиозный мир, считая это необходимым для сохранения «спокойствия», особо важного при турецкой угрозе.

Особенностью ситуации наряду с возрастанием влияния протестантских княжеств на Севере было быстрое распространение Реформации в наследственных владениях Габсбургов, особенно в Чехии и в той части Венгрии, которая оставалась под их властью. Таким образом, ересь проникла в те земли, опираясь на которые австрийские Габсбурги прежде всего могли рассчитывать возобновить борьбу за укрепление власти императора Германской империи. Это порождало попытки венского двора сохранять определенную степень религиозной терпимости в собственных владениях, чтобы исполь-

зовать их ресурсы в интересах контрреформации в Германии и Европе в целом. «Зараза» коснулась даже императорского дома. Эрцгерцог и будущий император Максимилиан II серьезно склонялся в пользу Реформации. Он читал богословские сочинения лютеран, переписывался с герцогом Вюртембергским и другими протестантскими князьями. В числе его приближенных были лютеране, и он даже подумывал об отречении и переезде во владения протестантского курфюрста Палантината Фридриха III, если тот согласится предоставить ему убежище. Только в 1561 году он поклялся жить и умереть в лоне католической церкви. Впрочем, когда в 1576 году пришла ему пора умирать, он скончался, не приобщившись святых тайн, — чудовищный факт, с точки зрения верующих католиков. «Несчастный умер, как жил»¹², — доносил испанский посол из Вены.

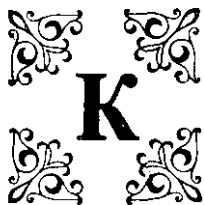
Линия австрийских Габсбургов вызывала явное неодобрение в Мадриде и серьезные размолвки с Римом. Она казалась губительной лагерю воинствующего католицизма, особенно иезуитам. Лихорадочно пытаясь расширить свое влияние, насаждая свои семинарии и колледжи, заполняя Германию пропагандистской литературой, иезуиты с тревогой наблюдали за успехами, которые одерживал протестантизм в Рейнских областях и даже в Баварии и Австрии, считавшихся опорами католической партии.

Вступление на императорский престол Рудольфа II (1576—1612) позволило иезуитам постепенно повернуть политику австрийских Габсбургов в сторону репрессий и прямого противоборства с Реформацией. Имевшие прежде местное значение, споры между германскими князьями рассматривались теперь через призму векового конфликта, принятие кем-либо из монархов протестантизма или, напротив, возвращение в католичество — как нарушение баланса сил между обоими лагерями.

В 1582 году архиепископ Кёльнский объявил себя кальвинистом — присоединение его к протестантским курфюрстам давало им перевес в коллегии, избиравшей императора Священной Римской империи. Кроме того, переход Кёльна на сторону Реформации менял еще более резко соотношение сил в Северной Германии, примыкавшей к Северным Нидерландам в самый разгар их борьбы против Испании. Папа и император объявили о низложении архиепископа. Он не получил поддержки со стороны других протестантских князей, и кёльнское архиепископство было занято испанскими войсками,

вторгшимися из Южных Нидерландов. В 80-е годы подобным путем удалось снова обратиться в католическую веру значительную часть Северо-Западной Германии.

Новый натиск



концу XVI века, как писал (с некоторым преувеличением) известный историк международных отношений Г. Маттингли, «всякие дипломатические контакты между европейскими государствами были прерваны, кроме связей между идеологическими союзниками»¹.

В 1580 году Филипп II добился успеха, который, казалось, должен был резко увеличить его ресурсы в обоих вековых конфликтах. После смерти бездетного короля Португалии Филипп II предъявил свои династические права на вакантный престол, подкрепленные посылкой армии под командой герцога Альбы. Впрочем, испанским солдатам проложили дорогу испанские золотые дублоны. Агенты Филиппа II подкупили многих видных представителей португальской знати и духовенства. В результате была не только присоединена страна, в которой традиционно сохранялись антииспанские (точнее — антикастильские) настроения, но Филипп II овладел богатой португальской колониальной империей, включавшей Бразилию, многие острова в Атлантическом океане, торговые фактории в Африке и на Индостанском полуострове, острова пряностей в Юго-Восточной Азии. В отличие от Испании, где монополия на торговлю с Новым Светом находилась в руках купеческой корпорации, в Португалии эта монополия принадлежала самой короне². Таким образом доходы от торговли с португальскими владениями сразу же пополняли поступления в испанскую казну. Серебром, добываемым в испанских заморских владениях в Мексике и Перу, можно было оплачивать пряности и другие азиатские товары, которые перепродавались с огромной выгодой на европейских рынках, а африканские рабы из португальских колоний, ввозимые для использования в серебряных копиях и на плантациях Нового Света, должны были многократно повысить их

доходность. Португальские корабли дополнили состав огромных торгового и военного флотов Испании. Колониальная и торговая мощь Испании, казалось, упрочилась навсегда, а Лиссабон и другие португальские порты стали лучшими базами, откуда отправлялись испанские эскадры для борьбы против еретической Англии и прочих противников вселенской державы Филиппа II.

К 80-м годам XVI в. усиление притока драгоценных металлов из Нового Света сместило центр морских путей в Атлантический океан. В известном смысле интервенция Филиппа II против Нидерландов и Англии была борьбой за Атлантику между силами контрреформации и протестантизма³. Наступление католицизма породило у молодого поколения елизаветинцев — поколения Шекспира — широкое стремление к бескомпромиссной и приносящей почет и выгоды войне против Испании. (Об этом есть специальное исследование Э. Эслера «Пытливый ум молодого поколения елизаветинцев»⁴.)

Десятилетие после казни Марии Стюарт (в 1587 г.) было временем, когда Филипп II старался массированным натиском решить вековой конфликт в пользу католического лагеря. Медлительный Филипп начал теперь спешить. После казни Марии резко уменьшились шансы на успешное католическое восстание. Мало кто из английских католиков был склонен рисковать жизнью ради сына Марии — шотландского короля-кальвиниста или испанского короля⁵. «Английское дело» — как называли иезуиты задачу возвращения Англии в лоно католичества — можно было попытаться привести к успешному концу теперь только военным путем. Вместе с тем, с точки зрения католического мира, у Филиппа II имелись династические права на британский престол, и испанский король мог взяться за «английское дело» не ради кого-то другого, а ради самого себя. Филипп II мог предъявить свои собственные права на престол или права кого-либо из членов своей семьи.

Были мобилизованы все ресурсы Испании, которой десятилетиями приходилось расплачиваться за завоевательную политику своих монархов, составлявшую основу планов контрреформации. Огромный флот в составе 130 военных кораблей с 2500 пушек и 27 тысячами солдат и матросов был подготовлен для завоевания Англии. Предприятию придали вид крестового похода. 300 пушек салютовали пышной процессией, доставившей на адмиральский корабль «Сан Мартин» знамя, освященное

римским папой. Целью эскадры — как утверждалось в отчете «Счастливейшая армада», составленном по повелению короля Педро Пас Саласом и опубликованном в Лиссабоне в 1588 году, — было «...послужить господу и вернуть в лоно его церкви великое множество страждущих душ, которые угнетаются еретиками». 29 мая 1588 г. Непобедимая армада двинулась в путь. Предполагалось, что у берегов Южных Нидерландов корабли армады примут на борт армию Александра Пармского для высадки ее на английской территории.

В 1968 году в Лондоне был опубликован роман К. Робертса «Павана» (ravage — старинный испанский танец). В прологе рассказывалось: «В теплый июльский вечер 1588 года в Лондоне в королевском дворце в Гринвиче умирала женщина. Пули убийцы попали ей в брюшную полость и грудную клетку. Ее лицо было изборождено морщинами, зубы почернели, и смерть не придала ей достоинства. Но эхо ее последнего дыхания отозвалось за пределами дворца, вызвав потрясение в половине стран всего земного шара. Ибо не стало волшебной королевы Елизаветы Первой, верховной правительницы Англии». Рисуя эту воображаемую смерть Елизаветы (на деле скончавшейся на 15 лет позднее) в результате покушения на нее агента католиков, романист изобразил вполне реальную возможность — заговоры и покушения на ее жизнь следовали один за другим. Что же происходит после «убийства Елизаветы»? Массовая резня католиков по всей стране, которые, в свою очередь, берутся за оружие; корабли армады высаживают отборные испанские полки ветеранов, Филипп II провозглашается королем Англии; во Франции побеждает Католическая лига; объединенные силы Испании, Англии, Франции сокрушают сопротивление Нидерландов...

Мы не будем воспроизводить воображаемый ход событий, созданных фантазией писателя, но он в какой-то мере позволяет оценить, сколь многое ставилось на карту заговорами против Елизаветы (хотя ее насильственное устранение на деле не могло столь коренным образом изменить соотношение сил и привести к победе католического лагеря). Важно отметить и другое. Армада сама по себе не была безумным и заранее обреченным предприятием. Специалисты считают, что армада имела определенные шансы высадить испанский десант в Англии и что военные силы, имевшиеся в распоряжении английского правительства, вряд ли могли бы помешать Алек-

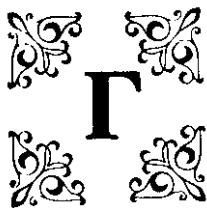
сандру Пармскому занять Лондон. Это еще не означало бы подчинения всей страны, но могло заставить Елизавету пойти на заключение мира, который надолго исключил бы Англию из числа активных противников католического лагеря⁶.

Наряду с этим в литературе утвердилось мнение, что армада была плохо снаряжена, а назначенный в последний момент ее командующий Медина Сидония был ловким придворным, но никудышным флотоводцем. Это более чем неточно. Медина Сидония в действительности был настойчивым и хладнокровным адмиралом, команды были хорошо обучены. Правда, суда армады были вооружены меньшим количеством пушек, чем английские корабли. Англичане умели лучше маневрировать. Они отказались от средневековой линейной тактики, предпочитая неожиданные атаки на базы испанцев в Кадисе и на мысе Сен-Винсент. Тем не менее армада едва не достигла своей стратегической цели. В конце июля, войдя в Ла-Манш, испанская эскадра подверглась атакам английских судов, обладавших более дальнобойной артиллерией, и брандеров. Армада понесла большие потери, нужно было думать не о завоевании Англии, а о спасении еще находившихся в строю кораблей. Военный совет армады принял решение: избегая столкновений с английским флотом, взять курс на север, с тем чтобы, обогнув Британские острова, вернуться в Испанию. Во время этого похода неблагоприятные ветры, коварные мели и скалы, недостаток пресной воды и продовольствия dokonчили то, что было начато английскими ядрами. Все же в Испанию возвратились 44 корабля. Поражение армады было большой моральной победой для Англии, но не подорвало — как некогда считали историки — испанской военной мощи⁷. В 1593 году при открытии сессии парламента лорд-хранитель печати Джон Пакеринг заявил, что Филипп II стал вдвое сильнее на море, чем был в 1588 году⁸.

Пока сохранялась угроза восстановления испанской власти над голландскими провинциями, пока маячила перспектива утверждения испанского ставленника на французском престоле, а войска Филиппа II контролировали порты на северном побережье Франции — сохранялась реальная угроза повторения попытки захвата Англии. Пытаясь парировать эту угрозу, правительство Елизаветы оказывало помощь войсками и денежными субсидиями голландцам, а также вождю французских гугенотов Генриху Наваррскому⁹. Мадрид в это же время

готовил новые армады. Первая из них, отплывшая в октябре 1596 года, была сильно потрепана штормом в Бискайском заливе. Очередная попытка была предпринята в следующем, 1597 году — и снова буря рассеяла корабли неподалеку от английских берегов. Посылка этих эскадр носила явную печать авантюризма. Расчет теперь уже был не на победу над английским флотом, а на отсутствие его главных сил, находившихся в дальнем плавании, поджидая у Азорских островов груженные золотом и серебром испанские транспортные корабли из Нового Света. К этому времени англичане уже явно преобладали на море. Еще в июне 1596 года английские и голландские корабли ворвались в Кадис, захватили стоявшие на рейде военные и торговые суда и другую огромную добычу, сожгли городские укрепления, многие кварталы города и отплыли, не встретив серьезного сопротивления. Англия, в которой развивались новые, буржуазные отношения, оказалась способной снарядить флот лучший, чем тот, который сумела выставить Испания, черпавшая ресурсы из своей необъятной империи, но тем не менее не избежавшая в 1597 году фактического банкротства.

Баррикады Генриха Гиза и обедня Генриха Наваррского



гугенотскую партию во Франции было бы крайне неточно отождествлять с прогрессивными общественными силами. Наряду с элементами, являвшимися носителями новых социальных отношений, к гугенотам примкнула значительная часть феодального дворянства (особенно на юге и юго-востоке Франции), которая преследовала сепаратистские цели, угрожавшие единству страны. В этих условиях, пожалуй, именно партия «политиков» отражала государственные интересы, а следовательно —

и организатор Варфоломеевской ночи Екатерина Медичи, когда она, пусть из чисто династических целей, принимала программу «политиков».

В течение двух с лишним десятилетий, отделяющих Варфоломеевскую ночь от окончания гражданских войн, партия «политиков» не прекращала своих попыток достигнуть компромисса внутри страны и вывести таким путем Францию из векового конфликта. В 1575 году им удалось на юге Франции, в Лангедоке, создать администрацию, обязавшуюся соблюдать веротерпимость, а в 1576 году добиться от Генриха III издания так называемого эдикта в Болье, который разрешал гугенотам исповедовать свою религию повсюду, за исключением Парижа. Правда, этот эдикт не соблюдался, а в 1585 году король издал новый, отвергающий принцип веротерпимости. Маршал Таванн саркастически охарактеризовал «политиков» как людей, предпочитающих, чтобы в стране царил мир без бога, а не война за него.

Объединяющим началом Католической лиги (в Париже она представляла собой временный непрочный союз буржуазии, мелкой буржуазии и плебса¹) была только борьба против ереси. Лигеры, представлявшие лагерь реакции, следуя за своими наставниками-иезуитами, пытались использовать в собственных интересах передовые идеи эпохи — тираноборчество, право избрания короля. (Некоторые из идеологов лиги даже дошли до защиты идей демократии².) Но все это пускалось в ход только в том случае, когда речь шла о короле-еретике. Подобные идеи были и данью настроениям значительной части буржуазии и плебса, примкнувшей к лиге и нередко использовавшей фразеологию контрреформации для выражения своих социальных требований³. Королевская партия, в свою очередь, могла утверждать, что «сатанинскими» идеями убийства монархов лигеры продают свою родину Францию испанцам⁴. И действительно, руководители Католической лиги все более превращались в орудие испанской политики. Вечно нуждавшийся в деньгах герцог Гиз был готов к услугам в обмен на испанское золото⁵. С конца 1581 года в секретной переписке Филиппа II Генрих Гиз фигурировал как Геркулес, а с апреля 1584 года — как Луцио. Гиз стал систематически получать испанские субсидии примерно с сентября 1582 года⁶.

Постоянные тайные контакты — и личные, и путем переписки — поддерживала с послом испанского короля доном Мендосой и сестра Гиза — деятельная герцогиня

Монпансье, прозванная Фурией лиги. Одним из важных направлений активности испанской дипломатии стали попытки расколоть влиятельную партию «политиков» и переманить на свою сторону ее наиболее видных лидеров. Особые усилия начиная с 1582 года Филипп II предпринимал, чтобы добиться перехода в лагерь лиги полунезависимого губернатора провинции Лангедок герцога Генриха Монморанси. Ему предоставили крупную денежную субсидию, соблазняли возможностью создать прочный союз Гизов и Монморанси путем брака между их детьми. В конечном счете эти усилия оказались напрасными, и Монморанси постепенно перешел в лагерь противников лиги.

Испанская дипломатия старалась обеспечить своей политике поддержку иезуитского ордена. Правда, в сохранившихся документах вряд ли можно найти прямые свидетельства связей дона Мендосы с «Обществом Иисуса», и не только потому, что подобные сведения было не принято доверять бумаге. Дело заключалось в том, что иезуиты, подвизавшиеся в качестве вдохновителей и проповедников лиги, орудовали как бы на собственный страх и риск, не получая прямых указаний от генерала ордена Клаудио Аквавива и его помощников, которые делали вид, что им вообще ничего не известно о весьма бурной активности некоторых их подчиненных во Франции. Руководители ордена, возводящие двуличие в принцип своего поведения, не желали ставить все на одну карту.

Среди иезуитов, выступавших в роли агентов Гизов, особое усердие проявлял лотарингец Клод Матью, прозванный Курьером лиги. Его преемник Одон Пижен действовал в теснейшем контакте с доном Мендосой. Иезуитский проповедник Жак Комоле, Оратор лиги, призывал к передаче французского престола испанским Габсбургам. В том же духе действовали и другие «братья».

31 декабря 1584 г. был заключен тайный Жуанвильский договор Филиппа II с Гизами и Католической лигой, согласно которому стороны согласились добиваться признания наследником престола — вместо еретика Генриха Наваррского — престарелого кардинала Бурбона и полного уничтожения протестантской ереси во Франции. Испанский король обещал лиге ежемесячную субсидию 50 тысяч дукатов (около 150 тысяч флоринов)⁷ и военную помощь, взамен чего лига обязывалась содействовать переходу под власть Испании Французской Наварры, ряда других местностей и городов. Союзом с лигой Филипп II

пытался достигнуть того, чего не удалось добиться Карлу V, — превращения Франции в вассала и инструмент гегемонистской политики испанского двора. Гизы, имеющие династические связи с шотландским королевским домом, вместе с тем предоставили теперь Филиппу II свободу рук в борьбе против Елизаветы. С 1585 по 1588 год Гизы получили от испанского короля свыше миллиона дукатов.

Генрих III, уstraшенный быстрым ростом влияния лиги, пытался ввести в восточные районы Франции отряды швейцарских и германских наемников, но Гизы сумели не допустить этого. Король уединился в Лувре, окружив себя новой охраной — 45 дворянами, преимущественно гасконцами, о чем читателю, вероятно, известно прежде всего из популярного романа А. Дюма «Сорок пять». Екатерина Медичи весной и в начале лета 1585 года постаралась достигнуть соглашения с вождями лиги (о ходе этих переговоров дон Мендосу регулярно информировал его тайный агент — личный лекарь короля Франсуа Мирон)⁸. 7 июля в Немуре был заключен договор между Екатериной и главами Католической лиги. Он был уже на другой день ратифицирован Генрихом III. Немурский договор являлся полной капитуляцией короны перед требованиями лиги. Он предусматривал отмену всех прежних королевских эдиктов, содержащих уступки гугенотам, запрещал исповедование во Франции любой другой религии, кроме католической; все протестантские священники должны были в течение месяца покинуть пределы страны, «еретикам» запрещалось занимать любые общественные должности. По одной из статей договора все королевские подданные в течение полугода должны были объявить о своей приверженности католицизму или быть изгнанными из страны. Захваченные гугенотские крепости, включая Верден, должны были быть переданы Гизам и их сторонникам. Казалось, чего могли еще желать в Эскуриале? Генрих III всячески стремился добиться от Филиппа II одобрения договора. В беседе с доном Мендосой король говорил, что «такое святое и справедливое» соглашение приведет и к сближению обоих королевств. В действительности дело обстояло иначе.

Немурский договор содержал, хотя и выраженное в крайне осторожной и ненавязчивой форме, обещание Гиза порвать соглашения, заключенные с иностранцами. Вдобавок герцог Гиз, заключая договор, не уведомил об этом предварительно испанский двор и не испросил его согла-

сия. Дон Мендоса, пересылая Филиппу II копию Немурского договора, писал, что «действия лигеров были продиктованы скорее их собственными интересами, чем религиозным рвением»⁹. Филипп стал даже опасаться, что Генрих III и Гизы, одержав объединенными усилиями победу над Генрихом Наваррским, сделаются слишком сильными по отношению к Испании. Иначе говоря, полное сокрушение гугенотской ереси во Франции может пойти вразрез с мечтами о создании вселенской монархии с центром в Мадриде. Вероятно, именно это обстоятельство трезво учел только что избранный папа Сикст V, ненавидевший и боявшийся испанцев. Не доверяя Гизам, папа тем не менее решительно одобрил договор и в сентябре 1585 года издал буллу, в которой главы гугенотов Генрих Наваррский и принц Конде отлучались от церкви как лица повторно, после раскаяния, впавшие в ересь, и объявлялись лишенными прав на наследование престола.

К концу 80-х годов Генрих III, казалось, совершенно утратил волю к управлению государством. Окруженный любимцами и сворами охотничьих собак, он коротал время в развлечениях и в удовлетворении пороков, что подробно доводилось его врагами до сведения парижского населения. Пытаясь укрепить свое положение, король решил опереться на вождя гугенотов Генриха Наваррского, ставшего после смерти младшего брата короля наследником престола.

Генрих III имел своего агента в руководстве лиги — некоего Николая Пулэна, одного из наиболее важных должностных лиц Парижа, имевшего доступ ко всем секретам сторонников Гизов. Когда в марте 1588 года лига начала подготовку к восстанию, Пулэн немедленно известил об этом короля. Но Генрих отказался поверить этому сообщению, тем более что какой-то его приближенный сумел убедить короля, что Пулэн в действительности является шпионом Генриха Наваррского, который хотел бы такого рода информацией внести раскол между короной и лигой...

Еще ранее, в начале 1588 года, лига передала королю своего рода ультиматум — так называемые «11 статей», принятые в Нанси и являвшиеся условиями, на которых она соглашалась сохранить в силе Немурский договор, то есть союз с королем. Лига настаивала на том, чтобы король более открыто и недвусмысленно солидаризировался с ее целью — искоренением ереси, чтобы он

удалил из Государственного совета лиц, склонных покровительствовать гугенотам, опубликовал и предписал ввести в действие на территории Франции постановления Тридентского собора, учредил в Париже и во всех провинциальных центрах инквизицию, обложил особым налогом в размере трети имущества тех лиц, которые были когда-либо, начиная с 1560 года, протестантами, и использовал полученные средства для ведения войны против врагов веры. Далее требовалось, чтобы была конфискована и распродана собственность лиц, упорствующих в ереси, чтобы были преданы смерти все военнопленные, не желающие вернуться в лоно католицизма, и т. д.

За кулисами действия лигеров направлял испанский посол. Подготавливая выступление лиги, дон Мендоса пытался тем самым способствовать успеху Непобедимой армады, готовившейся к отплытию. 14 апреля 1588 г. посол писал Филиппу II: «Если предприятие, о котором идет речь, будет осуществлено так, как его планируют, руки короля (Генриха III. — Авт.) окажутся настолько связанными, что он не сможет ни словом, ни делом оказать помощь английской королеве. Из этих соображений я счел мудрым отложить осуществление данного проекта до момента, когда армада Вашего величества будет готова к отплытию»¹⁰. Армада двинулась в путь 9 мая, а через несколько дней разразились бурные события во французской столице.

15 мая 1588 г. Париж покрылся баррикадами — в первый раз в своей истории. Потом парижане не раз будут сражаться на баррикадах под знаменем революции. Но это будет позже, а в «день баррикад» в 1588 году столичное население поднялось против короля Генриха III по подстрекательству иезуитов, по наущению главарей Католической лиги — во имя борьбы за беспощадное искоренение гугенотов. (Правда, некоторые западные историки считают «день баррикад» «неудавшейся революцией», напоминающей Великую французскую революцию конца XVIII века¹¹.) Толпы парижан своей численностью быстро одолели королевских солдат. Швейцарцы из королевской гвардии поднимали вверх руки с четками, чтобы засвидетельствовать свою принадлежность к католической церкви, — только так можно было избежать верной смерти. Король упросил кумира лигеров Генриха Гиза любыми уступками утихомирить жителей столицы, и пока герцог разъезжал по улицам, успокаивая им самим же вызванный бунт, Генрих III незаметно ускользнул из Парижа через

единственные оставшиеся незапертыми городские ворота. Генрих III не хотел превратиться в орудие Гиза, но, и бежав в Блуа, вынужден был первое время одобрять все, что предпринимала лига для искоренения протестантизма. Бегство Генриха III из Парижа спутало планы лигеров и сильно обеспокоило Филиппа II и его наместника в Нидерландах Александра Пармского. Иной была позиция папы Сикста V, выразившего неудовольствие малодушием французского короля, который, по мнению римского первосвященника, должен был бы вызвать к себе герцога Гиза, «отрубить ему голову и выбросить ее на улицу»¹², после чего, уверял папа, быстро воцарился бы порядок.

Как бы то ни было, Генрих не забыл совета, поданного ему из Рима. Правда, первоначально он действовал с крайней осторожностью. Достаточно осведомленный своими лазутчиками, король знал о роли испанского посла в организации мятежа лиги, союзницы Филиппа. Генрих приказал французскому послу в Мадриде письменно выразить протест против участия Мендосы в подготовке парижских событий. В ответ Филипп II не только не осудил дону Мендосу, но, напротив, высоко отозвался о его рвении в защите интересов католической религии и упрекал французского короля за отсутствие у него такой же преданности святому делу. Этот ответ был, по сути дела, формальным заявлением Филиппа о присвоенном им «праве» на вмешательство во внутренние дела Франции под предлогом защиты интересов лагеря контрреформации. Тем не менее Генрих III все же не рискнул пойти на открытый разрыв с Испанией.

«День баррикад» вызвал перегруппировку политических сил во Франции. Группа «политиков» значительно более откровенно и резко выступила против лиги, осознав растущую опасность ее действий для единства и независимости Франции. Армия короля и присоединившиеся к ней войска гугенотов осадили Париж. Генрих вызвал к себе в Блуа герцога Гиза и приказал своим телохранителям убить главу лигеров. В кармане герцога нашли его письмо Филиппу II, в котором указывалось: «Для ведения гражданской войны требуются ежемесячно 700 тысяч ливров»¹³. В свою очередь, лигеры подослали к Генриху III монаха-фанатика Жака Клемана. Доминиканец сумел добиться аудиенции у короля и нанес ему смертельный удар кинжалом. На другой день, 2 августа 1589 г., Генрих III скончался.

Как отмечал в своем дневнике осведомленный очевидец событий, проповедники подняли крик, что Клеман, принявший героическую смерть, «дабы спасти Францию от тирании этой собаки — Генриха Валуа, является длинным мучеником». Они объявляли умерщвление короля «великим деянием господним, чудом, ярким проявлением божественного провидения», доходили до того, что сравнивали его с великими таинствами воплощения и воскресения. Этот современник приводит и длинный ряд пропагандистских памфлетов, поспешно изданных по случаю столь достославного события: «Завещание Генриха Валуа», «Речь, произнесенная нашим святым отцом о суждениях брата Клемана», «Следы чудесного божественного решения в жалкой смерти Генриха Валуа», «Мученик брат Жак из Ордена святого Доминика», «Милостью божьей осуждение жестокого тирана», «Речь к французам по случаю смерти отлученного от церкви Генриха Валуа», «Тираноубийство» и т. д.¹⁴ Одним словом, изобилие, которому могла бы позавидовать и консервативная политическая пропаганда более позднего времени.

Законным преемником последнего представителя династии Валуа был Генрих Бурбон. «Скорее умереть тысячу раз» — такими словами выразила значительная часть французской католической знати свое несогласие на передачу престола королю-гугеноту¹⁵. В Риме с печалью восприняли известие о кончине Генриха III. Однако скорбь там порождалась не столько опасениями, что французский престол перейдет к еретiku Генриху Наваррскому, сколько тем, что Франция может быть передана лигерами в руки Филиппа II.

Престол первосвященника занимал с 1585 года энергичный Сикст V. Бывший пастух, пробравшийся на самую вершину церковной иерархии, с трудом переносил испанского короля, хотя, казалось бы, расстояние между Мадридом и Римом при сложности тогдашних коммуникаций должно было предохранять от таких бурных эмоций. И не эта ли полнота чувств в отношении Филиппа II побудила папу воскликнуть, узнав о казни Марии Стюарт по приказу Елизаветы: «О, счастливая королева, которая была сочтена достойной увидеть коронованную голову, падающую к ее ногам!» (Объясняя это, итальянский историк Г. Лети, живший во второй половине XVII в., ссылаясь на то, что у папы якобы была любовница-англичанка Энн Остон, которая состояла на службе в британской разведке и сумела расположить его к

Англии. Приводится также ссылка на то, что Сикст вообще терпеть не мог тратить деньги — он скупился даже на такое близкое его сердцу дело, как попытку извести римских разбойников, и объявленные им награды за поимку бандитов заставлял платить их родственников и земляков. Тем более не хотелось Сиксту давать субсидию Филиппу II на «английское дело». От одной мысли об этом папа, по словам испанского посла, перестал спать по ночам, бил посуду за столом и ругал непотребными словами слуг.)

Временами Сикст V даже открыто объявлял о намерении отлучить от церкви... Филиппа II. После отплытия армады в беседах с иностранными послами римский первосвященник был полон пессимизма, выражая уверенность, что испанская эскадра не добьется успеха. А когда пришло известие о поражении армады, папа поспешил отказать в выплате причитавшегося с него миллиона эскудо, ссылаясь на то, что эти деньги он обязался предоставить только в случае высадки испанских войск в Англии. «Я нашел его, — с прискорбием сообщал Филиппу II 26 сентября 1588 г. испанский посол граф Оливарес, — весьма прохладным в выражении удовлетворения, когда поступают хорошие вести из Испании, и не весьма опечаленным дурными известиями оттуда. Зависть к Вашему величеству и страх расстаться с деньгами более сильно воздействуют на него, чем интересы благоденствия церкви и ревностное стремление к уничтожению ереси во всем мире»¹⁶. Но даже не столько скупость в основном определяла позицию Сикста V, сколько именно зависть папства к могуществу Габсбургов и боязнь еще большего его возрастания.

Продолжало ли папство считать для себя выгодным сохранение Франции в качестве активной участницы конфронтации с протестантизмом? Когда речь шла о самой Франции, очевидно, что коренные интересы римского престола требовали сохранения ее католической, но не более того. Как только участие Франции в контрреформации в общеевропейском масштабе выливалось в содействие великодержавным планам Габсбургов, то дело менялось. Фактически папа, как и все остальные европейские монархи, был прямо заинтересован в недопущении испанской гегемонии. Недаром Сикст V стал горячим поборником доктрины равновесия сил. «Великим христианским монархам, — заявил папа венецианскому послу, — нужен противовес, так как, если один имеет преобладание,

для других создается риск, что им придется уступать во многих делах, когда он попросит об этом».

Правда, в начале своего правления Сикст, уступая испанскому нажиму и для поддержания католической партии во Франции, подтвердил отлучение лидера гугенотов Генриха Наваррского от церкви, объявил его еретиком, лишенным прав на французский престол. Однако вскоре то, что Генрих Наваррский был противником Филиппа II, стало для папы главным в отношении к руководителю гугенотской партии. Римский первосвященник стал явно строить расчеты на возвращение Генриха (во второй раз!) в католичество. (Напротив, Филиппа II как раз решительно не устраивала эта перспектива, он даже заранее объявил, что подобный шаг Генриха Наваррского будет чистым притворством и поэтому Испания в любых условиях будет сопротивляться всеми силами вступлению главы еретиков на французский престол.) Папа оказал любезный прием в Риме герцогу Люксембургскому — представителю той части французских католиков, которая приняла сторону Генриха Наваррского. Граф Оливарес резко протестовал, а Сикст V на одной аудиенции назвал представителя испанского короля «преступником, скандалистом». В ответ на требования Филиппа II извиниться папа разразился прямыми угрозами: «Его величество претендует на то, чтобы предписывать нам законы поведения! Пусть остерегается: мы его отлучим от церкви и поднимем против него народы Испании и других стран!»¹⁷.

Оливаресу пришлось уехать из Рима, но и Сикст V должен был осознать, что зашел слишком далеко, особенно когда новый испанский посол возобновил с удвоенной силой прежние претензии. Филипп II писал папе: «Ничего не удивило меня в большей степени, чем видеть Ваше святейшество дающим еретикам время пустить корни и даже не предписывающим католическим сторонникам Беарнца (Генриха IV. — Авт.) не поддерживать его. Церковь стоит накануне потери одной из своих дочерей; христианство на грани того, чтобы быть ввергнутым в пламя объединенными еретиками; Италии угрожает величайшая опасность, а мы в присутствии врага смотрим и мешкаем». Издевательски добавляя слова о своей преданности папе, испанский король писал в заключение: «Однако чем больше моя преданность, тем менее я готов согласиться на неисполнение Вами Вашего долга по отношению к богу и церкви, которые наделили Вас средствами для действия. Рискуя быть докучливым и неприятным

Вашему святейшеству, я буду настаивать на том, чтобы Вы взялись за выполнение этого дела».

Испанские войска стояли в Милане и Неаполе — волей-неволей папе пришлось рекомендовать герцогу Люксембургскому покинуть Рим, а самому пойти в июле 1590 года на заключение союза с Испанией. Через месяц, 27 августа, Сикст V скончался. Ходили слухи, что он был отравлен иезуитами, недовольными явным отсутствием у папы рвения в деле контрреформации. Иезуитов, по тем же слухам, подстрекали агенты Филиппа II. «Эти испанцы убивают меня», — сказал папа за две недели до смерти венецианскому послу. Имел ли Сикст V в виду только словесные баталии с испанским послом?

После смерти Сикста V политика римского престола снова сделала зигзаг в сторону Испании. Филипп II решил прямо вмешаться в выборы нового папы, используя то обстоятельство, что многие кардиналы имели земли в испанских владениях в Италии или просто получали пенсии от мадридского правительства. Три раза подряд испанской дипломатии удавалось добиваться избрания удобного ей папы. После кратковременного правления Урбана VII пост первосвященника перешел к Григорию XIV, который потребовал от французских кардиналов решительно порвать с королем-еретиком и обратился с призывом к французскому дворянству не оказывать поддержки Генриху IV. Более того, во Францию был направлен папский нунций Ландриано, чтобы отлучить Генриха IV от церкви, а также небольшая армия под командой племянника Григория XIV — на помощь Католической лиге. Со своей стороны, Генрих IV демонстративно объявлял о своем намерении оказывать поддержку католической религии и вместе с тем подчеркивал, что папа выступает союзником врагов Франции — Филиппа II, герцогов Савойского и Лотарингского, стремящихся расчленить страну¹⁸.

После кончины Григория XIV, а затем и его преемника Иннокентия IX (соответственно в 1591 и 1592 гг.) политический курс Рима вновь претерпел существенные изменения. На конклаве в январе 1592 года противники испанской кандидатуры одержали верх. Новый папа Климент VIII в сентябре 1595 года дал отпущение грехов Генриху Наваррскому, ставшему французским королем Генрихом IV, и признал его законным главой Франции. Отвечая испанскому послу, отговаривавшему его от этого

шага, Климент заметил: «Небо радуется более одному покаявшемуся грешнику, чем тысяче праведников»¹⁹. Вопреки позиции Филиппа в Риме явно не собирались отождествлять испанские интересы с интересами папства и католической церкви. Испанский губернатор Милана писал осенью 1597 года Филиппу II, что папа «недоволен могуществом королевства Испании» и что он «по своей природе имеет пристрастие к Франции, так как любит Беарнца как родного сына»²⁰.

В самой Франции единственным шансом лигеров стало прямое вмешательство испанских войск из Фландрии. Вместе с тем, как писал один английский наблюдатель в Венеции, «если испанский король не сможет найти средства, чтобы вновь поставить на ноги остатки фракции Гизов во Франции, то, по общему мнению, его дела примут весьма дурной оборот»²¹.

Вечно сомневавшийся во всех Филипп II уже не вполне доверял и своему наместнику в Нидерландах Александру Фарнезе, герцогу Пармскому, возвратившему под власть Мадрида половину восставших провинций. Елизавета I не раз настойчиво предлагала герцогу Пармскому стать независимым государем Нидерландов, но натолкнулась на отказ²². Однако сами эти предложения могли лишь усилить подозрения Филиппа II, которые возникали у него часто и без такого серьезного повода. Александр Фарнезе считал безумием посылать армию в разгар войны с голландцами на юг Франции. 4 августа 1590 г. Филипп направил Фарнезе едва ли не самое эмоциональное в истории своей переписки письмо, в котором содержался приказ: «Вы знаете, чего я желаю. Я открыл Вам свое сердце. Чтобы удовлетворить меня, Вы должны двинуться во Францию, и Вы убедитесь, насколько я буду благодарен»²³.

В августе 1590 года армия Александра Пармского начала из Фландрии поход на юг, к Парижу, который находился в руках Католической лиги и был осажден войсками Генриха IV. Испанским войскам, руководимым лучшим полководцем того времени, удалось принудить Генриха снять осаду французской столицы. В 1591 году в Париж вошли испанские войска, точнее — 4 тысячи германских и 6 тысяч швейцарских наемников. Несколько тысяч испанцев помогали лигерам обосноваться в Бретани. Они вели наступление в Провансе и Дофине, Лангедоке и Берри. Сам Александр Пармский спешно вернулся во Фландрию для продолжения войны против голландских

штатов. Однако испанская интервенция так и не приобрела те масштабы, при которых она смогла бы определить исход войны. (Отметим, что как раз в это время — с 1590 по 1592 г. — резервы, которыми обладал Филипп II, были использованы для подавления восстания в Арагоне.) Генрих IV, отступив от Парижа, теперь постарался перерезать пути снабжения столицы. Особое значение приобрела в этой связи борьба за окруженный его войсками Руан. Потребовалось новое вторжение войск Александра Фарнезе в марте 1592 года, чтобы предотвратить сдачу Руана. Но это был последний успех испанцев. Уже в июне Александр Фарнезе должен был начать отступление. Некоторые из его союзников-лигеров тайно вели переговоры с Генрихом IV²⁴. На обратном пути во Фландрию в декабре 1592 года Александр Пармский скончался от раны, полученной в одном из сражений.

Испанские действия в отношении Нидерландов, Франции и Англии оказались теснейшим образом взаимосвязанными. Филипп II был убежден, что от успеха или неудачи в подавлении голландских «мятежников-кальвинистов» будут зависеть судьбы всей его политики или даже будущее христианского мира. Постепенно стало очевидным, что победы в Нидерландах нельзя достигнуть, не лишив их английской и французской помощи. А этого, в свою очередь, нельзя было добиться без торжества воинствующей католической происпанской партии во Франции и в Англии. Однако вмешательство во внутреннюю борьбу в этих странах довольно скоро превратилось из средства подавления Нидерландской революции в самоцель, точнее — в орудие утверждения испанской гегемонии под предлогом заботы о восстановлении религиозного единства и спокойствия всего западного христианства. Пожалуй, наиболее колоритной фигурой, олицетворявшей эту политику, и был уже знакомый нам дон Мендоса, посол Филиппа в Англии, а затем во Франции.

...Сменивший дону Мендосу новый испанский посол в Париже Фериа потребовал от Генеральных штатов (они были собраны в январе 1593 г. и состояли из делегатов от территорий, контролировавшихся лигой) провозглашения дочери Филиппа II королевой Франции и отмены для этого салического закона, запрещавшего женщине занятие престола. Фериа к тому же не скрывал, что инфанта выйдет замуж за эрцгерцога Альберта — брата и наследника императора Рудольфа Габсбурга. Это было слишком даже для самых рьяных лигеров. Притязания

Фериа встретили быстро нараставшее сопротивление. Не нашел сочувствия и другой его план, предусматривавший возведение на трон герцога Карла Гиза и его одновременно женитьбу на инфанте. Было очевидно, что все предложения Фериа сводились к подчинению Франции могущественной испанской державе. Чувствуя ослабление своего влияния, Фериа безуспешно пытался силой установить власть испанцев в Париже. Дело дошло до того, что лигеры открыто выражали радость по поводу поражения, которое потерпел испанский отряд в столкновении с войсками Генриха IV²⁵. Ряды сторонников лиги начали редеть, особенно после того, как Генрих IV в июле 1593 года вновь принял католичество. Исход военных действий вокруг Руана решил, по существу, вопрос об испанской кандидатуре на французский престол. Эта кандидатура могла пройти только при вооруженной поддержке, которой теперь лишилась²⁶. Правда, испанцы не сразу примирились с поражением.

После убийства Генриха III «политики» во все большем числе присоединялись к Генриху Наваррскому; некоторые из них готовы были видеть его на престоле и в случае, если он сохранит свою веру, поскольку он постарается любыми средствами положить конец религиозным распрям. Однако для победы Генриху пришлось перейти в католичество, хотя, возможно, он никогда и не произносил знаменитую фразу «Париж стоит обедни». Смена религии, впрочем, ничуть не изменила нравы короля: про Генриха, который как-то раз завел интрижку с настоятельницами двух монастырей, острили, что он «спит с богородицей и сделал рогиносцем господа бога».

Смена религии Генрихом IV вызвала первоначально резкое осуждение со стороны Елизаветы, но не прекратила поддержки Англией французского короля²⁷.

Через полгода после перехода Генриха в католичество Париж открыл ему ворота. Победа Генриха была торжеством «политиков», программу которых он вполне разделял. Победа была столь полной и окончательной потому, что продолжение гражданских войн вступило в противоречие с коренными интересами не только крестьянства и горожан, жестоко страдавших и доведенных до отчаяния хозяйственным разорением страны, но и основной массы дворянства, напуганного призраком новой Жакерии.

Максимилиан де Бегюн, герцог Сюлли (1559—1641), сподвижник Генриха IV в годы гражданских войн, хотя и советовал своему повелителю перейти в католичество,

сам остался гугенотом. Это не помешало Генриху назначить Сюлли своим главным министром. Министр-кальвинист при короле-католике — подобная ситуация противоречила нормам и психологии векового конфликта. Сюлли — активный сторонник партии «политиков» — считал веротерпимость необходимым условием для укрепления абсолютной монархии. В создавшихся условиях Генриху IV оставалось сделать лишь немного — уступками и подачками поодиночке перетянуть на свою сторону наиболее влиятельных вельмож католической партии. Сторонники продолжения гражданских войн и участия Франции в вековом конфликте, представители общеевропейской контрреформации, прежде всего иезуиты, лишились своей массовой базы (точнее, поддержку потеряла их политическая программа, хотя сами они сохраняли значительную часть своего влияния).

17 января 1595 г. Франция официально объявила войну Испании. В декларации, изданной по этому поводу, Генрих IV обвинял Филиппа II в том, что тот «под предлогом благочестия» стремится отвратить французов от преданности их законным монархам и завладеть французской короной²⁸. Иначе говоря, испанскому королю фактически бросалось обвинение в том, что он использовал вековой конфликт как прикрытие планов захвата чужих владений. В сентябре 1595 года папа Климент VIII, как уже говорилось, снял с Генриха отлучение от церкви. Подлинная суть лиги, прикрывавшейся фразеологией контрреформации, становилась все более очевидной для ревностных католиков. Намекая на лотарингский крест, служивший символом лиги, поэт Пассера восклицал:

Скажите мне, что это значит,
Что у лигеров двойной крест?
Это означает, что лига
Распинает Христа еще раз!

Гражданская война продолжалась еще некоторое время, но испанская интервенция повсеместно наталкивалась на отчаянное сопротивление. Испанских ресурсов хватало на то, чтобы устанавливать контроль лишь над пограничными или прибрежными районами, да и то он оказывался непрочным. В 1596 году испанцы вынуждены были очистить Тулузу и Марсель. В апреле того же года испанцы неожиданным ударом захватили Кале, но Филипп оказался не в состоянии использовать для войны против Англии попавший наконец в его руки один из портов в проливах Ла-Манш и

Па-де-Кале. В 1597 году испанские войска овладели Амьеном, но сумели удержать его только шесть месяцев. Незадолго до своей смерти Филипп II вынужден был заключить мир с Францией. 40 лет потребовалось ему, чтобы осознать невозможность победы. Вервенский договор, подписанный 2 мая 1598 г., сохранял границы в том виде, в каком они были зафиксированы Като-Камбрезийским договором в 1559 году²⁹.

Вместе с тем немалое число французов настолько привыкло за десятилетия и к внешним, и к гражданским войнам, проходившим в русле векового конфликта, что считало их неизбежными и опасалось их окончания. Герцог Карл Ангулемский вспоминал, что весной 1598 года были слышны громкие голоса противников мира. Они твердили, что подобно тому, как Като-Камбрезийский договор, оставив без дела многих людей, положил начало гражданским войнам, так и предполагаемый мир с Испанией послужит сигналом к их возобновлению³⁰. Агриппа д'Обиньи, напротив, прославлял Вервенский мир в своей «Всемирной истории» и называл Генриха IV «триумфатором, оставшимся без врагов»³¹. Один из современников (Бельвер) восторженно уверял, что это был «самый выгодный мир из всех заключенных Францией за 500 лет»³². Но не стоит забывать, что в свое время Като-Камбрезийский договор считали крупным поражением французской политики. Трудно представить лучшее доказательство того, что от участия в вековом конфликте теряли обе враждующие стороны.

После заключения мира с Францией Испания в течение целых шести лет продолжала воевать с Англией. В 1602 году командующий военным флотом в испанских Нидерландах Федерико Спинола начал подготовку десанта в Англию. Предполагалось сначала захватить две гавани, в которые потом доставить войска и необходимое снаряжение. План не отличала реальная оценка соотношения сил на море. Прежде чем испанская эскадра вышла в море, она была разгромлена голландским флотом.

Наконец и в Мадриде стали постепенно осознать необходимость начать переговоры о мире с ненавистой английской королевой-еретичкой. Мадрид с самого начала намеревался связать заключение мира с требованием объявления полной веротерпимости в отношении английских католиков³³. При этом испанское правительство менее всего думало о применении того же принципа к собственным владениям, и всего через несколько лет, в 1609 году, наследник Филиппа II король Филипп III изгнал из Испании

всех оставшихся морисков (около 500 тысяч человек). Планы заключения мира по-прежнему рассматривались в Мадриде через призму целей, которые не удалось достигнуть военными средствами. Так, при обсуждении вопроса о мире с Англией, которое происходило между советниками испанского наместника в Южных Нидерландах эрцгерцога Альберта, было высказано такое убеждение: «После заключения подобного мира появится возможность ездить по всему королевству, и в случае смерти королевы (которая по законам природы вряд ли может быть отсрочена надолго) продвинуть наши дела наилучшим образом». Поэтому заключение мира будет «верным путем к утверждению там принца Австрийского дома» (т. е. из династии Габсбургов)³⁴. Напротив, противники мира ссылались на вероятность междоусобной борьбы в Англии после кончины Елизаветы и на то, что, сохраняя состояние войны, испанскому королю будет удобнее открыто вмешаться и выдвинуть свои притязания на британский престол. Мир оценивали с точки зрения того, насколько он может помочь в войне против голландцев, насколько велики шансы перетянуть Англию на сторону Испании в борьбе против Франции и т. д. Высказывалось даже мнение, что мир вреден для испанских интересов, поскольку он улучшит экономическое положение Англии, тогда как Мадрид будет по-прежнему истощать свои ресурсы в войне против голландских «мятежников»³⁵.

Истощение ресурсов действительно шло полным ходом. В 1547—1548 годах среднегодовые расходы Испании на ведение военных действий за пределами страны составляли примерно 2 миллиона флоринов, а в 1590—1598 годах — уже 9 миллионов. По подсчетам исследователей, Великая армада обошлась в 30 миллионов флоринов. Поддержка французской Католической лиги стоила испанской казне намного больше. В последнее десятилетие века испанское военное казначейство в Нидерландах, через которое производились ассигнования и на интервенцию во Франции, получило от Мадрида 90,7 миллиона флоринов³⁶. О том, какая часть из этой суммы шла во Францию, дают представление следующие данные: с августа 1590 по май 1591 года было получено около 4 миллионов флоринов, на войну во Франции было истрачено 3 миллиона, а в Нидерландах — менее миллиона³⁷. Ко времени смерти Филиппа II долги испанской короны оценивались в 100 миллионов дукатов (почти 300 миллионов флоринов) — совершенно фантастическая сумма для той эпохи, — и это не-

смотря на то, что король мог тратить бесчисленные миллионы, полученные от добычи благородных металлов в американских колониях. Со своей стороны, голландцы стали чеканить в больших количествах испанскую медную монету, которая по качеству превосходила выпускавшуюся самим мадридским правительством³⁸.

Кастильские кортесы еще в 1593 году, подавая петицию Филиппу II о выводе испанских войск из Франции и Нидерландов, не без прямой издевки добавляли, что, мол, это будет наиболее действенный способ наказания еретиков, отказывающихся принять святую католическую веру, — «пусть они будут прокляты, если сами того желают»³⁹. Знаменитый испанский писатель первой половины XVII века Франциско Кеведо (одно время занимавший пост министра финансов и хорошо знавший, во что обошлась его стране интервенция в Нидерландах) писал, что казнь вождей «мятежников» Эгмонта и Горна положила начало бесконечному кровопролитию: «В войнах, длящихся 60 лет и более, мы заплатили жертвой 2 миллионов людей за те две жизни, так как военные кампании и осады превратили Нидерланды в общую могилу Европы».

Вервенский мир и заключенный в 1604 году мир с Англией, казалось бы, развязали руки испанцам в войне против Нидерландов, но дело, однако, ограничилось лишь частичными успехами, которые дали возможность заключить в 1607 году перемирие, сохранявшееся до 1621 года. В результате победы Нидерландской революции, при всей ее незавершенности, создано было не просто еще одно независимое национальное государство. Возникло государство нового классового типа — буржуазное. Оно приобрело и новую форму — буржуазной республики. (Республика соединенных провинций была еще и новым видом республики по сравнению с известными прежде — средневековыми городами-республиками и Союзом швейцарских кантонов.)

На первом этапе конфликта ни одно из буржуазно-демократических движений в Европе не добились успеха. Тому причиной была не только мощь империи Карла V, но и возможность под флагом конфликта мобилизовать силы феодальной реакции. Сказалась и слабость передового лагеря, позволившая протестантским князьям захватить руководство в нем и, со своей стороны, участвовать в подавлении народных движений.

На втором этапе конфликта положение изменилось. Католический лагерь оказался не в состоянии воспрепятствовать победе Нидерландской революции.

Хотя напряженность военных столкновений и ослабла во второй половине 90-х годов XVI в., Испания, как и ряд других стран Западной Европы, переживала полосу глубокого социального и духовного кризиса. Один из приближенных герцога Альбы — Эстебан де Ибарра — писал королю в 1597 году: «Все находится в таком состоянии, что лишает всякого желания как-то действовать»⁴⁰. С первых лет нового столетия группа видных испанских экономистов стала отмечать истощение хозяйственных ресурсов Испании, упадок сельского хозяйства, ремесла и мануфактуры⁴¹. Договоры с Францией, Англией, Голландией подводили черту под планами создания вселенской габсбургской монархии с центром в Мадриде. Уходил в прошлое «золотой век» Испании. Новое, XVII столетие стало «золотым веком» Голландии.

...Хорошо известно, что в произведениях Сервантеса нашло широкое отражение противоборство Испании и Оттоманской империи, которое столь трагически повлияло на судьбу великого писателя. Этот конфликт для испанского населения означал прежде всего турецкие рейды на прибрежные районы, угон в рабство крестьян, рыбаков, матросов, многих тысяч мирных жителей, никак не участвовавших в военных действиях. В представлении соотечественников Сервантеса в конфронтации с турками Испания занимала оборонительную позицию. Вместе с тем Сервантес, уделявший столь большое внимание войне против турок, слабо откликнулся на растянувшуюся на целые десятилетия вооруженную борьбу Испании против Нидерландов, посылку армады против Англии, интервенцию во Франции, хотя эти события наложили тяжелый отпечаток на положение родины писателя и на его собственную жизнь. Однако не ошибаемся ли мы, полагая, что он коснулся лишь походя самой жгучей проблемы тогдашней испанской действительности, что она не нашла заметного отражения в его творчестве, и прежде всего в его бессмертном романе о рыцаре Печального Образа?

Трудно перечислить интерпретации «Дон Кихота» даже только крупными писателями почти за четыре столетия, прошедшие со времени создания великого романа. О нем писали выдающиеся представители романтизма и критического реализма прошлого и нашего веков, раскрывшие общечеловеческий пафос, гуманистическую устремленность великого творения испанского гения. Немало было и попыток отыскать якобы зашифрованный смысл романа. Его и поныне, по словам современного литературоведа,

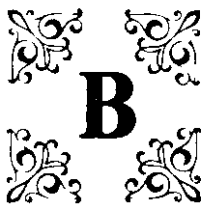
«рассекают в поисках возможных анаграмм, были обнаружены тайные коды, скрытые в нем, которые подобно столь многим околдованным лягушкам ждут своего превращения в царевны»⁴². Не вернее было бы обратиться к другой напрашивающейся аллегории, приходящей на ум при изучении вековых конфликтов, и увидеть в рыцаре Печального Образа воплощение самой современной Сервантесу Испании? Испании, возглавляющей лагерь воинствующей контрреформации, Испании — с роковым разрывом между представлениями ее правителей о своих возможностях, о непогрешимости своих планов и реальной действительностью, между уверенностью в том, что они выполняют волю самого провидения, и ожесточенной борьбой против неодолимых тенденций развития общества, против самой истории. И разве глубокая противоречивость образа Дон Кихота не отражала противоречивость подхода самого писателя к той роли, которую играла его страна на международной арене? (Вспомним хотя бы, с какой горечью он воспринял весть о судьбе Непобедимой армады в написанной им тогда оде «На гибель флота, посланного в Англию».)

Не будем здесь касаться того, насколько представления творца романа о рыцаре Дон Кихоте соответствовали подлинному лицу Испании. Достаточно сказать, что эти представления Сервантеса разделяли и испанские авторы, писавшие через столетия после появления его романа. «Была ли в новое время, — замечал один из них, — какая-либо другая страна, кроме Испании, которая вооружала бы корабли и провоцировала войны ради подобных целей (торжества католицизма. — Авт.) и в таких нелепых условиях? Гидальго из Ла-Манчи с его помятым шлемом и жалким копьём осмеливался сражаться с ветряными мельницами, дразнить львов»⁴³. Дон Кихот жил в созданном им мире иллюзий. Как справедливо замечает один из новейших исследователей, Дон Кихот, вообразивший, что действует во имя божье, полагал, что он должен сражаться «с мощными, хотя иногда невидимыми силами Зла, и это помогало ему воспринимать и переносить испытания во вновь и вновь повторяющихся поражениях»⁴⁴. Разве не подобное же мироощущение субъективно определяло многие действия Филиппа II? Конечно, утонченно-жестокому, мрачному изуверу в Эскуриале были абсолютно чужды те черты глубокой человечности, которые составляли самую глубинную основу бессмертного образа рыцаря из Ла-Манчи. И тем не менее именно в этом образе запечатлена роль, которая, по представлению Сервантеса, была сыграна его родиной в великой исторической драме,

развернувшейся на международной арене во второй половине XVI века.

В контексте эпохи явственно проступает смысл непрекращающегося спора благородного рыцаря Печального Образа и его верного оруженосца. Разве не высвечиваются скрытые стороны противостояния Дон Кихота и Санчо Пансы, если взглянуть на него через призму их страны, которая сама себя загнала в безжалостные тиски векового конфликта и в которой все яснее проступающие признаки хозяйственного оскудения находили отражение в застое, в деградации всех сфер общественной жизни? Ведь героическое безумие и народная житейская смекалка вели свой бесконечный диалог на каменистых дорогах Испании, изнемогавшей ради достижения несбыточной цели, столь же химеричной и призрачной, как иллюзорный мир рыцарских романов, которые свели с ума мечтателя из Ла-Манчи. Конечно, этот спор двух путников — олицетворение извечного противоборства поэзии и поэты, романтики и обыденности, возвышенного идеализма и не воспаряющего к небесам, но зато надежного здравого смысла, верной опоры в трудных обстоятельствах. И все же здесь не только столкновение полярных жизненных позиций, несхожих нравственных ориентиров, связанных с иными системами ценностей, но и воплощение той исторической альтернативы, перед которой стояли испанское государство и общество на рубеже XVI и XVII столетий, — в том виде, в каком она представлялась создателю бессмертного романа о рыцаре Дон-Кихоте.

Закат



условиях антагонистических классовых формаций общая прогрессивность позиции стран, противостоявших консервативному лагерю, не означала, что их военные цели носили только оборонительный характер, ограничивались защитой собственной независимости и в отдельных случаях — распространением собственной идеологии и политических порядков.

В годы ожесточенной борьбы у протестантов возникала, конечно, мысль о военном подавлении папской «гидры» в

самом ее центре. Агриппа д'Обиньи в своих «Трагических поэмах» призывал:

Давайте ринемся на легионы Рима,
На змей Италии! Как шел необоримо
Горевший мужеством суровый Ганнибал
И в Альпах путь пробил, и на врага напал.
Так устремляюсь я в огне и твердой вере
И семихолмных стен проламываю двери,
И повергаю я тот лжи оплот во прах,
Который цезарям внушает ложный страх.

Но эта цель не была реальной и никогда не становилась политической программой протестантского лагеря.

Однако к его реальным целям неизменно примешивались экспансионистские цели господствующих классов. Так, с конца XVI века голландцы, вызывая острую зависть у англичан, приступили к захвату испанских и особенно португальских колоний (которые после присоединения Португалии к Испании в 1580 г. находились под властью Мадрида) на Молуккских островах, в Индии, на Антильских островах, а в 1630 году вытеснили португальцев из Бразилии¹.

В целом в XVI веке протестантизм, постольку поскольку речь шла о межгосударственных отношениях, занимал оборонительную позицию. Его противник обладал превосходством в материальных и людских ресурсах. Однако это не значит, что протестантскому лагерю были чужды идеи «экспорта Реформации». И в этом протестантская сторона потерпела полную неудачу. Нигде протестантство не удалось распространить и утвердить с помощью вооруженной интервенции. Всюду — в большей части Германии, в Скандинавских странах, в Англии, Шотландии — утверждение Реформации было результатом внутреннего развития: облик, который она приобрела, был следствием соотношения социальных сил, политической борьбы внутри страны. Поэтому в странах, где восторжествовал протестантизм, утвердились различные направления реформированной церкви — от кальвинизма до англиканства, которое не без основания считали находящимся посередине между католицизмом и радикальными течениями в Реформации. Компромиссный характер носил и статус гугенотов во Франции, несмотря на поддержку, которую они получали от протестантских государств. Хотя бывший предводитель гугенотов Генрих IV занял престол, они добились не равенства с католиками, а только гарантии прав меньшинства. Однако вместе

с тем протестантское меньшинство сохранило свои позиции, и его последующее ослабление в XVII веке было связано уже с дезертирством дворянства из гугенотского лагеря.

Даже в Нидерландах разделение на семь северных кальвинистских провинций, образовавших Голландскую республику, и десять южных католических провинций отнюдь не было лишь следствием успехов в 1584—1585 годах войск Александра Пармского, возвратившего Филиппу II уже почти потерянную Фландрию. Сами эти успехи стали возможными в результате хода классово-борьбы во Фландрии, победы католической партии, остро соперничества между буржуазией северной и южной частей Нидерландов. Особую роль сыграла экономическая незаинтересованность северных провинций в освобождении своих торговых конкурентов — южных городов. Именно поэтому голландцы были озабочены только тем, чтобы стабилизировать линию фронта на границе между южными и центральными провинциями Нидерландов — и вполне преуспели в этом.

В результате векового конфликта удалось частично подавить протестантизм в габсбургских владениях. Уничтожение его слабых ростков в Польше, итальянских государствах и Испании было целиком результатом внутренней борьбы.

В вековом конфликте к концу XVI века, что совпадало с окончанием гражданских войн во Франции (можно было бы сказать также — с завершением второго этапа этого конфликта), бесспорно выигравшими оказались страны, которые сумели эффективно выйти из него, — елизаветинская Англия и Франция в правление Генриха IV. Правда, знаменитый французский историк Ж. Мишле делал акцент на другом. «Последствия мира в Вервене, — писал он, — были ужасающими. С отступлением Франции все было предоставлено воле волн. Европа вскоре вступила в продолжительную Варфоломеевскую ночь, именуемую Тридцатилетней войной, когда люди научились есть человеческое мясо»². Однако есть ли основания считать, что выход Франции из конфликта способствовал расширению, а не сужению его размаха? Выход из конфликта не значил, конечно, что и Англия, и Франция в определенной мере вновь не вовлекались в него (особенно это относится к Франции в период Тридцатилетней войны), притом даже обязательно на стороне того лагеря, к которому страна принадлежала по религиозному признаку.

Применяя к событиям прошлого термины, используемые для обозначения явлений нашего времени, цитированный выше Ф. Эрланже отмечал: «Вервенский мир, подписанный Генрихом IV и Филиппом II, привел к установлению таких отношений между двумя королевствами, какие мы называем «холодной войной». Франция тайно помогала врагам Австрийского дома, который, со своей стороны, использовал против нее подкуп, покушения и заговоры»³. Если уж использовать термин «холодная война», то не только применительно к франко-испанским отношениям, но и к положению во всей Западной и Центральной Европе в начале XVII века.

Французский историк А. Дюпрон так характеризовал идейную конфронтацию того времени: «Кроме столкновения доктрин, бесконечных споров и ядовитых оскорблений, настолько же пышных, насколько и непристойных, насыщенность эсхатологических* образов вызывает в коллективном разуме противников идею вечного проклятия, граничащую с идеей необходимости физического истребления. Римская церковь — вавилонская блудница (Babylonische hur), католические священники — жрецы Ваала (Baal Phaffen), а со славой восседающий на своем престоле папа — антихрист. Такое изображение библейского предсказания о последних днях мира стало в конце концов обычным для кальвинистских кругов прирейнских стран первых десятилетий XVII века. Со стороны ортодоксальных католиков картины не менее экспрессивны: чума, яд, змея, проклятия, иногда весьма плохо пахнущие». Остались лишь непримиримость и «память о вековой борьбе»⁴.

Надо заметить, что каждый лагерь (а нередко и страны, стоявшие вне конфликта) был заинтересован в таких столкновениях внутри другого лагеря, которые подрывали позиции ведущей державы (или держав) — главной силы этого блока. Поэтому дипломатия Генриха IV, например, всячески пыталась уладить в 1606 и 1607 годах острый спор папы и Венеции, поскольку он усиливал позиции Габсбургов внутри католического лагеря.

Нельзя не учитывать также, что руководители католического лагеря нередко становились рабами собственной пропаганды. Так, Государственный совет в Мадриде в первые годы XVII века был всерьез, убежден, что в Англии установлен режим жесточайшего террора в отношении ка-

* Эсхатология — религиозно-мистическое представление о конце света и загробном мире.

толической части населения. На этой основе возникали планы вмешательства (даже тогда, когда подобная интервенция была невозможной, да и не соответствовала целям испанской политики)⁵, а иногда и проекты, ведущие к раздуванию настроений подозрительности в самой Испании. Английский эмигрант-иезуит Джозеф Кресуэл пытался дискредитировать соперников ордена в глазах испанского правительства ссылками на то, что, поскольку в Англии «имеется много тайных католиков, вероятно, здесь (в Мадриде. — Авт.) имеются тайные еретики»⁶. Такие искажения картины реального положения дел в большей мере возникали не без участия эмигрантов.

Вековой конфликт привел к усилению политического значения эмиграции. Спасаясь от преследований, французские гугеноты переселялись в Швейцарию, Англию, а позднее — в Голландию. В Нидерландах католики бежали из северных провинций в южные, занятые испанскими войсками, а протестанты — из южных в северные. Так же обстояло дело в Германии, где соседствовали протестантские и католические княжества. Англию в середине XVI века, во время правления Марии Тюдор, покидали протестанты, а на протяжении долгого правления Елизаветы — католики. Одновременно в Англии стремились укрыться от инквизиции беглецы из Италии, Португалии и даже Испании.

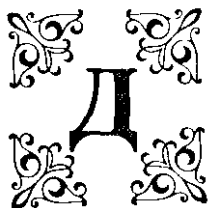
Английская эмиграция приобрела определенное влияние при дворе Филиппа II и испанских наместников в Нидерландах. Эмигранты поставляли кадры для испанской разведки, становились деятельными участниками заговоров с целью покушения на королеву Елизавету, всячески стараясь ускорить прямую конфронтацию между Испанией и Англией, а впоследствии — ставить всевозможные препоны любым попыткам окончания войны между двумя странами.

Особое значение имела эмиграция для поддержания связи лагеря контрреформации с католическим меньшинством в протестантских государствах. Большой объем разведывательной информации, поступавшей в Мадрид в конце XVI и первые годы XVII веков из Англии, служит показателем и разветвленности этих связей, и полезности их с точки зрения интересов и планов испанского двора. Стоит добавить, что очень многое в этих связях и поныне остается неизвестным. В бумагах одного из главных руководителей испанского шпионажа в эти годы — Хью Оуэна — имеется, например, туманная ссылка на «некоторые письма, полученные от различных лордов и многих других ведущих персон, которые дали обязательство предоставить

себя и свое состояние в распоряжение Его величества и Его светлости (т. е. испанского короля и его наместника в Южных Нидерландах. — Авт.), как только к тому представится возможность»⁷. Оуэн слов на ветер не бросал, а кто были эти «лорды» и «ведущие персоны», так и остается неразгаданным.

Заключение мирных договоров несколько не ослабило размаха тайной войны. Среди бесчисленных заговоров эпохи, имевших локальные и ограниченные по своему значению цели, выделяются те, успех или неуспех которых мог привести к коренному изменению в соотношении сил лагерей, столкнувшихся в вековом конфликте. Выше уже упоминались некоторые из таких заговоров, приобретающих международное значение. Другие из них относятся уже к годам после подписания мирных договоров Испании с ее двумя главными противниками и были направлены как раз против Англии и Франции, а не против продолжавших оставаться в состоянии войны с Испанией голландских «мятежников».

За спиной Равальяка



о заключения Вервенского мирного договора Испании с Францией в 1598 году и мирного договора с Англией в 1604 году контрреформация действовала открыто (в том числе и открыто заявляла о своем участии в тайной войне). Всеми имевшимися в ее распоряжении средствами она старалась помешать выходу Франции из

векового конфликта, добиться вовлечения Англии в католический лагерь. После мирных договоров откровенное прокламирование этих целей стало невозможным, а к их достижению приходилось стремиться только методами тайной войны.

Генриху IV приписывают слова о том, что он не верит в три вещи: в невинность Елизаветы I, именованной «королевой-девственницей», в полководческие таланты эрцгерцога Альберта, правителя испанских Нидерландов,

и в то, что преемник короля Филиппа II — Филипп III — является добрым католиком. Действия главных сил контрреформации стали приобретать характер уклончивой неопределенности. Наиболее крайний лагерь — Габсбурги, папство, иезуитский орден — по-прежнему ставил непосредственной целью устранение Генриха IV, свержение Якова I, вступившего в 1603 году после смерти Елизаветы I на английский престол. А может быть, контрреформация примирилась, хотя бы временно, с создавшейся реальностью (известны даже ее намерения наладить какие-то формы сотрудничества с французским и английским дворами), но и не оставляя совсем планов продолжения конфликта в других частях Европы, и прежде всего в Германии.

Историки так и не дали однозначного ответа на этот вопрос. Причем не только потому, что либеральные и протестантские авторы прошлого века были пристрастны, несправедливы к католическому лагерю. И не потому, что клерикальные, особенно иезуитские, исследователи обшарили архивы Мадрида, Рима, Брюсселя и Вены, пытаясь доказать голубиную чистоту намерений габсбургских держав и римского престола, точнее, их голубиное миролюбие. Дело во внутренней двусмысленности самой политики этих держав, в ее многоликости, связанной с воздействием противоречивых импульсов. Поэтому официальная дипломатия расходилась с дипломатией тайной, да и цели последней оказывались часто неясными и расплывчатыми. Одновременно в контригру противников католического лагеря входило порой намеренное приписывание ему самых агрессивных намерений (которые в любом случае было бы невыгодно раскрыть).

В числе сил, не признававших даже временных перерывов в борьбе, были иезуиты. И не случайно уже с 80-х годов прочно вошли в арсенал «Общества Иисуса» политические убийства. В мае 1582 года агент иезуитов Жан Хаурегви совершил неудачное покушение на Вильгельма Оранского. 10 июля 1584 г. другой агент иезуитов — Бальтазар Жерар — смертельно ранил лидера нидерландских повстанцев. В 1595 году воспитанник иезуитов Питер Панне собирался убить сына Вильгельма принца Мориса Оранского, который принял командование нидерландскими войсками (иезуитский агент был схвачен еще до того, как приступил к выполнению своего замысла). Это лишь отдельные примеры тактики ордена, пытавшегося также организовывать подобные покушения

на Елизавету и на других государственных деятелей разных стран.

Пожалуй, наиболее показательным было отношение иезуитов к Генриху IV. Папа, как уже отмечалось, довольно скоро признал его, и сам Филипп II вынужден был сделать то же в 1598 году. Иезуиты должны были последовать примеру римского престола, но только внешне. Их не устраивали в Генрихе прежде всего не его очевидная религиозная индифферентность и даже не провозглашение им в Нантском эдикте 1598 года принципа веротерпимости. Иезуиты не могли допустить выхода Франции из векового конфликта, ее возвращения на путь борьбы против испанских и австрийских Габсбургов, что ранее, в первой половине XVI века, — по мнению «Общества Иисуса» — не дало возможности удушить Реформацию в колыбели. Временно пойти на мир с Генрихом IV могли Габсбурги, но не иезуиты. Орден нередко выступал большим поборником интересов Габсбургов, чем сами правительства Мадрида и Вены. А пребывание Генриха IV на французском престоле было несовместимо с целями иезуитов. Много или мало уступок получили бывшие гугенотские соратники Беарнца — не в этом дело. Главное заключалось в том, что при Генрихе IV Франция не просто исключалась из участников католического лагеря, она заведомо находилась в рядах его противников — вне зависимости от того, подкреплялось это или нет какими-либо договорами с протестантскими государствами. Поэтому иезуитские покушения на Генриха — не просто следствие католического фанатизма, как представлялось некоторым либеральным историкам. Это не было и плодом печального недоразумения, запоздалым отзвуком недавно окончившихся гражданских войн, как это изображали некоторые католические историки, пытавшиеся оправдать роль иезуитов в борьбе против «великого короля», имя которого в XIX веке стало знаменем французских роялистов. Речь шла не о религиозных войнах во Франции, являвшихся уже прошедшим этапом векового конфликта, а о его предстоящей третьей стадии, которую упорно, несмотря на все зигзаги в своей политической линии, готовило «Общество Иисуса».

Не менее 19 раз совершались покушения на жизнь Генриха IV. В него метили направляемые иезуитами кинжал и пуля. 27 декабря 1595 г. к королю, принимавшему придворных, подбежал какой-то неизвестный и попытался сразить ударом ножа в грудь. Убийца промах-

нулся — Генрих как раз в эту минуту наклонился, лезвие скользнуло по лицу и вышибло королю зуб. Покушавшийся Жан Шатель был орудием иезуитов — отцов Гиньяра и Гере. Гиньяра казнили, а иезуитов выгнали из Франции. Но через восемь лет, в 1604 году, Генрих вернул их во Францию и даже сделал одного из членов ордена — отца Коттона — своим духовником. Это лишь внешне примирило иезуитов с королем. Кому-кому, а им было отлично известно, что одновременно с переговорами о династических браках между Бурбонами и Габсбургами Генрих мобилизовывал все силы для противодействия мадридскому и венскому дворам — Англию, швейцарцев, немецких протестантских князей и голландских «мятежников». Если в какой-то момент орден и испытывал колебание — стоит ли продолжать с полной силой борьбу против бывшего еретика, занявшего французский престол, — то испанская политика, напротив, активизировалась. Испанский губернатор Милана граф Фуентес продолжал плести сети новых заговоров против Генриха IV. Он заявил в 1602 году агенту руководителя одного из таких заговоров маршала Бирона: «Первое дело — убить короля. Надо устроить это так, чтобы уничтожить всякие следы соучастия».

14 мая 1610 г., когда Генрих ехал в экипаже по узкой парижской улице, на подножку кареты вскочил коренастый мужчина и несколькими ударами кинжала смертельно ранил короля. Это был католический фанатик из Ангулема — города, сильно пострадавшего во время гражданских войн. Некоторые действия Жана-Франсуа Равальяка (так звали убийцу) напоминали поступки одержимого. Этот богатырского вида, тупой и мрачный детина с рыжей шевелюрой все время находился во власти религиозной экзальтации, был уверен в своей миссии осуществить божественное правосудие. Во время нередких галлюцинаций ему слышались трубные звуки, взывавшие к мести. Он жадно внимал проповедям, осуждавшим королевскую милость, оказываемую гугенотам; поглощал сочинения лигеров, объявлявшие святым делом убийство антихриста на троне. Вероятно, к Равальяку приглядывались заранее, понимая, что придурковатый малый может послужить отличным орудием в умелых руках. Теперь же, после покушения, судьям очень не хотелось искать соучастников убийцы. Равальяк даже на эшафоте твердил, что не имел сообщников, но это доказывает лишь то, что он сам верил, будто действовал в одиночку.

Неизвестно было, куда мог привести розыск. К бывшей фаворитке короля маркизе Верней? К могущественному герцогу д'Эпернону? К супруге короля Марии Медичи, ставшей теперь регентшей при малолетнем сыне — будущем Людовике XIII, или к ее любимцам — супругам Кончини? Короля пыталась предупредить некая Жаклин д'Эскоман, служившая у одной придворной дамы — любовницы герцога д'Эпернона. Ей помешал в этом иезуит отец Коттон. Впоследствии д'Эскоман утверждала, что Равальяк был связан с д'Эперноном и маркизой Верней, о нем знали и супруги Кончини. Пьер дю Жарден, именуемый капитаном Лагардом, бывший соучастник заговора маршала Бирона, утверждал, что Равальяк был агентом «испанского и иезуитского заговора», ставившего целью убийство Генриха IV. Хотя показания Жаклин д'Эскоман и капитана Лагарда могут оспариваться, многое говорит за то, что за спиной Равальяка действительно маячили фигуры могущественных лиц, разными нитями связанных с Испанией и «Обществом Иисуса»¹.

Остался без ответа вопрос, откуда Равальяк точно знал день, когда можно было нанести удар — конечно, после коронавания Марии Медичи. Покушение немисливо было совершить ни 15 мая во время охоты, ни 16 мая, когда было назначено торжественное вступление королевы в столицу, ни 17 мая, когда была назначена свадьба одного из виднейших представителей знати, ни 18 мая, когда должны были состояться празднества по этому случаю. Во все эти дни король был бы недосыгаем в окружении своей охраны и придворных. А 19 мая он должен был уехать в армию, сконцентрированную на рубежах Франции. Оставался только один возможный для покушения день — 14 мая. И Равальяк не пропустил его. Равальяк проговорился, что он знал д'Эпернона, губернатора его родного города; что он ожидал коронавания королевы, прежде чем совершить покушение; что его уверили в желании народа избавиться от Генриха IV; что он помимо исповеди спрашивал еще и совета нескольких священников относительно убийства короля. (Эти беседы, кстати, священники не были обязаны держать в секрете, как тайну исповеди.) О том, что Шарлотта дю Тилле, хозяйка д'Эскоман, знала Равальяка и несколько раз давала ему денег на жизнь, известно благодаря донесениям венецианских разведчиков².

Стоит добавить, что и главный сподвижник Генриха IV герцог Сюлли, и позднее кардинал Ришелье прямо заявля-

ли, что король пал жертвой иностранного заговора. Фактом является то, что власти в Испании и ее владениях в мае ожидали со дня на день убийства Генриха и даже сообщали о нем в своей переписке раньше, чем оно произошло на деле³. Вряд ли это могло быть лишь случайным совпадением желаемого и действительного. Стоит добавить, что еще в прошлом веке исследователи перерыли архивы Испании и других габсбургских держав, пытаясь найти ключ к тайне. Архивы Брюсселя — столицы Южных (испанских, а позднее австрийских) — Нидерландов, — перевезенные в Вену, содержат зияющую лакуну с конца апреля по 1 июля 1610 г. Исчезли документы, относящиеся к этим месяцам, и в Турине, где хранились архивы испанских наместников в Северной Италии⁴.

Весной 1610 года под руководством Сюлли формировался артиллерийский парк для невиданной по тем масштабам, более чем 200-тысячной армии: полки подтягивались к границам Южных Нидерландов и испанских владений в Северной Италии. На вопрос испанского посла, против кого направлены французские вооружения, Генрих IV ответил почти неприкрытым вызовом⁵. Устранение Генриха IV, готовившегося к войне с Габсбургами, отвечало важнейшим интересам контрреформации, собиравшейся вновь разжечь вековой конфликт. «Я возношу хвалу богу, — писал один из министров эрцгерцогу Альберту, правителю испанских Нидерландов, — увидев Ваше высочество освобожденным от столь могущественного соседа... Особенно можно узреть провидение бога, который в подобных трудных положениях часто помогал светлейшему Австрийскому дому»⁶. Намек был достаточно прозрачным. Убийства Колиньи, Вильгельма Оранского, Генриха III были еще свежи в памяти.

Конец непристойности



опытки решения вековых конфликтов военным путем (с помощью длительных войн) усиливали значение идеологического фактора. Ведь войны прежде всего вовлекали народ в непосредственное соприкосновение с реальностями внешней политики, и это вызывало и усиление идеологического воздействия на массы как активных участников конфликта. Относительное военное равновесие сил требовало усиленной идеологической обработки населения, чтобы сохранять его готовность поддерживать участие страны в военном конфликте, поглощавшем все больше человеческих жертв и материальных ресурсов.

Атмосфера векового конфликта способствовала выработке в рамках консервативного лагеря самых реакционных утопий. Так, Пий IV заговаривал о возвращении к временам Григория VII (XI в.) и Иннокентия III (XIII в.) — расцвета могущества римского престола. В Риме мечтали о возобновлении крестовых походов¹. Другой пример, относящийся к 80-м годам XVI в. Глава британской провинции иезуитов Роберт Парсонс составил план будущего государственного устройства Англии после победы над ересью. Парламент сохранялся, но члены палаты общин должны были... назначаться католическими епископами. Те же, кому были не по нраву подобные порядки, должны были иметь дело с инквизицией. Впрочем, такие планы обычно держали про себя. Но и то, о чем говорилось и писалось открыто, было достаточно красноречивым. Так, в 1594 году за границами Англии вышло инспирированное Парсонсом анонимное сочинение «Обсуждение будущего престолонаследия», в котором при оценке прав возможных преемников Елизаветы прямо указывалось, что политическая лояльность католиков должна быть подчинена планам Рима и контролироваться через посредство ордена иезуитов².

В эпоху Возрождения менялись средневековые критерии справедливой и несправедливой войн. Для прогрессивных мыслителей, исходивших из интересов нарождаю-

щихся национальных государств, характерно проведение различия между этими двумя видами войн. Поборники же католической контрреформации цеплялись за старые разграничения и в связи с этим оправдывали вселенские притязания Рима и стремление Габсбургов к европейской гегемонии. В 1583 году ссылаясь на эти разграничения иезуиты убеждали Филиппа II в нравственной оправданности и законности их проекта испанского завоевания... Китая!³

В 80-е годы XVI в. видный идеолог контрреформации Джованни Ботеро, говоря о наступательных действиях в войне, доказывал, что такие действия — лучшая возможность для расширения государства, особенно в войне против турок. Но одновременно Ботеро полагал, что «военные предприятия — самое действенное средство занять народ... Мудрый государь может успокоить возмущенный народ, если поведет его на войну против внешнего врага»⁴.

В средние века понятие Европы вряд ли включало что-либо, за исключением его чисто географического значения, к тому же достаточно неопределенного. Понятие христианского мира не имело четко выраженных географических рамок, поскольку в него включали помимо христианских государств христианские общины и христиан за их границами, страны, некогда входившие в состав Римской империи. Однако постепенно, по мере того как вследствие продвижения турок пределы христианских стран все более ограничивались рамками Европы, это понятие становилось тождественным понятию христианского мира, часто встречающемуся в политической литературе. Вместе с тем Европа фигурировала здесь еще в религиозном наряде, и это сразу сказалось во время противоборства католичества и протестантизма. Трубадуры консервативного лагеря нередко отождествляли его идеологические цели, облеченные в религиозные одеяния, со всеобщими законами морали и лицемерно отвергали на этом основании требование подчинять политику государственным интересам⁵.

Теоретики контрреформации рассматривали все государства как части извечного мирового государства; приобретение фактической независимости его отдельными членами считалось злом, наказанием за первородный грех. Все государства, согласно этим теориям, должны подчиняться единой системе законодательства, базирующейся на вечных и божественных основах. Это позволя-

ло Риму отвергать в случае, если того требовала политическая выгода, реальные законы отдельных стран, отрицать вообще законность любых не католических правительств, запрещать поддерживать с ними дипломатические отношения. Д. Ботеро, обосновывая эту концепцию «светскими» доводами, писал: «По моему мнению, род человеческий может процветать больше всего, если весь мир будет подчинен одному-единственному монарху. Кроме того, что мир узрит огромное и почти бесконечное величие, приближающееся к божественному величию, подобная форма правления будет более длительной, более удобной и приятной, чем любая из существующих ныне». У такого государя не будет причин обременять подданных излишними налогами, и они будут жить в полном довольстве. Существование независимых государств для Ботеро — зло, «вроде чумы или бури», допускаемое богом в наказание за грехи. Равновесие сил, по мнению Ботеро, зловерная выдумка. При этом, стараясь дискредитировать эту идею, он использовал обычные демагогические приемы идеологов контрреформации, пытавшихся отождествить собственные интересы с интересами всей Европы и населявших ее народов и на этой основе даже оправдывавших убийство нечестивых монархов-еретиков как тиранов и врагов христианского мира. Ботеро прямо объявляет, что любое государство, кроме универсальной монархии, неизбежно становится орудием удовлетворения эгоистических интересов отдельных государей. В этой связи он уверял, что лица, «уделяющие столь много внимания равновесию сил, заботятся не об общем благе, не о благе христианства, не о благе рода человеческого; они не ставят даже целью особое благо того или иного государства и народа, а только интересы того или иного монарха»⁶. В борьбе за умы людей часто прибегали к маскировке своих намерений, что накладывало явный отпечаток на развитие идеологической конфронтации. Как отмечал Ф. Энгельс, первая форма буржуазного просвещения, «„гуманизм“ XV и XVI веков, в своем дальнейшем развитии превратился в католический иезуитизм»⁷.

Нахождение значительной части французского дворянства в рядах гугенотов усилило черты сходства совсем несходных по своей классовой природе лагерей. В посвящении к «Наставлению в христианской вере» Франциску I Кальвин называл королей земными богами, заместителями бога, однако в его сочинениях, прославлявшихся

за их строжайшую логичность, можно найти и прямо противоположные высказывания, оправдывающие неповиновение подданных и даже убийство тиранов, которые «не способствуют принятию их подданными истинной веры». В гугенотском трактате «Защита против тиранов» (1578 г.) политические взгляды Кальвина были истолкованы в смысле дозволенности свержения короля-тирана, нарушившего договор со своим подданным. Об этом же не переставали твердить и многие иезуитские авторы (и во Франции, и в других странах), разъяснявшие, что долгом народа является свержение монарха, отправшего от католической церкви. Жан Буше провозглашал: «Только одно условие ограничивает свободную волю народа, только одно ему воспрещено — приятие монарха-еретика, которое вызвало бы гнев божий». О том же толковали такие столпы ордена, как кардинал Роберто Беллармино, Николо Серрариус, Франциск Суарец, Мариана, об этом говорилось в тысячах проповедей и листках, в семинариях, тысячами различных способов во время религиозных войн во Франции, революции в Нидерландах; в Англии, когда она столкнулась с силами контрреформации, во всех странах и уголках Европы, затронутых вековым конфликтом. Иезуиты пытались использовать в своих целях передовую теорию естественного права и общественного договора, чтобы доказать «законность» свержения еретических монархов. А в ряде стран, причем не только протестантских, даже теория божественного права королей применялась для оправдания борьбы против вселенских притязаний лагеря контрреформации (недаром эту теорию официально одобрили республиканские правительства Нидерландов и Венеции, трактуя ее как теорию божественного происхождения всех правительств). Антигабсбургский лагерь начал приспособливать к своим целям и теорию равновесия сил.

Как указывалось выше, возрождение известной уже древним идеи «равновесия сил» относится к эпохе Возрождения — к концу XV и XVI столетиям. Она была еще не вполне знакома крупному государственному деятелю и государствоведу Филиппу Коммину, по крайней мере ему была чужда мысль о полезности такого равновесия. По Коммину, каждый большой народ и государство имеют свой особый противовес: «королевство Франции бог создал для противостояния англичанам», для Англии — шотландцев, для Испании — Португалию, для итальянских государей — города-республики, для Австрийского дома —

Баварию и т. д. «Каждый следит за тем, чтобы не усилился его партнер». В Италии еще в начале XV века венецианский государственный деятель Франческо Барбаро предлагал создать союз независимых итальянских республик, между которыми будет поддерживаться прочный баланс сил. Доктрина равновесия сил была выдвинута идеологами нарождающегося нового общества и национальных государств в противовес средневековому представлению о едином христианском мире, который подразумевал феодальную иерархию государств. Родственник правителя Флоренции Лоренцо Медичи — Бернардо Русселии — первым выразил это в отчетливой форме, когда отмечал, что мир в Италии сохранялся благодаря мудрости государственных мужей, заботящихся о поддержании сил⁸. В начале XVI века Гвиччардини писал в своей истории Италии (кн. I, гл. I): «Медичи (Лоренцо. — Авт.) понял вместе с флорентийцами, что следует противодействовать усилению основных государств Италии и поддерживать между ними справедливое равновесие». Макиавелли также подчеркивал, что международный порядок поддерживался столетиями в Италии без системы общего иерархического подчинения единому центру. «Некоторые из новых городов и государств, возникших на развалинах Рима, проявили столь большие способности, что, хотя ни одно из них не господствовало над другими, они тем не менее находились в такой гармонии и были столь хорошо увязаны друг с другом, что освободили Италию и защищали ее от варваров».

Превращение Италии в объект борьбы главных европейских держав породило представления о европейской политике как о проблемах равновесия в местном и международном масштабе. Вероятно, эта мысль отчасти была и результатом перенесения на сферу международных отношений давней идеи о необходимости поддерживать «баланс» сил между различными классами и социальными группами внутри итальянских государств, в особенности торговых республик Венеции и Флоренции.

В первые десятилетия XVI века идея равновесия сил находит уже преломление в сфере практической политики. Английский король Генрих VIII при своем свидании с французским королем Франциском I заявил, что от него, британского монарха, зависит поддержание равновесия между Францией и Карлом V. Об этом же говорили при объединении вокруг папы и Венеции так называемой Коньячной лиги в 1527 году. Поскольку Апеннинский

полуостров в XVI веке являлся объектом борьбы между двумя могущественными европейскими державами — Францией и Испанией, идея поддержания равновесия в Италии неизбежно перерастала в идею баланса сил в Европе, хотя сам термин «европейское равновесие» еще не вошел в употребление.

В годы гражданских войн во Франции, значительно ее ослабивших и соответственно усиливших испанских и австрийских Габсбургов, претендовавших на европейскую гегемонию, Жан Боден в своей «Республике» (1576 г.) попытался дать теоретическое обоснование доктрине равновесия. По мнению Бодена, следует воспрепятствовать достижению любым государем такого могущества, которое позволило бы ему навязывать свою волю как закон другим странам. Таким образом «безопасность монархов и республик основывается на взаимном уравнивании их сил».

Идеи «политиков» разделял гугенотский лагерь. Его представитель дю Плесси Морней в «Речи, обращенной к королю Генриху III, об ослаблении испанского могущества» (1584 г.) обосновывает теорию равновесия: «Государства считаются могущественными или слабыми, смотря по тому, являются ли соседние государства сильными или слабыми; если нескольким государствам удалось уравновесить свои силы, то должно поддерживать это равновесие, а иначе слабейшее государство уничтожается самым могущественным государством. Австрийский дом очень усилился и увеличил свою государственную территорию и политический авторитет. Франция же ослабила себя своими междоусобными войнами. Государственное благо Франции требует ослабления испанского могущества. Франции стоит только взять на себя инициативу в вопросе о войне, и тогда все остальные христианские государства, существующие только благодаря равновесию сил и подозрительно относящиеся к могуществу Испании, направят свои силы против чрезмерного честолюбия Австрийского дома»⁹.

В последние годы XVI века активный участник бурных политических событий во Франции Гаспар де Соль-Таван в своих мемуарах подробно анализирует политику различных европейских держав — Англии, Венеции, германских княжеств, опасавшихся создания «универсальной монархии» — все равно, под главенством Испании или Франции. Их политика поэтому была направлена на поддержку более

слабого из соперников (т. е. Франции), поскольку они видели «свое спасение в балансе сил и равенстве этих двух держав».

Подобные взгляды разделял и знаменитый английский философ и государственный деятель Фрэнсис Бэкон. В «Политических размышлениях относительно войны против Испании» Бэкон писал, что поддержание равновесия являлось целью трех держав — Англии, Франции и Испании. При усилении одной из них две другие соединяли свою мощь для восстановления баланса сил.

На протяжении всей первой половины XVII века французские авторы стремились использовать идею равновесия сил для осуждения угрозы испанской гегемонии в Европе. Усиление Испании должно быть, по их разъяснению, компенсировано ростом могущества Франции.

В конце XVI века венецианец Паоло Парута отмечал, что в начале этого столетия Республика святого Марка проводила политику равновесия сил между Францией и Испанией. Известный венецианский государственный деятель и ученый начала XVII века Паоло Сарпи считал, что отсутствие противовеса для Испании предоставляет ей свободу рук в европейской политике, инициативу в вопросах войны и мира. Поэтому целью венецианской политики Сарпи считал восстановление баланса сил. Если для этого окажется непригодной Франция, надо использовать еретиков — англичан, голландцев, немцев, швейцарцев, даже «неверных» турок¹⁰. Идея баланса сил исключала требование подчинения внешней политики государств интересам религии.

Цитированный выше американский историк Боусма справедливо замечает, что «за новыми ересями лютеранства и протестантизма таились еще более опасные враги, о существовании которых католическим верхам было отлично известно. И курия (папская. — Авт.) в конечном счете была менее озабочена тем, чтобы подавить протестантизм (преходящую угрозу), чем тем, чтобы воспрепятствовать характерному для эпохи возрастанию политического партикуляризма, централизовать церковное управление, которое почти повсеместно переходило на основы федерализма и автономии, подчинить чрезмерно самоуверенных мирян власти духовенства, положить конец опасной свободе художественной и духовной культуры, обновить иерархической и философской концепцией притязания церкви на контроль над многообразными формами активности христианского мира, короче говоря — приоста-

новить все те процессы развития, которые историками принято связывать с Возрождением»¹¹.

Контрреформация, по существу, восставала против всего прогрессивного развития общества в эпоху Возрождения, она была — особенно в Италии — и контрренессансом.

Атмосфера векового конфликта пронизывала всю идеологию эпохи, литературу, искусство. Католическая церковь стремилась даже подчинить искусство борьбе против протестантизма, выступавшего врагом пышных храмов и обрядов. Католицизм сознательно пытался создать величественные здания, являвшиеся как бы местом земного обитания господ, воплощением на земле небесной красоты рая¹².

Андреа Джилио да Фабриано в трактате, опубликованном в 1564 году, требовал положить конец непристойности в искусстве. Он обличал художников за то, что они, обращаясь к священным темам, рисуют обнаженное тело, вместо того чтобы изображать его облаченным в пристойные одежды. В трактате утверждалось, что необходимо вернуться к иконографическим традициям поколения до Микеланджело с учетом, однако, всех технических улучшений последних лет¹³.

Даже разработку нового («григорианского») календаря, содержащего множество астрономических расчетов, связывали с вековым конфликтом. Ее проводили в глубокой тайне. Когда календарь торжественно обнародовали, римский папа объявил это доказательством неисчерпаемой милости божьей к церкви¹⁴. Впрочем, изучение астрономических явлений оказалось и иными путями связанным с главной политической проблемой эпохи.

Быть может, астрологию следует назвать неофициальной «наукой» векового конфликта, не признанной религиозными доктринами, которые являлись идеологией обоих враждующих лагерей. По крайней мере на время конфликта приходится расцвет, точнее, широкое распространение астрологии, которая еще в начале XVI века явно теряла доверие¹⁵. Именно со времени развертывания конфликта вошло в обычай предсказание исторических событий. И наконец, звезда астрологии закатывается уже при жизни первого же поколения, выросшего после окончания конфликта. Вряд ли случайно это многозначительное совпадение.

В 1588 году в Европе ожидали исполнения пророчества математика из далекого Кенигсберга, занимавшегося и

астрологией, Иоганна Мюллера (во Франции его имя и фамилия произносились как Жан де Мон-Ройаль), известного также под своим латинизированным прозвищем Региомонтанус. Этот, умерший еще за 100 лет до этого, в 1476 году, ученый уверял, будто наиболее важные события после смерти Христа происходят через определенные промежутки времени и что такие циклы, понятное дело, связаны с движением звезд. Протестантский теолог, один из вождей Реформации, Филипп Меланхтон заметил, что предшествующий цикл закончился в 1518 году, когда папа осудил Лютера, что за сим последуют 70 лет — время вавилонского пленения, о котором повествует Библия. Так что в 1588 году следует ожидать осуществления пророчества апокалипсиса — будет сломана седьмая печать, ниспровержен антихрист и настанет время Страшного суда. Немудрено, что в Мадриде сочли такое пророчество особенно неудобным в месяцы, когда заканчивалась подготовка Непобедимой армады. Там были готовы приписать дурному влиянию пророчества и усилившееся дезертирство матросов, и затруднения, с которыми встречались вербовщики солдат в армию. Филипп II приказал бросить в тюрьму астрологов и читать во всех церквах проповеди, осуждающие как колдовство всякие нечестивые предсказания. А в Риме один из руководителей английской католической эмиграции — Уильям Аллен — счел нужным уведомить папу, что на Британских островах была найдена старинная надпись, которая воспроизводит предсказания Региомонтануса и которая — по мнению Аллена — была сделана в древности волшебником Мерлином.

Неспокойны были по части толкования предсказания и при дворе Елизаветы. Придворный астролог доктор Ди пришел к убеждению, что второе затмение луны в 1588 году может предвещать кончину королевы. Тайный совет строго запретил публикацию столь опасного вывода из проведенных исследований. Но предсказания Региомонтануса не удалось замолчать, и пришлось по распоряжению правительства издавать памфлеты с целью опровержения домыслов кенигсбергского математика¹⁶.

О том, насколько астрологические домыслы накладывали отпечаток на политические теории эпохи, дают представление сочинения австрийца Айтцинга — католика, эмигрировавшего из Антверпена после начала Нидерландской революции в Кёльн, и едва ли не первого в Европе, наладившего регулярную публикацию новостей. В своих исторических сочинениях Айтцинг пытался представить

ход противоборства контрреформации и протестантизма как смену циклов войны и мира, которых он насчитал только в истории Нидерландской революции целых шесть с 1559 года. Отголоски этих идей часто встречаются в политических и философских трактатах XVI и первой половины XVII века¹⁷.

...У читателей «Королевы Марго» Александра Дюма остается в памяти таинственный предсказатель — флорентинец Реми, парфюмер королевы-матери Екатерины Медичи. Эта фигура не выдумка романиста. Реми действительно существовал и участвовал в интригах, которыми была заполнена жизнь Екатерины. Но Дюма приписал ему и черты еще одного из слуг королевы — астролога Лоренцо Руджиери. Однако «великим прорицателем» стал, конечно, в глазах потомства другой «специалист» по звездам.

В «Фаусте» Гёте герой трагедии восклицает, обращаясь к самому себе: «Неужели недостаточно тебе руководствоваться этой таинственной книгой, написанной собственной рукой Нострадамуса?» Жан Шавиньи, хорошо знавший этого загадочного Нострадамуса в последний период его жизни, через много десятилетий, в 1594 году, писал о происхождении книги его пророчеств: «Предвидя важные сдвиги и перемены, которые должны были произойти повсюду в Европе, и кровавые гражданские войны, а также гибельные мятежи, которые роковым образом надвигались на Галльское королевство, полный энтузиазма и как бы обезумев от совершенно нового неистовства, он принялся за написание своих «Пророчеств» и других предсказаний»¹⁸.

Мишель де Нотрдам (1503—1566), известный под латинизированной формой своей фамилии — Нострадамус, родился в декабре 1503 года в городке Сан-Реми в Провансе, на юге Франции, в семье нотариуса. Прозвание получил по церкви Нотрдам, где его крестили. Девятнадцатилет он начал изучать медицину и через три года, в 1525 году, получил диплом лекаря. Он много путешествовал. Возвратившись в родной Прованс, Нострадамус практиковал в качестве лекаря, особенно в небольшом городке Салоне, расположенном между Марселем и Авиньоном, увлекался изучением магии и астрологии. С 1550 года стали выходить его альманахи с предсказанием событий на предстоящие 12 месяцев. Эти альманахи публиковались вплоть до смерти астролога. В 1555 году появляется первое издание «Сотен» (названных так, поскольку пророчества излагались обычно в форме четверостиший: 400

стихотворных строк составляли «сотню»). В первом издании было опубликовано три с половиной «сотни», остаток четвертой и пятая — седьмая «сотни» — позднее в том же году. Во всяком случае, все семь «сотен» содержатся в сохранившемся издании 1557 года. Они включают пророчества более чем на 2 тысячи лет вперед — до 3797 года. По приказу Екатерины Медичи Нострадамус был вызван в Париж. Он был принят королевой, которая несколько часов обсуждала с ним самые различные темы — от гороскопов до косметики. Легенда утверждает, что Нострадамус предсказал Екатерине Медичи, что три ее сына будут последовательно занимать престол. Однако этот эпизод очень напоминает рассказ о Руджиери. Вернулся домой, в Салон, Нострадамус европейской знаменитостью. «Он имел склонность к деньгам... — писал о Нострадамусе один из его новейших исследователей. — В целом все его уловки напоминают современного медика, который издает сенсационные книги на сексуальные темы и предлагает единое лекарство от всех видов психических расстройств»¹⁹. В 1564 году Нострадамус, которому представили юного Генриха Наваррского, заявил тому, что он в должное время получит «все наследство».

Как убедительно показали новейшие исследователи, реальным «источником» пророчеств Нострадамуса были астрология и магия. При жизни прорицателя бушевали и переплетались между собой затяжные международные конфликты. Нострадамус «предсказал» расширение и углубление этих конфликтов — и не ошибся. Отсюда и отдельные совпадения (конечно, очень условные) его прорицаний и последующих событий.

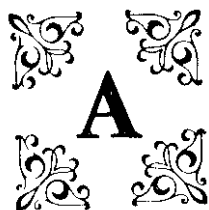
В предсказаниях Нострадамуса не раз пытались находить и пророческие прозрения насчет конфликтов XX века. Так, в начале 1980 года на экраны в США и Западной Европе вышла картина «Предсказания Нострадамуса», в которой подчеркивалась «точность» пророчеств относительно событий, предшествовавших появлению фильма, например, судьбы Гитлера или Джона и Роберта Кеннеди. Прорицание относительно Эдварда Кеннеди оказалось куда менее точным — ему предрекалось избрание в 1980 году президентом США.

В 1976 году была опубликована книга М. Пижара де Гюрбера (доктора Фонбрюна) «Что в действительности говорил Нострадамус»²⁰, в которой разъяснялась «божественная» природа «предсказаний», содержащихся в «Пророчествах». На основе «изысканий» Фонбрюна жур-

нал «Пари матч» летом 1981 года оглушил читателей сенсацией, что Запад должен подвергнуться «советско-мусульманскому» нашествию. «Русские придут в Париж и за семь дней его разрушат»²¹, — вещал Фонбрюн. А в октябре 1981 года и потом еще через год, осенью 1982 года, «Пари матч» уведомлял читателей, что французский астроном, состоящий на службе в США, в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), Морис Шатлен проверил «Сотни» на компьютере и «уточнил», что «русские и мусульмане» нападут на Европу в период между 1982 и 1988 годами, но она будет, конечно, спасена американцами...

Нострадамус был «прорицателем» вековых конфликтов, и к нему поэтому нередко обращались реакционеры именно в периоды таких конфронтаций.

Антракт перед последним действием



американский историк Р. С. Данин писал (1970 г.), что на протяжении всего XVII века идеологический конфликт «налагал постоянный отпечаток почти на все аспекты европейской жизни: на концепции свободы и веротерпимости, на политику партий, деловые предприятия, общественную структуру, науку, философию и искусство»¹. Это верно преимущественно для первой половины века. За столетие (с 1540 по 1640 г.) только четыре года — 1548, 1559, 1550 и 1610 — не видели значительных военных действий в Западной Европе². Разумеется, неверно было бы представлять, что вековой конфликт развивается по прямой восходящей линии, которая потом сменяется столь же прямой, но нисходящей линией. В действительности линия является ломаной и в восходящей и нисходящей своих частях. Так, новый мирный промежуток (в первые годы XVII в. до начала Тридцатилетней войны) был временем явной утери лагерем контрреформации того порыва, кото-

рым он был охвачен в первые десятилетия после Тридентского собора. Папы первой половины XVII века не обладали фанатическим рвением Пия V, отлучившего от церкви королеву Елизавету. Когда Урбану VIII предлагали применить эту меру в отношении Людовика XIII в наказание за поддержку протестантских стран, папа ответил: «Разум предписывает нам не подражать Пию V». Эти подъемы и спады в идеологической убежденности не всегда и не вполне совпадали с усилением и ослаблением политических и военных сражений. Проводя зачастую прагматическую политику, Рим требовал тем не менее от других стран строгого соблюдения интересов католического лагеря в конфликте — будь то борьба против протестантизма или ислама. Так, папская курия неоднократно осуждала Венецию за ее отказ участвовать во многих военных кампаниях против Порты, за стремление поддерживать дипломатические и торговые связи с протестантскими и даже нехристианскими странами. Это было одной из причин наложения папой интердикта на Республику святого Марка, под которым венецианцы находились несколько месяцев в 1606 и 1607 годах. Б. Брехт тонко подметил эту связь. В его пьесе «Галилей» инквизитор, рекомендуя папе подвергнуть преследованию ученого, говорит: «И теперь, когда от чумы, войны и реформации число истинных христиан сократилось до нескольких маленьких кучек, в Европе распространяются слухи, что Вы заключаете тайный союз с лютеранами-шведами, чтобы ослабить императора-католика. И в это же самое время эти математики, эти жалкие червяки направляют свои трубы на небо и сообщают миру, что и здесь, в этом последнем пространстве, которое у Вас еще никто не оспаривает, Вы не слишком сильны»³.

Во второй половине 20-х годов гугеноты, в особенности жившие в Ла-Рошели, были убеждены, что могут рассчитывать на поддержку Мадрида, который будет пытаться таким образом связать руки французскому правительству и не допустить его вступление в Тридцатилетнюю войну на стороне антигабсбургских держав. Маршал Шомбер сообщал в апреле 1628 года в Париж, что гугеноты в ряде областей рассчитывают на испанскую помощь: «Они говорят, что испанцы им помогут, так как не захотят допустить, чтобы король овладел Ла-Рошелью»⁴. На деле же Государственный совет в Мадриде еще ранее обсудил и принял решение по вопросу о том, стоит ли удовлетворить просьбу гугенотов о помощи крепости Ла-

Рошель, которая была осаждена войсками, посланными Ришелье. От попытки таким образом нанести ущерб главному неприятелю — Франции — удержаться было трудно, но предложение об оказании помощи обосновывали все же тем соображением, что, мол, иначе жители Ла-Рошели отдадут себя в распоряжение Нидерландов и крепость станет форпостом голландских еретиков. Впоследствии, уже после ухода в отставку, тогдашний руководитель испанской политики граф (позже герцог) Оливарес ставил себе в заслугу, что он не следовал советам макиавеллистов, хотя это позволило бы «избежать вовлечения в войны со шведами, датчанами и протестантскими еретиками Голландии и привело бы к распадению Франции»⁵.

В протестантском лагере ссылками на конфликт нередко мотивировались попытки добиться изменения политики другой страны. Так, Нидерланды, стремясь способствовать заключению мирного договора между Швецией и Россией, переговоры о котором велись с 1614 по 1617 год, в своем послании шведскому королю Густаву Адольфу подчеркивали «опасное положение всего христианства», необходимость для него (т. е. протестантских государств) защищать себя от агрессии иезуитов и прочих папистов. Швеции, зависимой от финансовой помощи голландцев, намекалось, что она будет продолжаться, если Густав Адольф сообразует свою политику с интересами Нидерландов⁶, отождествлявшимися с интересами протестантского лагеря в вековом конфликте.

Стремление руководствоваться государственными интересами, когда они противоречили интересам контрреформации, характеризовалось католическим лагерем, особенно самим Римом, как «макиавеллизм» в том негативном значении, какое приобрел этот термин со временем и которое совершенно искажало подлинный смысл взглядов великого итальянского мыслителя. В подобном значении термин «макиавеллизм», впрочем, получил самое широкое распространение, в том числе и в протестантских странах. Однако уже в начале XVII века Ф. Бэкон хвалил Макиавелли за описание того, «что люди делают, а не того, что им следует делать». А один из сотрудников кардинала Ришелье (возможно, само «серое преосвященство» — глава его секретной службы отец Жозеф) писал, что «лучший совет, который можно дать в государственных делах, основан на знании самого государства»⁷.

Развитие вековых конфликтов неизбежно вступало вразрез с принципом равновесия сил, поддержание кото-

рого все более становилось сознательно преследуемой целью большинства европейских государств. Победы в вековом конфликте могла достигнуть обычно лишь коалиция государств, и эта победа могла существенно приблизить ее к преобладанию в Европе (или на международной арене вообще). Одна эта перспектива обращала страны, ранее стремившиеся лавировать, соблюдать нейтралитет, против побеждавшего лагеря. Не менее важным было, что по мере того, как приближалась — или казалось, что приближалась, — победа и эта победа все более становилась равнозначной утверждению гегемонии ведущей державы в побеждавшем лагере, он сам быстро утрачивал ранее достигнутое единство. Оно все более подрывалось обострением противоречий между составлявшими его государствами.

Таким образом, забота о поддержании равновесия оказывалась несовместимой с военным решением векового конфликта, что приводило и к умножению препятствий, с которыми приходилось сталкиваться лагерю, приближавшемуся к победе, в том числе и в собственных рядах.

В данной связи стоит отметить, что уже накануне Тридцатилетней войны габсбургским лагерем была выдвинута доктрина, получившая через три с половиной столетия за океаном название «теории домино». Руководитель испанской политики герцог Оливарес пытался выдать за чисто оборонительные агрессивные планы Мадрида. Вместе с тем он провозглашал, что возможный успех протестантизма в любой части Земли является покушением на жизненные интересы Испании. Эта теория гласила: «Главная, коренного характера опасность угрожает Милану, Фландрии и Германии. Любой из таких ударов будет роковым для монархии, ибо, если мы потерпим крупные потери в одном из этих районов, остальные ждет та же участь, и вслед за Германией падет Италия, вслед за Италией — Фландрия, потом Индия (т. е. испанские колонии в Западном и Восточном полушариях. — Авт.), Неаполь и Сицилия»⁸. Такая доктрина могла служить и служила оправданием для любых насильственных действий, для интервенций и захватов, в частности для вмешательства во внутренние дела других стран с помощью методов тайной войны. Другим предлогом было, разумеется, само существование векового конфликта.

Постепенное выключение той или иной страны из конфликта вовсе не прекращало его использования как удобного повода для тех или иных действий во внутри-

политической борьбе. В этой связи, конечно, вспоминается знаменитый в анналах британской истории «пороховой заговор» в Англии — неудачная попытка группы католических дворян — Роберта Кетсби, Томаса Перси, Гая Фокса и других — подвести подкоп под здание палаты лордов и взорвать бочки с порохом, когда в ноябре 1605 года король Яков I должен был присутствовать при открытии сессии парламента. Заговорщики надеялись поднять католическое восстание в средних графствах, рассчитывали с помощью полунезависимого испанского наместника Южных Нидерландов эрцгерцога Альберта обеспечить высадку в Англии полка, состоявшего из английских эмигрантов-католиков. Заговор был раскрыт в самую последнюю минуту, Гай Фокс схвачен при выходе из подвала, где уже находились бочонки с порохом; часть заговорщиков, бежавших из Лондона, погибла при столкновении с преследовавшим их отрядом, другие сложили голову на эшафоте. В числе казненных был и руководитель иезуитов отец Гарнет, действовавший в подполье. Иезуиты утверждали, что якобы узнали о заговоре только незадолго до его раскрытия, хотя Кетсби и его друзья были частыми гостями отца Гарнета на его главной конспиративной квартире в предместье английской столицы. В последние годы в западной историографии обострилась полемика — начатая историками-иезуитами еще в конце прошлого века и усердно продолжаемая ими в наши дни — по поводу истинной подоплеки «порохового заговора». Был ли этот заговор, день раскрытия которого — 5 ноября (День Гая Фокса) — столетиями считался национальным праздником, действительно заговором английских католиков, опиравшихся на силы международной контрреформации? Или последняя, к этому времени давно оставив свои надежды на «обращение» Англии, была здесь ни при чем и заговор был коварной провокацией, задуманной и осуществленной первым королевским министром и руководителем секретной службы сыном лорда Берли Робертом Сесилом, прямыми агентами которого были Гай Фокс и его сообщники? Заговор с целью побудить Якова I оставить в силе репрессивные законы против католиков и, главное, доказать незаменимость Сесила на посту фактического главы правительства?

«...Инстинктивно Гай Фокс отпрянул назад — и не только из-за порыва пронзительного ветра, который временами начинал бушевать в эту хмурую пятницу, последний день января 1606 года. Замешательство Гая не было вызвано

колеблющейся под ним лестницей и той боязнью высоты, которая возникает у большинства людей скорее при взгляде с высоты на землю, чем вверх на небо. Он стремился оттянуть мгновение, когда надежда, еще сжигавшая его, подобно пламени или лихорадке, могла уступить место страшной истине, обратиться в холодный страх смерти и ледяное объятие отчаяния. У лестницы на эшафоте палач в маске принуждал его подниматься наверх, закрывая единственный зримый путь к возвращению в жизнь. В агонии неизвестности капитан Гай — а ведь он действительно почти был капитаном, руководителем других, как понял это сейчас с мучительной ясностью, — ждал голоса из толпы, смутно видневшейся вдали внизу. Голоса, который должен его спасти. Уши напряженно ловили звуки, которые должны были быть произнесены скрытым в толпе посланцем двора и короля. Ведь теперь наступил момент, когда должен прозвучать его приказ остановить казнь. Разве не настало мгновение спасти жизни тех, кому суждено в эту минуту умереть в петле, подвергнуться четвертованию..?»⁹.

Этой трагической сценой, в которой заложена вся его концепция событий 1605 года, начинает уже знакомый нам историк, член ордена иезуитов Ф. Эдвардс повествование в своей книге о «пороховом заговоре». Эта книга представляет собой сложный сплав исторической монографии и исторического романа. И, конечно, Ф. Эдвардс вполне сознательно старается сделать возможно более размытыми границы, где кончается, пусть тенденциозно выполненная, работа историка и начинается полет воображения романиста, затруднить различение того, что в рисуемых им картинах основано на достоверных фактах, а что — на произвольных домыслах. Читателю предоставляется право самому провести такое размежевание между наукой и беллетристикой в явном расчете, что лишь немногие смогут или пожелают взяться за такое дополнительное исследование, а большинство попросту примет фантазию за живо изложенные результаты научного анализа или по крайней мере вполне обоснованную гипотезу.

Историки-иезуиты приложили немало стараний, чтобы убедить читателя в правильности своей версии «порохового заговора» как заговора правительства против католиков. Однако эти историки не смогли доказать верности своей точки зрения, откровенно ориентированной на апологию иезуитского ордена. Несомненно только, что Англии в начале XVII века приходилось уже значительно меньше,

чем прежде, опасаться угрозы со стороны сил контрреформации и что хитрая лиса Сесил, отлично учитывавший это, тем более стремился превратить ослабевшую угрозу в орудие, которое можно было бы использовать во внутриполитических целях (и для укрепления своего личного влияния на короля). Перспектива интервенции католических держав из вполне реальной угрозы на протяжении жизни одного поколения превратилась в Англии в жупел, которым оперировали ловкие политические интриганы.

В начале XVII века католический блок в определенной степени укреплялся за счет дезертирства из лагеря его противников той части дворянства, особенно аристократии, которая ранее поддерживала Реформацию, — подобная тенденция явно проявилась во Франции, в габсбургских землях, в Польше. Здесь не место для анализа причин этого явления, различных в разных странах. Играло свою роль исчерпание тех преимуществ, которые предоставляла Реформация для определенной части дворянства: захват церковных и монастырских земель, возможность использования религиозного знамени для ослабления своей зависимости от власти короны и пр. Особое значение имело стремление к классовому сплочению перед лицом резко возросшего народного сопротивления, выразившегося в сотнях крестьянских и городских восстаний, а наряду с этим — перспектива занятия выгодных должностей при дворе и на королевской службе и т. д. Такая «передвижка» в рядах дворянства, временно укрепляя католический лагерь, вместе с тем усиливала его реакционный характер, делала еще более несовместимыми его цели с неодолимыми тенденциями развития общества.

Вместе с тем влияние передовых буржуазных стран в переходную эпоху от феодализма к капитализму способствовало общественному прогрессу лишь некоторыми, а не всеми своими аспектами и к тому же отнюдь не во всех регионах. Общий «позитивный баланс» этого воздействия проявлялся лишь в конечном счете, в региональном или даже континентальном масштабе. При этом основная часть этих аспектов воздействия осуществлялась только в сфере международных экономических и культурных связей, не будучи осознанной современниками. За общим положительным балансом нельзя не видеть и тех сторон влияния, которые стимулировали реакционные тенденции в развитии. (Достаточно напомнить классический пример стимулирования «второго закрепощения» крестьянства в

странах восточнее Эльбы в результате расширения торговых связей этих стран с раннебуржуазными государствами и буржуазным сектором экономики других стран Западной Европы.)

Нельзя не учитывать и того, что лагерь Реформации, в свою очередь, раздирался противоречиями между различными протестантскими вероисповеданиями, особенно между лютеранством и кальвинизмом, являющимися господствующими церквами в различных государствах Северной Европы. Они не переставали обличать друг друга в ереси, даже когда создавалась прямая угроза победы Габсбургов. Чем дальше, тем больше выявлялась неоднородность передового лагеря. Он состоял наряду с раннебуржуазной страной — Нидерландами — из абсолютистских монархий национальных государств (в том числе преимущественно католической Франции) и протестантских немецких княжеств.

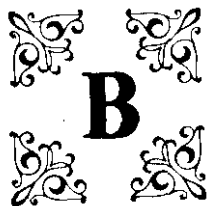
Здесь будет уместно упомянуть об одном немаловажном обстоятельстве. Существует обширная литература, освещающая проблему возникновения абсолютизма. Главные моменты, связанные с процессом генезиса абсолютизма, всесторонне рассмотрены в трудах ряда советских историков. Однако еще не получила освещения одна немаловажная сторона этого процесса. Во-первых, утверждение абсолютизма происходило в большинстве стран в условиях векового конфликта. И, во-вторых, удельный вес исторически прогрессивных и реакционных сторон в характере абсолютистских монархий той или иной страны в большой мере зависел от места данной страны в вековом конфликте, нахождения ее в консервативном или передовом лагере, особенно на последнем этапе этого конфликта, иными словами, в первой половине XVII века. В это время постепенно менялась роль, которую объективно играли абсолютистские монархии в рамках «своих стран». Чем большее развитие получали в них буржуазные отношения, тем больше сходила на нет исторически прогрессивная роль абсолютизма, тем больше он превращался в препятствие для дальнейшего общественного прогресса.

Это особенно отчетливо проявилось в Англии, быстро шедшей навстречу буржуазной революции. Но аналогичная тенденция, хотя и в меньшей мере, давала знать о себе и во Франции. Абсолютизм, постепенно превращавшийся во врага прогрессивных сил общества внутри своей страны, не мог занимать прежнюю позицию решительной борьбы против лагеря международной реакции. И хотя этот ла-

герь по-прежнему строил планы, угрожавшие независимости национальных государств и тем самым власти правивших в них абсолютистских правительств, они не раз пытались нащупать почву для соглашения с ним. Генрих IV в апреле 1603 года писал в связи со смертью Елизаветы ее преемнику Якову I, что это великая потеря для него, для всех добрых французов, «так как она была непримиримым врагом наших непримиримых врагов»¹⁰. Яков I повернул руль внешней политики в сторону сближения с Испанией. Не случайно изменение ориентации внешнеполитического курса вызвало растущую оппозицию со стороны именно тех кругов английского общества, которые впоследствии в ходе революции возглавят борьбу против абсолютизма Стюартов. Даже когда во время очередного зигзага внешнеполитической линии правительства (в 1625—1626 гг.) сын Якова Карл I выступил на стороне противников реакционного лагеря, конфликт с буржуазной оппозицией внутри страны лишил его ресурсов и для ведения войны, и для оказания финансовой поддержки союзным странам, воевавшим тогда против Габсбургов (прежде всего Дании). Попытки переориентации внешней политики предпринимались после убийства французского короля Генриха IV и правительством королевы-регентши Марии Медичи. Правда, они имели непосредственной причиной слабость центральной власти из-за сепаратизма части дворянской знати.

Таким образом, казалось бы, прямо противоположные причины нередко толкали абсолютистские правительства национальных государств к поискам компромисса с габсбургским лагерем. Объективно эти попытки менее всего были направлены на ликвидацию векового конфликта. Такой компромисс — какие бы иллюзорные надежды ни питали при этом в Лувре или Уайт-холле — реально означал, что реакционному лагерю предоставлялось время для подготовки и возможности выбора момента для нанесения первым удара по своим врагам, прежде всего в Германии, которые лишались реальной поддержки со стороны других противников Габсбургов. Стремление к примирению с ними на деле только стимулировало агрессивность католического лагеря, укрепляло его уверенность в том, что ему удастся разгромить своих противников поодиночке и вместе с тем последовательно осуществить свой старый план создания универсальной монархии — иными словами, достичь военным путем победы в вековом конфликте.

Кардинал Ришелье и Анна Австрийская



начале XVII века никто еще не осмеливался предсказать упадок Испании, и тем более было далеко от этой мысли правительство регентши Марии Медичи, изменившее внешнюю политику Генриха IV. Регентша женила своего сына Людовика XIII на дочери испанского короля — знаменитой Анне Австрийской, названной

так в честь матери, австрийской принцессы. Анна Австрийская была, таким образом, в равной мере представительницей и испанской, и австрийской ветвей династии Габсбургов. Общеизвестные в литературе мнения о повороте в политике Франции после убийства Генриха IV недавно подверглись критике со стороны Дж. М. Хейдена. Однако для доказательства своего тезиса этот канадский историк должен был переставить акценты в трактовке политики Генриха IV в последние годы, утверждая, что король главным образом стремился к сохранению, пусть непрочному, европейского мира, а не к нанесению сокрушительного удара по господству Габсбургов в Европе¹. Когда началась Тридцатилетняя война, молодой Людовик XIII, избавившийся от материнской опеки, и его советники рассматривали вспыхнувший конфликт как борьбу императора против заговора его протестантских подданных (подобную той, которую самому Людовику пришлось вести против французских гугенотов). Ришелье, начавший карьеру фаворитом Марии Медичи, предполагал вести совсем другую линию. Предав свою покровительницу и заручившись доверием короля, Ришелье с 1624 года стал фактическим правителем Франции. Он сразу же круто изменил направление и цели французской политики.

Ришелье был прямым продолжателем внешнеполитического курса Генриха IV. Еще в 1616 году он писал: «Исповедуя разную веру, мы остаемся едиными под властью одного монарха, находясь на службе которого ни один католик не будет настолько слеп, чтобы считать испанца

лучше французского гугенота». Придя к власти, Ришелье решительно взялся за уничтожение политической самостоятельности гугенотов, образовавших своего рода государство в государстве. Дело завершилось осадой и занятием в 1628 году главной крепости французских протестантов Ла-Рошели. Руководитель секретной службы кардинала капуцин Жозеф де Трембле недаром с торжеством писал Ришелье, что падение гугенотской твердыни позволит французскому королю приобрести «с большим правом, чем кому-либо, роль арбитра христианского мира»². Взятие Ла-Рошели являлось мерой, направленной не на вовлечение Франции в вековой конфликт, а, напротив, на извлечение ею — точнее, монархией — максимальных выгод из этого конфликта. Добиваясь консолидации королевской власти и с этой целью ликвидировав политическую автономию гугенотов, Ришелье одновременно активно поддерживал протестантский лагерь против императора в Тридцатилетней войне. Ришелье принадлежит характерное замечание: «Различие религиозных верований может создавать раскол на том свете, но не на этом»³.

На протяжении тех без малого двух десятилетий, когда Ришелье являлся первым министром, не прекращались попытки свергнуть его путем ли придворной интриги, дворцового заговора или мятежа вельмож, нередко стремившихся воспользоваться в своих интересах недовольством народа, который нес бремя быстро увеличивавшихся налогов. Однако, какую бы форму ни принимали действия врагов кардинала, они, как магнитная стрелка к северу, были сориентированы в сторону Габсбургов.

В течение всей второй половины 20-х годов партия «благочестивых», поддерживаемая двумя королевами: матерью и женой Людовика XIII — Марией Медичи и Анной Австрийской, — требовала сосредоточения всех сил на борьбе против гугенотов во Франции и отказа от активной антигабсбургской политики за рубежом. Эта программа служила удобным предлогом для сплочения противников Ришелье, для организации заговоров против становившегося все более могущественным первого министра. Но эта же программа встречала поддержку и некоторых важных сторонников кардинала, например капуцина Жозефа де Трембле, ставшего главой секретной службы кардинала. Отец Жозеф даже написал латинским гекзаметром эпическую поэму по случаю взятия твердыни гугенотов Ла-Рошели в октябре 1628 года. Успехи габсбургского лагеря ободряли «благочестивых», доказывавших

опасность для Франции вступления в борьбу с победоносным лагерем контрреформации. Сомнения на этот счет порой одолевали и самого Ришелье, путь к проведению последовательной антигабсбургской политики оказался далеко не прямым. В то же время помощь габсбургского блока представлялась неременным условием успеха для всех противников Ришелье. В этом убеждении их только укрепляли неудачи предшествовавших заговоров и мятежей, когда заручиться такой поддержкой не удавалось. А реальная цена за действительно активную и широкую помощь испанского короля и императора могла быть лишь одна — разрыв Франции с антигабсбургскими силами и в той или иной форме переход на сторону их противников. Иными словами, речь шла не только об отказе от использования Францией векового конфликта в собственных государственных интересах, но и о повороте фронта — в полном противоречии с этими интересами.

Первый заговор возглавил брат короля Гастон Орлеанский, в нем участвовали Анна Австрийская, побочные братья короля принцы Вандом. Им была обещана поддержка Веной и Мадридом. В планы заговорщиков входило похищение Людовика XIII и Ришелье, а в случае неудачи — вооруженное восстание. Заговор иногда называют по имени его активного участника графа Шале, принадлежавшего к знатному роду Талейранов-Перигоров. Шале был очень заурядной личностью, и им вертела придворная интригантка госпожа де Шеврез. Разведка Ришелье, возглавляемая Жозефом де Трембле, проследила все нити заговора, добыла письма, в которых его участники обсуждали планы убийства не только Ришелье, но и самого Людовика XIII, корреспонденцию, получаемую Шале из Мадрида и Брюсселя. Гастон Орлеанский, предатель по натуре, чтобы спасти себя, выдал своих сообщников. После ареста Шале валялся в ногах Ришелье, умоляя о пощаде. Но кардинал был неумолим — примерное наказание графа Шале призвано было устрашить недобровольных. Шале кончил жизнь под топором палача.

Наряду с отцом Жозефом, одним из главных деятелей секретной дипломатии в течение первых 10 лет, был также аббат Фанкан. Ришелье ежедневно проводил многочасовые совещания с Фанканом, который неоднократно выполнял роль секретного агента и в различных германских государствах. Однако если начальник разведки отец Жозеф тянул Ришелье к союзу с папой, аббат Фанкан был представителем совсем другой политической школы. По-

лучая взятки от германских католических князей, Фанкан вместе с тем настаивал на том, чтобы Франция поддерживала немецких протестантов более решительно, чем считал полезным кардинал. Впоследствии скрытое разногласие между Ришелье и Фанканом обострилось, и аббат, чрезмерно отстаивавший вольности французского духовенства от власти Рима, призывавший к расторжению конкордата между Францией и папой и даже завязавший контакты с Англией, германскими князьями и лидерами гугенотов, в 1627 году угодил в Бастилию.

Главой нового заговора была Мария Медичи. Воспользовавшись болезнью короля, она вместе с Анной Австрийской слезами и мольбами выманила у Людовика согласие расстаться с кардиналом. Королева-мать торжествовала победу и грубо выгнала вон Ришелье, явившегося к ней на прием. Толпы придворных лизоблюдов уже сочли своевременным перекочевать из передней кардинала в прихожую королевы-матери. Но они слишком поторопились. Людовик XIII выздоровел и, забыв о своем обещании, немедленно вызвал к себе кардинала, который снова стал всемогущим правителем страны. Недаром этот день — 10 ноября 1630 г. — вошел в историю под названием «день одураченных»⁴. Многие из «одураченных» были удалены от двора, а Мария Медичи после неудачной попытки поднять восстание в крепости Каппель, неподалеку от испанской Фландрии, была выслана за границу.

«День одураченных» был поражением не только партии «благочестивых». Он нанес сильнейший удар по шансам военной победы габсбургского блока. Ришелье мог начать, теперь уже бесповоротно, проводить антигабсбургскую политику. Однако ему пришлось вести борьбу против не новых заговорщиков, которые все, какие бы личные цели они ни преследовали, неизменно выдвигали программу перемены внешнеполитического курса Франции в сторону союза с габсбургскими державами.

Гастону Орлеанскому все же удалось поднять восстание в Лотарингии и заключить тайный договор с Испанией, обещавшей помощь противникам Ришелье. Чтобы навести страх на мятежников, по приказу кардинала суд принес смертный приговор их стороннику маршалу Малььяку, который 10 мая 1632 г. был казнен на Гревской площади⁵. Королевская армия вступила в Лотарингию и разбила войска восставших. Один из руководителей мятежа — герцог Монморанси — был обезглавлен на эшафоте. Гастон Орлеанский опять «раскаялся», предал своих

сообщников, со слезами уверял кардинала в вечной любви... и снова начал плести интриги против Ришелье.

Вскоре после казни Монморанси Ришелье сам попал в ловушку. В начале ноября 1632 года, расставшись с королем на пути из Тулузы, больной Ришелье прибыл в замок Кадайяк. Он принадлежал губернатору Гиени герцогу д'Эпернону (одному из возможных участников заговора, приведшего к убийству Генриха IV). Ришелье сопровождала лишь небольшая группа придворных. Ночь прошла в тревоге, быть может, кардинала спасла лишь уверенность окружающих в том, что больному остались считанные дни до смерти. Наутро кардинал поспешил уехать в Бордо, но и там он, по существу, оставался во власти д'Эпернона. Королева и герцогиня де Шеврез, путешествовавшие вместе со двором, торжествовали. Они поспешили покинуть прикованного к постели врага в городе, где герцог должен был стать орудием их мести. Их сообщник канцлер Шатнеф — креатура герцогини — уже примерял костюм первого министра короля. Д'Эпернон решил, если болезнь не унесет Ришелье в могилу, заточить кардинала в неприступном замке Тромпет. Однажды герцог явился к дому Ришелье в сопровождении 200 своих приверженцев, чтобы, по его словам, осведомиться о здоровье кардинала. Не надо было быть Ришелье, чтобы разгадать намерения д'Эпернона. Все это происходило в самый напряженный момент Тридцатилетней войны, когда предстояла решительная схватка между армией шведского короля Густава Адольфа и войсками императора, возглавлявшимися Валленштейном. От исхода битвы зависели судьбы Германии и вместе с тем судьбы всей внешней политики Ришелье...

13 ноября Ришелье была сделана операция, устранившая опасность для жизни. Дворецкий королевы Лапорт, явившийся, чтобы узнать, не унес ли с собой наконец дьявол неудобного министра, возвратился с печальным известием, что больной поправляется. Оставалась надежда на д'Эпернона... 20 декабря из дома, где остановился министр, несколько человек из его свиты вынесли как-то туфяк, покрытый шелковым ковром. Под ковром лежал Ришелье, которого так и доставили на корабль, сразу поднявший паруса.

Заговор Монморанси нашел без перерыва продолжение в заговоре наперсницы королевы герцогини де Шеврез и канцлера Шатнефа, опиравшихся на полную поддержку Анны Австрийской, принца Гастона Орлеанского и дру-

врагов кардинала. Разведка Ришелье раскрыла и этот заговор. Шатнеф в 1633 году был отправлен в Ангулемскую тюрьму, где провел 10 лет. Герцогиня де Шеврез, высланная в свой замок Дампьер, неподалеку от Парижа, тайно по ночам посещала Лувр для совещаний с Анной Австрийской. После этого неутомимую заговорщицу выслали в угрюмый замок Кузьер в Турени. Оттуда потекли письма к Анне Австрийской, к английской королеве — сестре Людовика XIII, к испанскому двору, к герцогу Лотарингскому. «Шевретта» завербовала в число своих воздыхателей 80-летнего архиепископа Турского, а также юного князя Марсийяка, будущего герцога Ларошфуко, автора знаменитых «Максим». Разведке кардинала приходилось наблюдать и за другими поклонниками герцогини. Один из них, шевалье де Жар, связанный с английским двором, был схвачен, подвергнут пыткам и приговорен к смерти, но помилован уже на эшафоте⁶. Ришелье получал важную информацию от жившего в Париже португальского ювелира Альфонса Лопеса, который был связан со многими купцами в Испании. Однако Лопес был шпионом-двойником, и правительству в Мадриде также поступали от него сведения о действиях кардинала⁷.

В первой половине 1634 года Гастон Орлеанский заключил тайный договор с Мадридом, дав обязательство в случае франко-испанской войны принять в ней участие на стороне «августейшего Австрийского дома» (т. е. габсбургских держав) и с помощью субсидии, которая ему была предоставлена, набрать армию для действий против Франции. Текст этого договора был отправлен в Мадрид на испанском судне, которое, преследуемое голландскими кораблями, село на мель около французского побережья. Губернатор Кале изъял многие документы, находившиеся на этом судне, и переслал их Ришелье, получившему доказательство измены брата Людовика XIII. Но, поскольку речь шла о наследнике французского престола, Ришелье пришлось не карать Гастона, а попытаться перетянуть на свою сторону, задабривая крупными денежными подачками⁸. Ну, а в Мадриде своевременно вспомнили, что уже дважды бог устранял врага веры и испанской короны: в 1572 году во время Варфоломеевской ночи — адмирала Колиньи, а в 1610 году — Генриха IV. При этом длань господню — и руку убийцы — подкрепляли закулисные происки испанской секретной дипломатии и разведки. Одному убийце в последний момент помешали совершить покушение. Другой в осторожной форме осведомился у

доминиканского монаха, будет ли умерщвление министра угодно небу, но получил (не в пример Равальяку) отрицательный ответ. Мария Медичи пыталась из Фландрии разжечь новую междоусобицу во Франции. Война стучалась в двери Франции. Ришелье все еще выжидал, не желая ввязываться в конфликт в неблагоприятный момент. Он говорил Мазарини (уже тогда пользовавшемуся его доверием), что ухаживает за миром, как за возлюбленной. Когда война из-за поведения венского двора стала неизбежной, Ришелье, как писал Мазарини в марте 1635 года, беседуя с ним, «плакал, уверял, что он отдал бы свою руку, чтобы сохранить мир». В Мадриде глава правительства герцог Гаспар Оливарес не меньше кардинала опасался войны с Францией, того, что она и при удачном ходе дел приведет к «полному разорению Испании». В 1635 году, когда война все же началась, и Оливарес, и Ришелье надеялись, что она будет кратковременной⁹, но они оба ошибались.

После открытого разрыва Франции с габсбургскими державами на Париж двинулись имперские войска под командой Пиколомини и других опытных генералов. 5 августа имперцы пересекли Сомму. Поспешно отступавшая французская армия находилась под началом графа Суасонского, на верность которого, как показали события, никак нельзя было полагаться. Он вел тайные переговоры с испанцами и Марией Медичи. В Париже стали формировать ополчение, спешно сооружали и усиливали укрепления вокруг столицы.

Несколько важных крепостей было предательски сдано имперцам почти без боя. Казалось, Франции снова, как после битвы при Павии в 1525 году, после поражения при Сен-Кантене в 1557 году и во время гражданских войн, угрожала опасность быть низведенной до роли вассала Габсбургов. Ришелье пришлось мириться с частью противников, особенно с Гастоном Орлеанским¹⁰.

Людовик XIII и Ришелье с армией осадили важную крепость Корби, занятую неприятелем. Тогда, уверенные в своей безнаказанности, Гастон Орлеанский и граф Суасонский договорились с испанцами, что добьются снятия осады, убив кардинала. На этот раз, видимо, контрразведка кардинала упустила из виду подготовку покушения. И все же оно не удалось, так как Гастон по своему обыкновению трусил и не подал условного знака убийцам. Вскоре Ришелье получил все сведения об этом заговоре, а Гастон и граф Суасонский, проведав, что их планы

открыты, поспешно бежали за границу. Лишь в 1637 году имперская угроза была устранена.

Оставалась еще Анна Австрийская, выступавшая против внешней политики кардинала и поддерживавшая тайную переписку с Мадридом и Веной. Разведка Ришелье неустанно следила за каждым движением королевы. После осады Корби шпионы Ришелье сумели раздобыть целый ворох писем, собственноручно написанных Анной Австрийской и адресованных герцогине де Шеврез. Ришелье стремился окружить Анну Австрийскую своими шпионами, среди которых особо важная роль была отведена мадам де Лануа. Однако у королевы сохранялись преданные слуги — конюший Пютанон и дворецкий Ла Порт, которые с помощью герцогини де Шеврез научились обходить ловушки, расставленные людьми кардинала. Ришелье не раз пытался очаровать Анну Австрийскую и герцогиню де Шеврез, памятуя, как ему некогда удалось с таким успехом покорить сердце Марии Медичи. Однако эксперимент, повторенный через два десятилетия, не увенчался успехом. Самолюбие кардинала было избавлено от совсем тяжелого удара только тем, что его разведка не сумела перехватить послание королевы к «Шевретте», в котором кардинал именовался «старой развалиной» (это еще очень смягченный перевод употребленного весьма энергичного французского выражения).

...Летом 1637 года разведка Ришелье — вероятно, через куртизанку мадемуазель Шемеро, известную под именем «прекрасной распутницы», — сумела завладеть письмом бывшего испанского посла во Франции маркиза Мирабела, являвшимся ответом на письмо королевы. В свою очередь, Анна Австрийская ответила на это письмо испанца, и людям Ришелье не удалось перехватить важный документ. Зато они установили, что главную роль в доставке корреспонденции играл Ла Порт. Опасаясь, что Анна Австрийская успеет уничтожить компрометирующие бумаги, кардинал добился разрешения Людовика XIII произвести обыск в апартаментах королевы в аббатстве Сент-Этьен. 13 августа посланные Ришелье парижский архиепископ и канцлер Сегье обнаружили там лишь ничего не значащие письма. Еще за день до этого Ла Порт был заключен в Бастилию, в темницу, которую занимал до него алхимик Дюбуа, несколько лет дурачивший министра надеждой на фабрикацию золота из неблагородных металлов. При аресте у Ла Порта нашли записку королевы к герцогине де Шеврез: «Податель сего письма сообщит

Вам новости, о которых я не могу писать». Тогда же Сегье явился в комнату Ла Порты в отеле де Шеврез и приказал тщательно ее обыскать. Однако от внимания людей Сегье ускользнуло самое главное — скрытый гипсовой маской тайник в стене, в котором хранились наиболее важные бумаги и ключи к шифрованной переписке.

Анна Австрийская утверждала, что она в своем письме к Мирабелю и другим лицам в Мадриде просила передать выражение своих родственных симпатий и осведомлялась о состоянии здоровья членов испанской королевской семьи. Королева попыталась искусно разыграть комедию полного примирения с ненавистным кардиналом. Ей казалось, что она преуспела в этом, в действительности же дело было не столько в неотразимых чарах испанки, сколько в политической необходимости. Для упрочения абсолютизма — иначе говоря, для торжества политики Ришелье — было особенно важно появление на свет наследника престола. Ришелье понимал, что ему не удастся добиться от Рима согласия на развод короля, так что матерью дофина могла стать только Анна Австрийская.

«Я желаю, — написал Людовик XIII под диктовку Ришелье, — чтобы мадам Сеннесе отдавала мне отчет о всех письмах, которые королева будет отсылать и которые должны запечатываться в ее присутствии. Я желаю также, чтобы Филандр, первая фрейлина королевы, отдавала мне отчет о всех случаях, когда королева будет что-либо писать, и устроила так, чтобы это не происходило без ее ведома, поскольку в ее ведении находятся письменные принадлежности». Анна Австрийская написала внизу этого документа: «Я обещала королю свято выполнять содержание вышеизложенного». Обещание это стоило недорого.

21 августа Ришелье лично в своем дворце допросил Ла Порту, тот заявил, что сможет давать показания, если получит приказ королевы. Людовик XIII потребовал от жены, чтобы она письменно повелела Ла Порту сообщить все ему известное, угрожая, что иначе ее дворецкий будет подвергнут пытке. Обеспокоенная королева поспешила сделать дополнительные признания: она действительно дала шифр Ла Порту для поддержания связи с Мирабелем, принимала переодетую герцогиню де Шеврез, но, по словам Анны Австрийской, корреспонденция носила сугубо невинный характер. Королева должна была написать Ла Порту, что она предписывает ему открыть все ее тайны. Весь вопрос заключался в том, примет ли Ла Порту которого теперь допрашивал страшный Лафма, прозван

ний «кардинальским палачом», за чистую монету предписали королевы.

Приближенная Анны Австрийской Мария д'Отфор, совмещавшая роли фрейлины королевы и фаворитки короля, переделалась в мужское платье и сумела проникнуть к одному из узников Бастилии, смертельному врагу кардинала, уже известному нам кавалеру де Жар. А тот ухитрился пробить отверстие в камеру Ла Порта и передать инструкции королевы. Ла Порт, как искусный актер, когда Лафма передал ему приказ королевы, сначала сделал вид, что сомневается в том, каковы действительные намерения его повелительницы, но потом, будто бы уступая угрозам «кардинальского палача», дал показания, в точности совпадающие с тем, что согласилась признать Анна Австрийская.

Мадемуазель д'Отфор отправила к герцогине де Шеврез гонца с известием о благополучном окончании дела. Однако в спешке д'Отфор перепутала шифр и вместо часослова с переплетом из зеленого бархата послала томик в красной обложке — знак опасности. Переодевшись в мужской костюм, герцогиня де Шеврез бежала в Испанию.

Против Ришелье усердно интриговал исповедник Людовика XIII иезуит Коссен, действовавший с помощью королевской фаворитки, богомольной Луизы Лафайет. Натравливая короля на кардинала, Коссен упоминал о 6 тысячах церковных зданий, сожженных в Германии протестантами, которых Ришелье сделал союзниками Франции. Кардинал, со своей стороны, вновь и вновь доверял Людовику, что нельзя осуждать договоры с протестантскими князьями, поскольку они направлены против габсбургских держав, угрожавших самому существованию Франции как независимого государства. Кроме того, добавляя кардинал, эти договоры обеспечивают свободу отправления католического культа на всех территориях, завоеванных протестантами¹¹.

В декабре 1637 года Коссен с помощью Луизы Лафайет отправил письмо Марии Медичи. Через два часа кардинал получил известие об этом и сумел нанести контрудар. Наутро Коссен узнал от короля, что в его услугах более не нуждаются; вскоре после этого иезуита выслали из Франции, на его бумаги был наложен арест.

В 1637 году вспыхнуло восстание, поднятое графом Конским и комендантом крепости Седан герцогом Конским. Как и прежде, заговорщикам была обещана помощь испанского короля и германского императора.

К войску мятежников присоединился отряд в 7 тысяч имперских солдат. Королевская армия потерпела поражение в битве при Марсе. Но в 1641 году пришло неожиданное известие — глава заговора граф Суасонский пал от руки неизвестного убийцы. После смерти графа Суасонского герцог Бульонский предпочел договориться с Ришелье, остальные заговорщики скрылись за границей.

Однако уже в том же году начал формироваться еще более опасный для Ришелье заговор, в который удалось наполовину втянуть самого Людовика. Один из королевских фаворитов — Анри де Сен-Мар, сын сторонника Ришелье маршала Эффия, — стал душой этого заговора, в который опять были вовлечены неизменный Гастон Орлеанский, герцог Бульонский и, вероятно, Анна Австрийская. Заговорщики подписали тайный договор с первым министром Испании герцогом Оливаресом. Испанцы должны были напасть с севера на Францию, а герцог Бульонский — сдать им Седан, что помешало бы продвижению французской армии в Каталонии.

Габсбургские державы к тому времени потеряли надежду добиться победы военным путем. «Остается, — писал испанский губернатор Южных Нидерландов в 1641 году, — единственная возможность — создать себе сторонников во Франции и пытался благодаря им побудить правительство в Париже стать благоразумным»¹². От успеха или неудачи нового заговора против Ришелье зависел во многом дальнейший ход Тридцатилетней войны.

Наиболее ловким агентом Сен-Мара был его друг виконт де Фонтрай, калека, изуродованный двумя горбами. Переодетый монахом-капуцином, Фонтрай ездил в Мадрид для встречи с Оливаресом и вернулся, имея на руках подписанный договор. Ришелье был осведомлен своей разведкой, следившей за Фонтраем вплоть до границы, о поездке какого-то француза в Мадрид, но не был, по-видимому, еще посвящен в детали заговора. После возвращения в Париж Фонтрай имел смелость несколько раз появляться при дворе и даже в апартаментах кардинала с опасными бумагами, зашитыми в камзоле.

Однако даже переслать несколько экземпляров договора заговорщикам, находившимся в тот момент в разных местах, оказалось делом очень нелегким. Повсюду сновали шпионы кардинала. Сен-Мар, например, подозревал аббата ла Ривьера, доверенного советника Гастона Орлеанского. И не без основания — ла Ривьер был агентом Ришелье. Пока шла пересылка договора, один экземпляр его очутил-

ся в руках кардинала! Уже современниками высказывались различные предположения, откуда Ришелье получил копию договора с Испанией. Одни называли находившуюся тогда в Брюсселе герцогиню де Шеврез как источник утечки информации. Может быть, это было и так, но Ришелье нисколько не смягчился в отношении заговорщицы, не раз пытавшейся сорвать его планы. И в своем политическом завещании отозвался о ней с явным презрением. Некоторые считали, что кардинал узнал о договоре из писем испанского губернатора Южных Нидерландов дона Франческо де Мельбоса, перехваченных разведкой Ришелье. Согласно еще одному слуху, копию договора нашли на судне, которое во время шторма село на мель неподалеку от Перпиньяна³. Надо учесть, что с 1636 года Ришелье имел важного агента в Мадриде — провансальского барона, участника прежних заговоров против кардинала. В сохранившейся корреспонденции имеются намеки на то, что именно от него, по-видимому, исходили известия о договоре. Некоторые историки считают, что заговорщиков мог выдать сам Оливарес в обмен на определенные компенсации со стороны Ришелье. Если это так, Оливарес, вероятно, переслал договор через французского командующего в Каталонии де Брезе, шурина кардинала. Однако многое говорит против этой гипотезы. Предателем мог быть Гастон Орлеанский. Но выдать заговор могла и Анна Австрийская — ведь ее приближенным и любовником был кардинал Джулио Мазарини, ближайший советник и преемник Ришелье на посту первого министра Франции. Загадка так и не была решена.

Заговорщики тщетно надеялись на скрытую неприязнь, которую, по их мнению, питал Людовик XIII к своему министру. Сохранившаяся переписка свидетельствует о самом тесном сотрудничестве между королем и кардиналом, она доказывает, что внешние знаки неудовольствия и даже зависти монарха по отношению к Ришелье были со стороны Людовика XIII скорее игрой и симуляцией, в которых он проявил немалую ловкость. Такая симуляция и побудила многих современников считать — это общее убеждение отразили знаменитые «Мемуары» Ларошфуко, — что король будто ненавидел своего слишком пронизательного и непогрешимого министра. Получив текст договора, тяжело больной Ришелье послал его Людовику XIII, и король согласился на арест Сен-Мара. Конечно, королеву и Гастона Орлеанского тронуть было нельзя. Герцога Бульонского спасла его жена. Герцогиня довела до све-

дения Ришелье, что, если ее мужа казнят, она сдаст крепость Седан испанцам. Герцог был помилован, но он заплатил за это отказом от Седана. Сен-Мар 12 сентября 1642 г. взошел на эшафот. Ему было тогда 22 года. Вместе с ним был казнен его лучший друг — де Ту. Он не участвовал в заговоре, но знал о нем и не донес кардиналу. Фонтрай успел бежать за границу. Он сразу же сообразил, что игра проиграна, когда получил известие о посещении короля посланцем от кардинала.

Заговоры против Ришелье объективно были направлены на то, чтобы снова повернуть курс внешней политики Франции в сторону Мадрида и Вены. Их неудача означала победу линии на поддержку противников габсбургского лагеря. Формулируя цели своей внешней политики, Ришелье писал: «До предела, до какого простиралась Галлия, должна простираться Франция»¹⁴. Это была идея, восходящая ко времени Генриха IV. В «Географии», издававшейся с 1593 по 1643 год во Франции, доказывалось, что эта страна должна иметь такие же границы, как древняя Галлия¹⁵. Идея естественных границ будет позднее подхвачена выдающимся французским военным инженером маршалом Вобаном, который, однако, рассматривал ее как довод против безудержных завоевательных планов. В написанном около 1700 года сочинении «Нынешние интересы христианских государств» Вобан писал: «Все честолюбивые притязания Франции ограничиваются вершинами Альп и Пиренеев, Швейцарией и двумя морями»¹⁶. «Естественные границы» — эти слова еще не были в ходу в XVII веке, и они обосновывались и ссылками на языковые границы (их можно найти уже у Генриха IV, и их повторял его внук Людовик XIV). Когда же приходилось оправдывать «естественную границу», далеко выходящую за область господства французского языка — Рейн, идеологи монархии ссылались на древних авторов — Цезаря, Страбона, указывавших на эту реку как границу античной Галлии¹⁷.

Французские публицисты времен Ришелье выдвигали Францию на роль арбитра в спорах между европейскими державами, в частности между германскими князьями и императором, чтобы противодействовать при этом испанским планам господства¹⁸. Характерен пример Анри де Рогана, активного участника политической борьбы в первые годы правления Ришелье. Первоначально он, протестант, был противником кардинала, но после падения Ла-Рошели перешел на сторону всемогущего министра и стал

ярым сторонником его внешней политики. Роган выполнял роль агента Ришелье в Венеции и других государствах, позднее снова рассорился с кардиналом и, поступив солдатом в армию Бернарда Веймарского, был смертельно ранен в сражении в 1638 году. Роган был автором ряда сочинений по политическим и военным вопросам. В трактате «Об интересах монархов и государств христианского мира», посвященном Ришелье, Роган подчеркивает, что государственные интересы должны определять действия государя. По мнению Рогана, судьба христианского мира определяется конфликтом между Испанией и Францией, который может окончиться только торжеством одной из этих держав. Однако этот результат может быть достигнут лишь в далеком будущем, а в настоящем неизбежно равновесие между этими державами.

В своих работах Роган на примере Испании анализирует использование религии как орудия внешней политики, как прикрытия завоевательных планов. Испанской дипломатии удалось убедить папу и итальянских князей, что Филипп II являлся защитником их веры. Испания пыталась использовать и французских протестантов против короля, и английских католиков против монархов-протестантов. Географическое положение определяет политику Франции — она призвана поставить преграду испанскому напору и вместе с тем убедить папу, что равновесие сил — единственная возможная гарантия его независимости. В 1641 году в Гааге был издан на французском языке трактат «Свободная война», доказывавший законность действий католиков, нанимающихся солдатами к государям, воюющим против католических монархов. «Государственный интерес может диктовать подобные же действия и целым государствам»¹⁹.

Ришелье умер вскоре после раскрытия заговора Сен-Мара. Узнав о смерти кардинала-министра, римский папа Урбан VIII воскликнул: «Если существует бог, Ришелье за все заплатит. Если бога нет, ему повезло»²⁰. Впрочем, казалось, что более всего повезло габсбургским державам, но это только казалось.

Возмездие



ожно было предположить, что военные поражения раскроют глаза испанскому правительству на недостижимость преследуемых им целей. Однако не только Филипп II, но и его преемник Филипп III (1598—1621) не могли осознать даже самое очевидное — необратимость процессов, приведших к созданию независимой голландской республики.

Постоянное вмешательство испанского правительства в междоусобицы и гражданские войны во Франции и других государствах породило ответное стремление этих стран связать руки Мадриду, подстрекая его к продолжению вооруженной борьбы против Голландии — тогда главной силы протестантизма в вековом конфликте. При этом пускалась в ход сознательная дезинформация — испанцев с помощью ложных слухов старались убедить, что голландцы обессилены раздорами между сторонниками и противниками войны¹. Испания втягивалась в войну, которая явно превышала ее силы. В апреле 1619 года главный советник Филиппа III дон Бальтасар де Сунига писал: «Мы не в состоянии вооруженной силой вернуть эти провинции в их прежнее подчиненное положение. Тешиться надеждой, что мы сможем покорить голландцев, — значит стремиться к невозможному, обманывать самих себя»². И тем не менее в политике Мадрида и во время 12-летнего перемирия (1609—1621 гг.) конфликт между Испанией и Голландией «оставался ключевым вопросом международных отношений»³.

К весне 1621 года окончилось перемирие между Испанией и Голландией. Испанское правительство и его наместники в Брюсселе долго колебались, прежде чем принять решение не возобновлять перемирие на новый срок. Причем явно агрессивные планы испанские власти мотивировали сугубо оборонительными мотивами — необходимостью положить конец нападениям голландцев на заморские владения короны, а также тем, что республика использовала перемирие для расширения своей посреднической торговли. Если не возобновить войну, то, мол, будут потеряны одна за другой колонии в Новом Свете,

потом Фландрия, владения в Италии, в конце концов дойдет очередь и до самой Испании. Эти соображения перевешивали аргументы тех, кто доказывал непосильность войны для испанских финансов⁴.

В ходе войны в Мадриде уже не ставили целью полное подчинение Северных Нидерландов, а лишь — по словам герцога Гаспара Оливареса — стремились к тому, чтобы принудить голландцев к «дружбе» с Испанией⁵, то есть заставить их занять устраивающую ее позицию в отношении южной части Нидерландов, в вопросе о колониях в Новом Свете и т. д. И вместе с тем испанское правительство не желало отказаться от притязаний на верховную власть над своими навсегда потерянными провинциями. В августе 1574 года Филипп II, разрешив ведение переговоров с восставшими, предписывал ни на йоту не уступать в двух вопросах: позиция католической церкви и прерогативы монарха. Более чем полвека спустя, в 1628 году, первый испанский министр граф Оливарес сводил к тем же пунктам главные военные цели Испании. Настаивая на этих целях, Испания считала, что любое проявление слабости подорвет ее престиж как великой державы и даже будет способствовать распространению среди в других ее владениях⁶. В правление Филиппа IV кастильский «агрессивный национализм» был одним из мотивов политики Оливареса⁷.

Для Голландии возобновление войны также было связано с большими экономическими потерями даже помимо роста военных расходов. Вероятно, до двух пятых всей морской торговли Голландии, если мерить тоннажем используемых в ней судов, приходилось на владения испанской монархии (включая присоединенные к ним колонии Португалии). Военные действия наносили урон судоходству и рыболовству. В апреле 1621 года голландские купцы были изгнаны из Испании и Италии, запрещен импорт голландских товаров. Эти меры были рассчитаны на то, чтобы вызвать застой в голландской торговле, и действительно первоначально привели к такому результату⁸. По крайней мере до конца 20-х годов XVII в. вооруженная борьба приносила Голландии больше убытков, чем прибыли, причем несомненно, что прибыль могла быть получена и без войны.

Постепенно борьба против голландской республики складывалась все более неудачно для Испании, и не только и даже не столько в Южных Нидерландах. Помимо армии, действовавшей в разных районах Европы, Мадриду

приходилось постоянно думать о защите испанского побережья от голландских рейдов. Расходы на содержание отрядов береговой обороны и местного ополчения также ложились тяжелым бременем на казну.

Нидерланды с успехом развернули боевые действия на территории испанских и португальских колоний в Америке и Юго-Восточной Азии. В 1621 году была создана Голландская Вест-Индская компания для контрабандной торговли и грабежа испанских владений. В 1628 году голландцы захватили испанский флот, перевозивший серебро из Нового Света. Уже к 1636 году в их руки попало 547 испанских судов. Интересно отметить, что даже транспортировка, подкреплений и пересылка денег для испанской армии в Нидерландах стали возможными только при соблюдении строгой секретности на английских кораблях. (Правительство английского короля Карла I придерживалось в это время политики нейтралитета, нередко оказывавшегося благоприятным для Испании.) А золото и серебро для оплаты войск и покрытия других военных расходов после 1632 года тайно доставляли в Англию, где из них в британской столице чеканили звонкую монету, а уж из Лондона отправлялись векселя, подлежащие оплате в Нидерландах⁹. Мадрид попытался прорвать голландскую блокаду, собрав все имеющиеся военные суда. 21 октября 1639 г. новая армада была разгромлена неподалеку от Дувра голландским адмиралом М. Тромпом. Испания окончательно лишилась своего некогда столь могущественного атлантического флота. Объективно продолжение векового конфликта, поскольку речь шла об испано-голландской войне, стало использоваться раннебуржуазным государством — Голландией — для подрыва колониальной монополии феодальной Испании и захвата ее заморских владений. Некоторые нидерландские толстосумы-кальвинисты бойко торговали с врагом, например финансируя армию императора, возглавлявшуюся Валленштейном. Испания не могла бы вести войну, не получая продовольствия, поставлявшегося голландцами. А Голландии было бы трудно покрывать военные расходы, если бы не было, кроме всего прочего, доходов от торговли с неприятелем¹⁰.

«У вас, испанцев, — заявил Ришелье испанскому послу, — с уст не сходят имена господина и святой богородицы, в руках всегда четки, но вы ничего не делаете иначе, чем для достижения мирских целей»¹¹. Однако логика вещей оказывалась сильнее логики людей. Нахождение страны и

том или ином лагере предопределяло курс, проводимый государственными деятелями, порой вопреки их намерениям, и, главное, итоги этого курса. Историки не раз обращались к параллели между Ришелье и «испанским Ришелье» — герцогом Оливаресом. В 1628 и 1629 годах Ришелье прямо объявил королю, что борьбе против габсбургского господства в Европе должно быть отдано предпочтение перед планами внутренних реформ и ограничения роста налогового бремени. Напротив, Оливарес писал в «Великом меморандуме» 1624 года, что главное внимание надо уделить улучшению экономического положения Испании, ограничиваясь лишь обороной вне ее пределов. Ришелье привел в исполнение свою программу. Оливарес действовал в полном противоречии со своими долговременными планами. Политический курс обоих государственных деятелей привел к огромному росту фискального гнета и массовым народным выступлениям против правительств.

Однако при всем при том результаты внешнеполитической деятельности Ришелье и Оливареса оказались прямо противоположными, и это целиком определялось тем, к какому лагерю в вековом конфликте принадлежали Франция и Испания. Внешнеполитический курс Ришелье, несмотря на огромные жертвы, которые он потребовал от Франции, был направлен на решение объективно назревшей и прогрессивной задачи — нанести поражение планам утверждения вселенской габсбургской империи. Политика Оливареса в конечном счете свелась к мобилизации всех ресурсов и сил уже истощенной Испании на достижение гегемонистской цели, противоречащей коренным интересам народов Европы, законам прогрессивного развития общества. Итогом были ведущая роль Франции в Европе во второй половине XVII века и упадок Испании.

По мере втягивания страны в конфликт внешнеполитические цели приобретают в глазах правительства все более явный приоритет над целями внутривнутриполитическими. Разумеется, так выглядело лишь на поверхности, поскольку концентрация внимания на внешнеполитических целях была в конечном счете следствием внутренних причин, то есть диктовалась интересами господствующего класса. Однако и эти интересы, по крайней мере на определенный срок, могли быть неправильно поняты правительством, являющимся представителем господствующего класса. Надо добавить, что такая сосредоточенность на внешнеполитических целях была характерна не только для стран, вхо-

дивших в реакционный лагерь, но и для его противников, как это было во Франции во времена Ришелье и Мазарини¹². Но итоги такого подчинения внутренней политики внешней для стран передового и консервативного лагерей были, естественно, различными.

Обращает на себя внимание, насколько историческая репутация государственных деятелей, руководивших внешней политикой, зависела от их позиции в отношении векового конфликта. Достаточно напомнить о деятелях, втягивавших свои страны в реакционный лагерь и настаивавших на военном решении конфликта, — все они сыграли настолько негативную роль, что это редко оспаривается даже благоприятно настроенными к ним историками.

В 1640 году от Испании отпала Португалия. В январе 1641 года каталонцы объявили себя подданными короля Франции. Уже современники сочли, что это означало коренное изменение в соотношении сил в Европе¹³. Испанское правительство не могло примириться с потерей Каталонии, война продолжалась, но ее главный вдохновитель, вызывавший общую ненависть, герцог Оливарес был отправлен в ссылку, где впал в безумие от постигших его неудач и вскоре сошел в могилу.

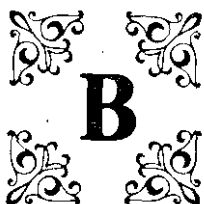
Восемьдесят лет Испания стремилась вернуть власть над Нидерландами, пока в 1648 году не должна была наконец признать полный крах своих попыток. То, что в конечном счете Испания, истощенная войной, сумела выйти из нее, сохранив Бельгию, определялось рядом «посторонних» причин. Одна из них заключалась в том, что принц Фредерик Генрих Оранский желал мира, чтобы развязать руки для помощи своему родственнику — английскому королю Карлу I, который терпел поражения в войне против армии парламента. (О других причинах будет сказано ниже в другой связи.)

После отделения Португалии испанское правительство более четверти века безуспешно пыталось снова подчинить ее себе и только в 1668 году было вынуждено отказаться от продолжения бессмысленной борьбы. С трудом удалось в конце 40-х годов подавить восстания в Каталонии, Неаполе, Сицилии. Некоторые из принадлежавших Испании в Европе территорий пришлось уступить французам, а часть испанских владений в Карибском море перешла в руки англичан. За все XVII столетие для Испании только 28 лет пришлось на мирные годы. После 1620 года признаки хозяйственного упадка и истощения Испании множилось из десятилетия в десятилетие. Непереносимая тя-

жесть налогов душила промышленность и сельское хозяйство. Разорялось крестьянство, сокращалось производство шерсти, которая была главным предметом испанского экспорта, торговый и военный флоты сохраняли только тень былого могущества. Контрабанда приняла повсеместный характер, уменьшая доходы казны¹⁴. Порча монеты подхлестывала инфляцию и ложилась дополнительным тяжким бременем на крестьян, ремесленников и торговцев¹⁵. Снизилась численность населения. Не меньшей была экономическая стагнация в колониях, к 1660 году поставки серебра из Нового Света составляли лишь десятую часть уровня 1595 года. То немногое, что сохранялось от внешней торговли колоний, все более переходило в руки голландских и английских купцов-контрабандистов. Контроль иезуитов над системой образования тоже принес горькие плоды. Некогда пользовавшиеся европейской славой испанские университеты либо закрылись, уступив место иезуитским колледжам и семинариям, как это произошло в Севилье, Валенсии и Алкале, либо потеряли прежнее значение. В знаменитом Саламанском университете, где в 1535 году было 7—8 тысяч студентов, через 100 лет профессор Диего Торрес констатировал «поголовное невежество учащихся»¹⁶. Культурный упадок нарастал от поколения к поколению, он не отставал от усиливавшегося экономического упадка¹⁷.

На протяжении жизни одного поколения, в правление последнего короля из династии Габсбургов Карла II (1665—1700) Испания теряет положение великой державы, и сам этот последний Габсбург на испанском престоле — умственно недоразвитый болезненный уродец, то погруженный в тупое безразличие, то обуреваемый дикими фантазиями, — как бы олицетворял этот упадок испанского государства. «Между тем как другие нации перестали быть детьми, — писал (с некоторым преувеличением) известный английский либеральный историк Маколей, — испанец все еще и думал, и понимал, как дитя. Посреди людей XVII столетия он был человеком XV столетия или еще более темного периода, с восторгом смотрел на аутодафе и готов был отправиться в крестовый поход»¹⁸. В конце правления бездетного Карла II Испания, еще по-прежнему владевшая огромной колониальной империей, становится объектом борьбы других держав. После его смерти в 1700 году начинается война за «испанское наследство». А как обстояло дело с другой опорой контрреформации — австрийскими Габсбургами?

Бесконечный эпилог



начале XVII века, как мы помним, наступила пауза в развитии конфликта в общеевропейском масштабе. Однако еще несколько лет продолжалась война между голландской республикой и Испанией, и то затухала, то вновь разгоралась борьба Габсбургов и их союзницы Польши против Османской империи. Не прекращалась борьба

и за Балтийское побережье, в отношении которого у католического лагеря были свои далеко идущие планы, направленные против протестантских Швеции, Дании и северогерманских княжеств. Русское государство, не сумевшее в итоге Ливонской войны вернуть свои исконные земли на Балтийском побережье, стало объектом сначала скрытой, а потом и открытой вооруженной интервенции Польши, выступавшей как составная часть католического лагеря и стремившейся посадить своего ставленника на московский престол.

В Европе накануне Тридцатилетней войны насчитывалось несколько главных узлов противоречий. Во-первых, в рамках «Священной Римской империи германской нации» между императором и протестантскими государствами, первоначально активно поддерживаемыми Англией, а позднее — другими державами (Данией, Швецией, Францией). Во-вторых, между Испанией и Голландией. В-третьих, между Францией и габсбургскими державами, особенно Испанией, владения которых со всех сторон (Испании, Северной Италии, части рейнской Германии и, наконец, Южных Нидерландов) опоясывали французскую территорию. В-четвертых, между Швецией и Польшей. В-пятых, между Польшей и Россией, стремившейся вернуть русские земли, потерянные в годы крестьянской войны и иностранной интервенции в начале XVII века. В-шестых, между Османской империей и рядом европейских держав, находившихся в разных политических блоках.

Лишь два из этих столкновений были составной частью векового конфликта между протестантизмом и контрре-

формацией, но остальные, как и другие, более локальные по характеру (поддержка Англией французских гугенотов до 1628 г., борьба между Швецией и Данией, столкновения Рима и других итальянских государств между собой, а также с Испанией и Францией и т. д.) так или иначе втягивались в его сферу, существенно влияли на его течение и исход.

После распада империи Карла V у габсбургского лагеря появились два центра — в Мадриде и Вене. Если основным полем вооруженной борьбы против Реформации в первой половине XVI века была сама Священная Римская империя, то в последующие десятилетия главная арена сражений переместилась в Нидерланды и Францию, в Атлантику, где антагонистом католического лагеря выступала Англия. Эту борьбу вела от имени всей католической контрреформации Испания. Войны первой половины века истощили ресурсы прежде всего германской ветви контрреформации, а второй половины столетия — ресурсы Испании. Соответственно менялось и соотношение сил внутри католического лагеря — возрастал удельный вес в нем венского двора по сравнению с мадридским. Австрийские Габсбурги, наследственные владения которых и сама империя в целом находились вне главных битв второй половины XVI века, могли извлечь выгоды из хозяйственного восстановления Центральной Европы.

Конец XVI и начало XVII века были для Германии временем экономического подъема (хотя и очень неравномерного в различных ее областях). В эти десятилетия наблюдались заметное увеличение добычи и обработки металлов, улучшение в методах земледелия, рост текстильного производства, возникновение новых банков как на севере, так и на юге страны. С другой стороны, Мадрид пытался компенсировать истощение испанских ресурсов более тесным сближением с Веной, которое позволило бы габсбургским державам действовать как единое целое.

Долгое время эти испанские авансы не вызывали особого интереса в Вене, несмотря на тесные семейные связи между обеими ветвями династии. Однако в начале XVII века обнаружили изменения в позиции австрийских Габсбургов, которые начали думать, что международная обстановка позволит им поставить вопрос о восстановлении державы Карла V. В числе этих благоприятных для Габсбургов обстоятельств было ослабление международных позиций Московского государства в годы Крестьянской войны и иностранной интервенции, которое позволя-

ло более активно привлечь Польшу к участию в борьбе на стороне императора в Центральной Европе, а также временное ослабление давления на Австрию со стороны Порты, которая, занятая войной с Персией, в 1606 году пошла на заключение перемирия на 20-летний срок. Единство главных сил католического лагеря помимо семейных связей обеспечивалось единством основных интересов испанской и австрийской ветвей Габсбургов. Без помощи Испании Австрийский дом не мог даже мечтать об осуществлении своих имперских планов. Для Мадрида же союз с императором был необходим уже для сохранения своего господства в Южных Нидерландах. Теряя — особенно после поражения Непобедимой армады — преобладание в Атлантическом океане, Мадрид мог перебрасывать свои войска в Нидерланды, только доставляя их вначале морским путем в испанские владения в Северной Италии, потом через Швейцарские Альпы и далее по Рейну и прирейнским землям, входившим в состав империи. Этот «испанский путь» (как называли его современники) был немыслим без австрийской помощи¹.

Пытаясь утвердить свою власть в Священной Римской империи, Габсбурги менее всего при этом — и субъективно, и объективно — вели борьбу за объединение Германии. Их целью было, наоборот, увековечение германской раздробленности при условии реальной вассальной зависимости князей от императора и использования ресурсов всей империи для осуществления планов создания вселенской католической монархии.

С начала XVII века, после того как завершилась определенная стадия в развитии векового конфликта, центр снова начал перемещаться в Германию.

В 1617 году в большинстве протестантских государств был торжественно отпразднован 100-летний юбилей Реформации, особенно в княжествах, затронутых Аугсбургским религиозным миром. Во время Аугсбургского мира не было князей-кальвинистов. Поэтому он не предусматривал защиты прав кальвинистской части населения. Численное превосходство католиков в имперском рейхстаге и имперском суде не давало протестантам надежды на то, что эти учреждения будут стоять за соблюдение интересов сторонников Реформации. Казалось бы, вековой опыт должен был убедить в бесперспективности продолжения векового конфликта, и прежде всего — лагерь контрреформации. Но его главные силы пытались закрыть глаза на опыт истории или извлечь из него ложные уроки.

В 1607 году один из главных столпов католического лагеря — курфюрст Максимилиан Баварский — занял своими войсками протестантский город Донауверт. Ответом на это было создание в 1608 году Евангелической (протестантской) унии, в которую объединилось большинство лютеранских и кальвинистских княжеств. Ее возглавляли пфальцский и саксонский курфюрсты. В 1609 году католические князья создали Католическую лигу, лидером которой стал баварский курфюрст. Война, которая приняла бы всеевропейский характер, казалась неизбежной, но в действительности она была отсрочена почти на целое десятилетие. Католический лагерь еще не считал себя готовым к решительной схватке и потому предпочел миром уладить ряд второстепенных спорных вопросов. Более того, Габсбурги даже пошли на уступки протестантам в своих наследственных владениях — вплоть до провозглашения свободы вероисповедания в Австрии, Чехии и других землях, — как выяснилось, совсем ненадолго.

...Утром 23 мая 1618 г. католические члены регентского совета Богемии (Чехии), прослушав мессу, собрались в канцлерском зале королевского дворца в Праге. Неожиданно в помещение ворвались почти две сотни вооруженных людей — это были депутаты-протестанты, члены сословного собрания и их слуги. Завязалась ожесточенная перебранка — королевских советников (регентов) обвиняли в том, что они ответственны за приказ о роспуске собрания, что они являются врагами религии и свободы королевства. Словесная перепалка закончилась тем, что двух особо ненавистных регентов — Славата и Мартиница — и их секретаря Фабриция подтащили к окнам и вышвырнули вниз с 20-метровой высоты. К счастью, они закончили свой недобровольный полет во рву, превращенном в канаву для нечистот. Она смягчила силу удара, и все трое сумели ползком выбраться из зловонной ямы и скрыться, избежав нескольких пущенных им вдогонку пуль. Но дворцовая помойка еще не была свалкой истории. Фарсовая сценка в Праге началась одна из кровавых драм европейской истории. Пражская «дефенестрация» (швыряние из окон) сразу привлекла внимание во всех европейских столицах. Освободительная война чехов против императора стала событием общеевропейского значения, прямо или косвенно затрагивавшим жизненные интересы всех народов континента.

Новый этап векового конфликта начался с контрреволюционной интервенции и с удачи для католического

лагеря не из-за его собственной силы, а из-за внутренней слабости определенной части передового лагеря. Дворянство, возглавлявшее чешское национальное движение, после поражения восставших в битве при Белой Горе капитулировало². Чехия была оккупирована армией императора, испанские войска заняли другую опору протестантов — Пфальц. В 1623 году кальвинистские священники были изгнаны из Рейнских областей, занятых войсками императора и его союзников. По императорскому эдикту, изданному 6 марта 1629 г., вся церковная собственность, приобретенная протестантами с 1552 года в Германии, подлежала возвращению ее прежним владельцам. Было очевидно, что речь шла о полном искоренении протестантизма как в кальвинистских, так и лютеранских княжествах, вне зависимости от того, вели ли они вооруженную борьбу против неприятеля или сохраняли нейтралитет.

Однако победы Католической лиги вызвали и рост сопротивления, в борьбу включились широкие массы населения, вспыхнули крупные крестьянские восстания. В самом католическом лагере возникли серьезные трения между Габсбургами и их главным союзником — баварской династией Виттельсбахов. Вместе с тем угроза победы Католической лиги привела к вмешательству в борьбу других европейских государств. Ришелье побудил к вступлению в войну протестантскую Данию. Начался датский период войны (1625—1629 гг.). В 1630 году в войну вмешивается Швеция. Шведский период длится по 1635 год, после этого наступает четвертый, и последний, период: в войне против Католической лиги стали принимать непосредственное участие Франция и Голландия. Шведский король Густав Адольф заявлял: «Все войны, которые ведутся ныне в Европе, превратились в одну войну»³.

Войну Испании против Нидерландов и позднее слившуюся с ней Тридцатилетнюю войну иногда называют первой в истории мировой войной — сражения происходили в Европе, Америке, Африке и Азии.

Если на первом этапе векового конфликта армия Карла V первой применила важные военные изобретения, если на втором этапе Испания заметно обогнала противников по уровню организации своих войск, их рекрутирования и обучения, то на третьем этапе положение корне изменилось. Усовершенствования в военно-морском деле осуществлялись почти исключительно протестантскими государствами — Голландией и Англией. Использование пехотой более удобного мушкета, повышение подвиж-

ности кавалерии вследствие отказа от большей части защитного вооружения, оснащение артиллерии легкой чугунной пушкой, для перевозки которой требовалась всего пара лошадей, а также соответствующие изменения в тактике были результатом реформ шведского короля Густава Адольфа. Утеря консервативным лагерем было военно-организационного и военно-технического превосходства отнюдь не была случайной. Она являлась отражением в военной области все более сказывавшихся преимуществ нового буржуазного способа производства по сравнению с феодальным.

Габсбургский блок в целом должен был оказаться, и действительно оказался, без сколько-нибудь значительных и достаточно верных союзников. Даже симпатии папы Урбана VIII (1623—1644) явно находились на стороне антигабсбургской группировки держав. И это было вовсе не случайным стечением обстоятельств, так как цели Габсбургов оказывались противоречащими интересам как их противников в вековых конфликтах, так и их потенциально возможных союзников. Лишь крайняя нужда, действительно исключительное стечение неблагоприятных обстоятельств могли побуждать какую-либо страну к союзу с Габсбургами, который ведь не только был в конечном счете направлен на подчинение как врагов, так и союзников, но и способствовал такому подчинению еще в ходе самой борьбы. Иными словами, опасность для союзников оказывалась едва ли не большей, чем для неприятеля, и это одно было способно не допустить или нарушить любые союзные отношения. Только прямая угроза завоевания одним из противников Габсбургов или, напротив, шаткие расчеты на территориальные приобретения — даже ценой обращения в вассалов Мадрида и Вены — могли склонять то или иное государство к союзу с претендентами на создание универсальной монархии. Логика образования и поддержания союзов рано или поздно вступала в противоречие с логикой развития вековых конфликтов.

Тридцатилетняя война привела к страшным опустошениям в Германии. В 1636 году замечательный немецкий поэт Андреас Грифиус писал в сонете «Слезы отечества»:

Огонь, чума и смерть... Вот-вот нас жизнь оставит.
Здесь каждый божий день людская кровь течет.
Три шестилетия! Ужасен этот счет!
Скопление мертвых тел остановило реки...

К концу Тридцатилетней войны народные движения охватили Англию, Шотландию, Ирландию, Францию, большую часть Германии, Чехию, в Восточной Европе — Украину, Россию, Османскую империю, а за пределами Европейского континента — Китай, Индию, Марокко, Бразилию. Это речь идет лишь о крупных народных движениях в масштабе целой страны. Что же касается множества крестьянских и городских восстаний, то их число и интенсивность также резко возросли. Так, во Франции, в Провансе, почти из 400 крестьянских волнений в XVII веке 66 приходятся на пятилетие между 1648 и 1653 годами. В Аквитании из 500 волнений за столетие более половины происходило между 1653—1660 годами. Такую же картину можно обнаружить почти во всех районах, по которым имеются специальные исследования⁴.

Современники терялись в догадках о причинах, вызвавших такое потрясение общественных основ (чаще всего ссылаясь на волю божью). Джованни Баттиста Риччиоло, конкретизируя пути проявления промысла господня, писал о влиянии на Землю изменений числа солнечных пятен. У этого ученого-иезуита нашлись единомышленники в наши дни, полагающие, что уменьшение числа пятен вело к увеличению числа неурожайных лет, а это при возросшей численности населения неизбежно влекло за собой рост народных лишений⁵. Однако, даже если признать, что в 30—40-е годы наблюдалось под влиянием уменьшения солнечной радиации снижение урожайности, несравненно большим было воздействие вполне земной причины — вступившего в особо ожесточенную фазу векового конфликта. Интересно отметить, что чем дальше, тем больше Тридцатилетняя война теряла характер религиозной войны и все менее, даже субъективно, осознавалась современниками как конфликт католичества и протестантизма. И что еще более характерно — задолго до заключительной стадии Тридцатилетней войны любой реально возможный вариант ее окончания (в том числе и относительно наиболее благоприятный для габсбургских держав) никак не мог стать победой католического лагеря в вековом конфликте.

В середине 40-х годов дело уже шло к полному разгрому габсбургского блока, что, однако, в свою очередь, вызвало серьезные противоречия внутри противостоявшей ему коалиции. Такому решению векового конфликта военным путем мешало его переплетение с новым вековым конфликтом. Поражение лагеря контрреформации было

бы куда более сокрушительным, если бы не обострение внутренней борьбы в двух странах, принадлежавших, хотя и по различным причинам, к его противникам, — в Англии и Франции. Развитие буржуазного уклада и кризис феодального строя привели в обеих этих странах (в Англии в значительно большей степени, чем во Франции) к постепенной утрате прогрессивной роли, которую ранее играл абсолютизм. Английская монархия еще в конце 20-х годов XVII в. предпочла отказаться от активной внешней политики, чтобы ослабить свою зависимость от финансовых ассигнований, производившихся парламентом. Французскому абсолютизму — как раз ко времени, когда подходили к концу переговоры, приведшие к Вестфальскому миру, — пришлось сосредоточить усилия на борьбе с Фрондой — движением, в котором проявили себя и народное недовольство, и ранняя буржуазная оппозиция, но которое возглавляли крупные вельможи, нечуждые сепаратистским устремлениям и стремившиеся подчинить своим эгоистическим интересам правительственную власть.

Когда в 1642 году в Англии началась гражданская война между королем и парламентом, французское правительство заняло выжидательную позицию. Хотя его симпатии целиком находились на стороне Карла I^о, оно опасалось, что, открыто встав на его сторону, подтолкнет парламент к поискам союза с габсбургским блоком. Однако по мере развития английской революции стремление Парижа прийти на помощь Карлу усилилось. Оно, а также борьба с Фрондой побудили преемника Ришелье кардинала Мазарини пойти на компромиссный мир с императором. Об этом неоднократно говорил сам Мазарини.

Серьезные переговоры о мире стали вестись с 1641 года и особенно с июля 1643 года, когда начались заседания представителей воюющих сторон в вестфальских городах Оснабрюке и Мюнстере. Военные действия между тем продолжались. 2 ноября 1642 г. шведы разгромили имперцев во второй битве при Брейтенфельде — там, где за десять с лишним лет до этого (в сентябре 1631 г.) Густав Адольф одержал блестящую победу над имперской армией Тилли; в мае 1643 года испанцы потерпели сокрушительное поражение от французов при Рокруа, и это уничтожило надежды на помощь Мадрида. Столкновения держав, входивших в антигабсбургский лагерь (в частности, начавшаяся в 1643 г. война Швеции против Дании), побуждали Вену тянуть время в надежде получить луч-

шие условия. В этом же был заинтересован и Мадрид — война с Францией продолжалась (она окончилась лишь в 1659 г.), и установление мира в Германии усилило бы французское давление на Испанию. Мир означал бы поэтому и разрыв тесного союза габсбургских держав. Стремясь смягчить гнев Мадрида, имперские дипломаты пытались включить в договор отдельные выгодные для Испании статьи, уверяли, что он явится помощью для Испании, так как, если война будет продолжаться, император лишится наследственных владений и трона, а Испания потеряет наиболее верного союзника и т. п.⁷ В 1646 году Мазарини выдвинул план обмена Каталонии, в большей части занятой французскими войсками, на испанские Нидерланды. Мадрид поспешил выдать этот план голландцам, которые, естественно, опасались увидеть на своих границах вместо ослабевшей Испании сильную Францию. (К тому же для Голландии на первый план стало выдвигаться и острое соперничество с Англией, приведшее к ряду войн в 50—60-е годы XVII в.) С 1647 года голландцы, по существу, прекратили воевать, а 30 января 1648 г. был подписан сепаратный испано-голландский договор, после чего обе делегации покинули конгресс. Этот мир означал вместе с тем распадение габсбургского блока, он служил преддверием к миру между Францией и империей и одновременно к продолжению франко-испанской войны⁸.

Мазарини писал 23 октября 1648 г. французскому представителю в Мюнстере Сервьену: «Вероятно, было бы более благоприятным для общего мира, если бы война в империи продолжалась несколько дольше». Франция вынуждена из-за Фронды поспешить с заключением мира. Это спасло императора, так как «иначе его полный крах был бы неизбежным»⁹.

Тень надвигающегося нового конфликта помогала консервативному лагерю выйти с относительно меньшими, чем можно было ожидать, потерями из завершившегося старого конфликта. Поворот в политике Франции — самой сильной державы антигабсбургского лагеря — привел к соглашению между воюющими сторонами. В обоих лагерях «партия» мира объективно оказывалась неизменно более дальновидной, чем «партия» войны, и это было связано с основами их позиции, вне зависимости даже от того, какие конкретные причины побудили их занять ее.

В 1648 году Тридцатилетняя война закончилась знаменитым Вестфальским миром, который определил основные контуры системы международных отношений в Евро-

пе на целых полтора столетия. Вестфальский договор имел тяжелые последствия для социально-экономического и политического развития Германии — раздробленность, усиление княжеской деспотии, всевластие дворянства, второе закрепощение крестьян. Именно Германия, где габсбургский блок и католическая контрреформация в целом сделали последнюю отчаянную попытку решить в свою пользу вековой конфликт, действительно была отброшена чуть ли не на века в своем развитии, население сократилось более чем наполовину, а в некоторых областях страны — на 80—85 процентов. Ко времени подписания мира «Германия оказалась поверженной — беспомощной, растоптанной, растерзанной, истекающей кровью»¹⁰. Однако эти тяжкие последствия были результатом отнюдь не поражения католического лагеря, а самой его попытки решить в свою пользу вековой конфликт.

Надо отметить, что Вестфальский мир не накладывал на германские государства никаких финансовых обязательств по отношению к другим державам. Не только современники, но позднее многие в Германии высоко оценивали Вестфальский мир. Юристы вроде Дитриха Райнкингга или Ипполита Лапида называли его (как и Аугсбургский мир 1555 г.) «золотым религиозным миром», «священнейшей конституцией», «оплотом Германии»¹¹. Эти и подобные им высказывания были вызваны не только чувством облегчения в связи с завершением бесконечной войны или выражением интересов имперских князей, выигравших от Вестфальского мира. Такие высказывания отражали также убеждение, что после попытки католического лагеря вооруженным путем добиться победы над силами протестантизма Вестфальский мир оказался единственно возможной формой разрешения растянувшегося почти на полтора столетия конфликта.

Вестфальский мирный договор включал признание независимости германских князей, наделил их всеми правами верховной власти — сбора налогов, чеканки монеты, содержания армии и заключения договоров с иностранными государствами (с тем только формальным ограничением, чтобы эти договоры не были направлены против императора и интересов империи). Зафиксированное Вестфальским миром право князей заключать договоры с иностранными государствами было лишь оформлением положения вещей, существовавшего по крайней мере со времен Реформации. Вестфальский мир закрепил существование государств с двумя религиозными идеологиями

(*corpus catholicorum* и *corpus evangelicorum*) как признанный факт европейской системы международных отношений, включая, конечно, отношения между государствами Священной Римской империи¹².

Несколько поколений немецких националистических историков были склонны трактовать Вестфальский мир как полную победу антигабсбургского лагеря. Это делалось для обоснования агрессивных притязаний. 14 ноября 1906 г., выступая в рейхстаге, канцлер германской империи князь Бюлов заявил: «Вестфальский мир создал Францию и разрушил Германию». Действительно, Вестфальский мир был, несомненно, поражением габсбургского блока, окончательным крахом планов утверждения вселенской католической империи, военной победой в вековом конфликте контрреформации и протестантизма антигабсбургских держав. Тем не менее можно говорить, что Тридцатилетняя война в сфере международных отношений закончилась вничью — не получилось преобразования Европы ни в пользу одного, ни в пользу другого из столкнувшихся лагерей¹³.

Римский престол, не оказывая поддержки Габсбургам, все же был недоволен итогами Тридцатилетней войны. Папа Иннокентий X резко порицал Вестфальский мир за признание свободы для протестантов в Германии и предоставление им во владение ряда епископств¹⁴. Во Франции если часть противников Мазарини упрекала его в незначительности полученных страной выгод и приобретений, то другие — из числа преемников партии «благочестивых» — обвиняли его в прямо противоположном — в союзе с еретиками. Аббат Брус в 1649 году так характеризовал Вестфальский мир: «Тот, кто в будущем прочтет трактат, заключенный при поддержке Франции в пользу шведов и германских протестантов и в ущерб церкви, не сможет убедить себя, что этот договор проникнут другим духом и советами, чем те, которые могли быть даны каким-нибудь турком или сарацином, скрывающимся под мантией кардинала»¹⁵.

Тем не менее папство и его столь мощная по масштабам той эпохи пропагандистская машина должны были начать постепенно приспосабливаться к новым условиям. Западногерманский историк Г. Денцлер, изучивший в ватиканских архивах и частично опубликовавший протоколы заседаний римской Конгрегации пропаганды веры в десятилетие после Вестфальского мира, приходит к такому выводу: «В этих протоколах уже не идет речи о рестав-

рации католицизма любой ценой. Но это, конечно, не означает, что ответственные лица церкви с готовностью отказались от оправданных притязаний различного рода, включая и притязания на земные территории. Правда, больше не предпринимали кампаний клеветы и разжигания ненависти против христиан других вероисповеданий, но пытались различными способами защитить католиков от лютеранского и кальвинистского влияния». Сохраняя прежние претензии, все же «руководящие лица в Риме и отдельных странах постепенно осознали, что протестантизм и кальвинизм принадлежат к стойким образованиям, которые, по крайней мере пока, не дадут себя устранить»¹⁶.

Завершение векового конфликта означало окончательное международно-правовое признание Нидерландов и тем самым являлось прецедентом для аналогичного признания других раннебуржуазных государств. Впрочем, формальное дипломатическое признание часто на века отставало от признания де-факто, а иногда и от установления довольно тесных связей. Так, Великобритания и Ватикан восстановили дипломатические отношения, прерванные в эпоху Реформации, лишь после более чем 400-летнего перерыва, в марте 1982 года. А совместные политические акции Лондон и папский престол осуществляли уже почти за полтора столетия до этого — например, против Великой французской революции. Один французский историк недавно писал о трактатах 1648 года: «Вестфальские договоры являются петлями, на которых отворились двери Европы, открыв проход от средних веков к новому времени»¹⁷. Это, конечно, преувеличение, но содержащее немалую долю истины, ибо Вестфальский мир несомненно способствовал развитию тех исторических процессов, которые привели к переходу от феодализма к капитализму на Европейском континенте.

Принципы, зафиксированные Вестфальским договором, означали победу новых норм межгосударственных отношений. Они были, по сути дела, выражением признания равноправия идеологий, защищавших в конечном счете различные системы собственности. Самый отказ консервативного лагеря от попытки военным путем решать спор был крупной победой тех сил, которые объективно являлись двигателем общественного прогресса.

Разумеется, окончание векового конфликта не означало прекращения исторического противоборства феодализма и капитализма в сфере межгосударственных отношений. Объективно оно проявлялось и в стремлении фео-

дальних сил укрепить свои внутренние позиции путем использования возможностей, которые давало расширение связей с экономически передовыми странами, утилизации их опыта. Вместе с тем объективно эти контакты прежде всего способствовали ускоренному развитию нового строя в этих странах и размыванию феодальных устоев в Европе. Отсутствие конфликта позволяло превращать в общеевропейское достояние экономический и технологический опыт передовых стран. Оно делало возможным более широкое усвоение передовыми элементами повсеместно в Европе и политического опыта этих стран. Во многих случаях окончание векового конфликта лишало предлога для преследования тех элементов, которые являлись носителями новых общественных отношений. Внешне это проявлялось в смягчении религиозных гонений (хотя подобная тенденция и ослаблялась такими рецидивами преследований, как отмена во Франции Нантского эдикта в 1685 г., и тем более не приводила к утверждению в католических странах сколько-нибудь широкой веротерпимости). Особенности векового конфликта, отражавшего ранний этап противоборства капитализма и феодализма и происходившего в религиозной оболочке, не исключали возможности возобновления конфликта на одном из последующих этапов этого противоборства и в новом идеологическом одеянии.

Окончание векового конфликта не положило конца войнам. На протяжении первой половины XVII века был один год, а в течение второй половины столетия — шесть лет (1669—1671, 1680—1682 гг.) без войны между европейскими государствами¹⁸. И тем не менее прекращение векового конфликта оказало благоприятное влияние на все участвовавшие в нем страны, избавив народы от удручающей атмосферы, создание которой оправдывалось интересами этого конфликта. Особо надо отметить, что оно создавало внешние условия для ускоренного вызревания новых общественных отношений. При этом внутренние условия оставались различными, зависели от особенностей развития соотношения классовых сил, хода и исхода классовой борьбы в рамках каждой отдельной страны. Конечно, благоприятными условиями в несравненно большей степени могла воспользоваться буржуазия Нидерландов и Англии, чем опустошенных Тридцатилетней войной германских княжеств.

Разумеется, существовали глубокие внутренние причины отставания одних стран и процветания других. Эт

причины определялись всем процессом социально-экономического развития, ходом классовой борьбы, которые в последнем счете определяли и «выбор» тем или иным государством своего места в вековом конфликте (хотя временно определяющее значение могли приобрести исторические традиции, династические мотивы, особенно место того или иного государства в системе международных отношений и пр.). Но было бы неверным преуменьшать влияние конфликта на последующие судьбы участвовавших в нем стран. Фактом является, что страны, игравшие ключевую роль в реакционном лагере, оказались отброшенными назад в своем экономическом развитии, заплатили веками отсталости за упорство в преследовании исторически недостижимых целей. Судьбы Испании, католической части Германии говорят сами за себя. Такую судьбу разделили (хотя и в неравной степени) и страны, подпавшие под их власть или влияние, в частности Португалия, итальянские государства (особенно Неаполь и Рим)¹⁹.

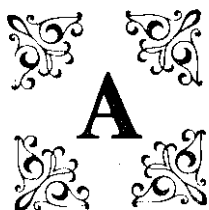
Соотношение экономического взаимодействия двух формаций — феодальной и капиталистической (в определенном смысле являвшегося экономическим соревнованием) — с развитием векового конфликта не было ни механическим, ни однозначным. Такое соревнование, не осознанное современниками, объективно велось в экономике каждой страны, в которой получил развитие буржуазный уклад, и сопровождалось экономическим соперничеством с капиталистическим укладом в других странах.

«Первой капиталистической нацией была Италия»²⁰. Хорошо известно, что революция мирового рынка, связанная с великими географическими открытиями, уничтожила торговое преобладание итальянских городов-республик. Но это еще не привело к упадку промышленности и торговли Италии: если ранее его относили ко второй половине XVI века, то новейшие исследования позволяют отодвинуть его начало на целых 100 лет — на вторую половину XVII века. Важно отметить, что этот упадок вовсе не наблюдался в первые десятилетия после великих географических открытий и перемещения торговых путей, хотя именно в это время Италия, особенно ее северная часть, стала полем военных действий между Францией и Испанией. Несмотря на ряд неблагоприятных факторов, развитие венецианской промышленности или ломбардского шелкопрядения было симптомом того, что экономическая жизнеспособность полуострова не была

подорвана. Более того, определенные элементы, считавшиеся признаками упадка, на деле были проявлением процесса перехода от феодального к капиталистическому производству²¹. Реальный упадок начался тогда, когда ресурсы Италии оказались подорванными их беспощадной эксплуатацией в интересах ведения консервативным лагерем многочисленных войн в рамках векового конфликта. Вдобавок нахождение страны в этом лагере серьезно препятствовало связи ее с наиболее развитыми в экономическом отношении государствами. Отметим, что этот упадок Италии стал преодолеваться уже через несколько десятилетий после окончания векового конфликта, хотя отставание от передовых стран сохранилось и позднее.

Пример оставшихся под властью испанской монархии Южных Нидерландов (Бельгии) становится особенно показательным на фоне экономического роста и процветания Северных Нидерландов (Голландии), успешно выдержавших натиск сил католической контрреформации (или, лучше сказать, отразивших попытки экспорта контрреволюции). Бельгия превратилась в отсталую страну на целых два с лишним столетия, вплоть до начала промышленного переворота, когда большие запасы угля и железа позволили ей вернуться в число экономически передовых государств.

С неба на землю



Английская революция началась в 1640 году, когда на континенте еще продолжалась Тридцатилетняя война. Англия в силу ряда причин — и прежде всего из-за внутренней борьбы абсолютистского правительства Карла I против внутренней оппозиции — стояла в стороне от этого конфликта.

(Даже неудачную попытку в 1628 г. оказания помощи гугенотам Ла-Рошели, строго говоря, нельзя отнести к участию в Тридцатилетней войне.)

За 70 с лишним лет, протекших со времени подавления восстания в северных графствах Англии и начала революции, на британской земле — если не считать одного эпизода (испанского рейда на Ньюлин) — не велось военных действий. Британские эскадры с 1588 по

1640 год не участвовали в главных морских битвах, в которых голландцы сражались против испанского атлантического флота. Революция первоначально не внесла существенных изменений в положение Англии на международной арене как раз из-за вовлеченности других держав в Тридцатилетнюю войну. Однако уже в 1648 году в переписке Мазарини четко прослеживается такая мысль: заключив мир на континенте, можно заставить партию противников Карла I уменьшить свои требования, угрожая им вмешательством французского короля и других европейских монархов. Однако Фронда спутала карты Мазарини и крайне сократила способность воздействовать на ход событий в Англии. Мазарини опасался, что в случае открытого перехода на сторону Карла I после его вероятного поражения английский парламент из чувства мести может пойти на союз с Габсбургами как противниками Франции. Поэтому нейтралитет в английских делах представлялся для Парижа наиболее разумной линией поведения. Это находило выражение и в том, что, щедро одаривая Карла I советами, французское правительство было чрезвычайно скупым в оказании материальной помощи¹. Правда, в конце концов Мазарини все же собирался предпринять демарш в пользу Карла I, очень смахивавший на ультиматум. 19 февраля 1649 г., через день после обмена грамотами о ратификации Вестфальского мира, французский посол должен был отправиться в Лондон с угрожающей нотой. Однако в тот же день прибыло известие о казни Карла I². Французская интервенция против английской революции оказалась невозможной, к тому же более дальновидные из числа английских роялистов понимали, что такая интервенция только сплотила бы всю Англию против династии Стюартов³. А в декабре 1652 года Мазарини направил в Лондон Антуана де Бордо, который, выступая перед членами английского парламента, отметил, что дружественные отношения между государствами могут поддерживаться «вне зависимости от существующей у них формы правления»⁴.

Продолжением векового конфликта в центре Европы консервативный лагерь, несомненно, ускорил созревание субъективного фактора, приведшего к революционному взрыву в Англии. Не поддежит сомнению огромное влияние Тридцатилетней войны на сознание пуритан, особенно их возмущение политикой королевского двора в начале этой войны⁵. Безусловно, вековой конфликт разными путями обострял классовые противоречия в Англии, ускорял

идеологическое формирование лагеря, противостоявшего абсолютизму. Быть может, рассмотрение в этом ракурсе центрального события европейской истории в XVII веке — английской буржуазной революции — позволит более глубоко понять замечательную мысль Маркса о том, что она выражала в гораздо большей степени потребности всего тогдашнего мира, чем потребности той страны, где она происходила⁶.

Диалектика истории проявилась в том, что Франция, участвовавшая в известной мере как внешняя сила в вековом конфликте, в самом конце его, по существу, пошла на то, чтобы отказаться от ставшей вполне достижимой цели — разгрома консервативного лагеря. И сделала это не только вследствие резкого обострения классовых противоречий внутри страны, проявившихся во Фронде, но и для разжигания нового векового конфликта путем организации вооруженной интервенции против английской буржуазной революции. Однако даже после подавления Фронды французское правительство, хотя оно не раз подходило к грани войны с Англией, в конечном счете сделало в 1655 году выбор в пользу тесных отношений с Оливером Кромвелем⁷.

Религиозная оболочка европейского векового конфликта безусловно способствовала сохранению религиозных покровов английской революции. Интересно отметить вместе с тем, что идеологическая оболочка Нидерландской революции совпадала с оболочкой векового конфликта протестантизма и контрреформации. Напротив, идеологическая оболочка английской буржуазной революции середины XVII века, тоже религиозная по своему характеру, была уже отлична от идеологии векового конфликта (идеологической формой революции была борьба различных течений в протестантизме — англиканства, пресвитерианства, индепендентства, различных течений народной реформации). Общеизвестно, что, по глубокому определению Маркса, английская революция была первой революцией европейского масштаба⁸. Но далеко не вполне выяснено в литературе, в какой мере она смогла сыграть эту роль из-за того, что была первой из ранних буржуазных революций, происходивших вне рамок европейского векового конфликта.

XVII век и для Англии, и для Франции был временем быстрого подъема (прерывающегося, правда, отдельными фазами относительного упадка). Конечно, и этот общий подъем, к слову сказать, происходивший на очень

неодинаковой почве по разные стороны Ла-Манша, и препятствия, на которые он наталкивался, уже в основном находились вне непосредственного влияния векового конфликта, продолжавшего бушевать в Европе. В Англии происходит буржуазная революция. Совершенно иная расстановка классовых сил во Франции — неудача Фронды в середине века привела там к укреплению на целую историческую эпоху абсолютной монархии, которая даже возобновила религиозные преследования. Людовик XIV отменил в 1685 году Нантский эдикт о веротерпимости, изданный Генрихом IV. Это не вызвало сочувствия даже в Риме. Папа, не ладивший с королем Солнце, заявил в 1688 году: «Мы не одобряем такие насильственные обращения, которые обычно бывают неискренними».

Надо учитывать, что некоторое время после затухания векового конфликта сохранялась инерция прежних представлений. Так было после Вестфальского мира, когда современникам нередко рисовалась роль императора и папы так, как будто они по-прежнему были руководящей силой уже не существовавшего лагеря контрреформации. И лишь надолго сложившаяся система военных блоков, при которой Вена превратилась в постоянного союзника раннебуржуазных государств — Англии и Голландии — в борьбе против гегемонистских устремлений Людовика XIV, окончательно вытеснила прежние представления о расстановке сил в Европе.

Выдвигая притязания на европейскую гегемонию⁹, французский абсолютизм не делал попыток разжечь потухшие угли конфликта протестантизма и контрреформации. В своих «Мемуарах», предназначенных для воспитания сына, Людовик XIV писал, что было «некстати поддерживать мир, более прочный, чем это наблюдалось на протяжении столетий... В мои годы стремление находиться во главе моих армий породило желание более активно действовать за рубежом страны». Идея «священной войны» против неверных и еретиков во второй половине XVII века перестала отвечать политическим реальностям вследствие ослабления — периодами очень неравномерного — турецкой угрозы. Министр иностранных дел Людовика XIV Помпонн писал (в 70-е годы) генералу Фекьеру: «Я Вам ничего не сообщаю о проектах священной войны, Вы знаете, что она перестала быть модной со времен Людовика Святого» (т. е. с XIII в.)¹⁰. Войны Людовика XIV против коалиции его врагов, в которую входили протестантские державы — Англия и Голлан-

дия — вместе с императором, даже внешне не имели связи с вековым конфликтом. Папа Иннокентий XI (1676—1689) прямо поддерживал «еретических» противников французского короля. Внучка Филиппа II Анна Австрийская стала матерью Людовика XIV. А внук короля Солнце и потомок бывшего еретика Генриха IV Филипп V занял в начале XVIII века испанский престол и покоится теперь в том же фамильном склепе в Эскуриале, что и Филипп II.

Голландской республике позднее Англии и Франции удалось вырваться из сферы векового конфликта — Испания только в 1648 году признала независимость нидерландского государства. Тем не менее Голландии все же удалось держаться в стороне от главной арены борьбы. Победа новых, буржуазных отношений создала предпосылки для экономического расцвета, для превращения Голландии в образцовую капиталистическую страну XVII века. Войны, которые она вела во второй половине столетия с Англией и Францией, уже не имели ничего общего с вековым конфликтом, и не раз удобным союзником оказывалась австрийская ветвь Габсбургов. Гуго Гроций, которого во второй половине XVII века считали крупнейшим авторитетом в области международного права, решительно объявлял несправедливыми религиозные войны, попытки навязать другим народам христианскую веру (исключением являлись, по мнению Гроция, лишь войны против жестоких гонителей христиан)¹¹.

Вековой конфликт обычно прекращается раньше, чем не только разрешаются породившие его социальные противоречия, но и исчезают идеологические формы, характерные для конфликта. Религиозная оболочка борьбы между старым и новым строем сохранялась в Европе даже после того, как международный лагерь контрреформации ушел в историю. Поэтому борющимся внутри страны партиям не раз оказывалось выгодным поддерживать иллюзию, будто этот конфликт продолжает бушевать с прежней силой. Помимо всего прочего, это помогало оправдывать принятие иностранной помощи, хотя она оказывалась уже вне связи с целями прошлого векового конфликта. Здесь опять едва ли не наиболее показательным будет пример Англии, уже проделавшей в середине XVII века буржуазную революцию и вставшей на путь, который позволил ей обогнать в экономическом отношении Голландию, капиталистически наиболее развитую страну этого столетия. В 1660 году, опасаясь народа, английская буржуазия и обуржуазившееся дворянство возвратили на престол

сына казненного во время революции Карла I. Новый король Карл II (1660—1685) вскоре же нарушил многие из обещаний, которые давал, возвращаясь из эмиграции. Но у него хватило ума не покушаться на основные экономические результаты революции. Поэтому ему прощались не только растрата правительственных средств на содержание целого гарема фавориток, но даже тайная в деталях, но в общем и целом известная запродажа независимости английской внешней политики за весьма весомую сумму Людовику XIV. Субъективно цели Людовика XIV, стремившегося путем французских субсидий поставить в зависимость от себя Карла II — точнее, контролировать внешнюю политику Англии,— имели мало общего с целями векового конфликта. В этом они отличались от аналогичных попыток Карла V и Филиппа II, например, во время правления Марии Тюдор. Однако в обоих случаях речь шла о попытке достижения европейской гегемонии. И в конечном счете французская помощь создала — уже у преемника Карла Якова II — ложное представление о возможности католической реставрации.

Буржуазия первоначально более или менее снисходительно относилась к услугам, которые оказывал Карл II Людовику XIV в обмен на французское золото. Для подобной терпимости были свои веские причины: до поры до времени английскую буржуазию устраивала враждебность короля Солнце, еще только приступавшего к осуществлению своих широких завоевательных планов, к Голландии — «протестантской сестре» и в то же время торговому конкуренту, — против которой Англия не раз вступала в вооруженную борьбу. Но такая снисходительность не распространялась на планы реставрации католицизма и абсолютизма, которые лелеял узколобый фанатик Яков, герцог Йоркский, ставший наследником престола (у Карла II не было законных детей). В конце 70-х и начале 80-х годов возник острый политический кризис, принявший форму борьбы за лишение герцога Йоркского права наследовать престол.

И тут страна узнала о существовании «папистского заговора» — о планах иезуитского ордена, включающих убийство Карла II и высадку иностранной армии для избивания протестантов и восстановления «римского идолопоклонства». Все эти сведения были получены от некоего Титуса Отса и в своей основе представляли чистую выдумку. Титус Отс не имел никаких сведений о планах иезуитов, действительно продолжавших интриговать в Анг-

лии — теперь в пользу герцога Йоркского, — но, естественно, никак не собиравшихся убивать тайно к ним благосклонного Карла II. Тем не менее мнимый «папистский заговор» послужил предлогом для политических процессов и казней, а когда Карл II одержал верх над оппозицией, ее руководителей тоже обвинили в «заговоре» и отправили на эшафот.

Герцог Йоркский сохранил право на наследование трона, однако, заняв его в 1685 году, король Яков II сумел удержать власть только до 1688 года, когда против него объединились все противники восстановления католицизма и абсолютной монархии. На престол был призван его зять штатгальтер Голландии Вильгельм Оранский, официально деливший трон со своей женой Марией — дочерью Якова II. Бежавший во Францию Яков не сложил оружия. Его сторонники — якобиты — плели один за другим заговоры против нового правительства, опираясь на помощь Людовика XIV, но пытаясь добиться поддержки и других католических держав¹². Впрочем, такая поддержка как раз и обрекала на неудачу все замыслы якобитов — новая реставрация Стюартов даже теоретически была возможна только при полном признании новых социально-экономических и политических порядков, восторжествовавших в Англии. Вызывая тень былого векового конфликта, якобиты лишались последних шансов на успех.

Иезуиты продолжали свои происки. Так, в начале XVIII века во время Северной войны они поддерживали попытку Швеции оторвать Украину от России. Вспомните строки поэта:

Мазепа козни продолжает,
С ним полномощный езуит
Мятеж народный учреждает
И шаткий трон ему сулит.

Однако эти интриги уже не имели связи с лагерем контрреформации, окончившим свое существование с прекращением векового конфликта.

Английская революция была последней европейской революцией, происходившей в религиозной оболочке. Можно сказать, что сама секуляризация (т. е. освобождение из-под контроля церкви и духовенства, из-под влияния религии, придание светского характера общественно-политической жизни во второй половине XVII в.) еще происходит в религиозной оболочке. Она протекала как процесс освобождения церкви от несвойственных ей функций, как отделение от нее тех сторон жизни, которые

относятся только к земной сфере интересов и занятие которыми способно удалить религию от ее истинной и высшей цели. Учение католической церкви о двойственности истины — религии и науки — превращалось в стремление представить религию безразличной к области науки. Такому стремлению были не чужды выдающиеся мыслители и ученые, являвшиеся живым воплощением этого процесса секуляризации, — Декарт и Галилей, Гобс, Локк и Ньютон. Этот процесс замедлял, конечно, абсолютизм, прогрессивная роль которого все более уходила в прошлое.

Новейшая клерикальная историография пытается сгладить или вовсе отрицать конфликт между религией и наукой. Этот конфликт изображается не как столкновение основ, а лишь как противоречие между определенным уровнем научного и религиозного мировоззрений. Разумеется, тактика церкви в отношении науки не раз менялась — метод репрессий или прямых нападок сменялся поисками соглашения, столь характерными для политики церкви и в современную эпоху. Отсюда стремление отыскать эти поиски в прошлом, даже в XVI и первую половину XVII столетия, когда вековой конфликт сопровождался резким обострением конфликта между религией и набиравшим силы опытным знанием. Эти искажения, кроме всего прочего, мешают достаточно ясно увидеть, что в десятилетия, последовавшие за окончанием векового конфликта, происходит быстрое освобождение науки из-под наиболее стесняющих ее форм контроля со стороны религии. Можно отметить и другой важнейший факт — быстрый научный и технический прогресс, который был бы невозможен без освобождения научного мышления из-под опеки теологии и который некоторые историки даже именуют научной революцией¹³.

Американский историк Нэсбаум, говоря о крупных переменах, происшедших в Европе за четверть века (1660—1685 гг.), писал, что ни в один период европейской истории ни одно еще поколение не было столь непохоже на предшествующие поколения в отношении к собственному будущему¹⁴. В это время были созданы или получили европейское признание труды и исследования Декарта и Паскаля, Спинозы и Ньютона, Бойля и Хука, Левенгука и Ньюгенса и многих других философов, математиков, естествоиспытателей. Именно от этих десятилетий берут начало бурное развитие естественных наук, создание академий в Париже, Лондоне и позднее в других столицах и городах; с 1665 года стало выходить первое

ежемесячное научное издание — парижский «Журнал ученых». В эти же годы налаживаются систематическое общение ученых разных стран, быстрое распространение в Европе новых открытий и идей во многих областях науки и ее практического применения.

В английской и американской историографии идет оживленный спор о возможности установить прямую причинную связь между протестантизмом (особенно пуританизмом) и этой научной революцией¹⁵. В ходе этих споров отмечалось, что в XVI и первой половине XVII века католический лагерь (в том числе иезуиты) способствовал или по крайней мере не ставил помехи прогрессу в некоторых областях знания, когда это не препятствовало его интересам. Знаменитый астроном Кеплер опирался на астрономические наблюдения, сделанные иезуитами в разных странах, а один из членов «Общества Иисуса» даже опубликовал открытия Галилея в переводе на китайский язык в Пекине...¹⁶ Однако во второй половине XVII века в лондонском Королевском обществе, которое стало олицетворением «научной революции», торжествует уже принцип отказа от споров по религиозным вопросам¹⁷. «Научную революцию» отделяют полтора столетия от Ренессанса, когда подобные тенденции впервые проявили себя, но потом получили лишь очень замедленное развитие — если не попятное движение — опять-таки на время векового конфликта. Конечно, решающим толчком здесь послужили социальные перемены в результате первых буржуазных революций. Все же надо учитывать, что и в Голландии, ранее других проделавшей свою революцию, благоприятные условия сложились лишь после окончания векового конфликта, как и во Франции, несмотря на то что Фронда не переросла в буржуазную революцию. Этим условиям еще долго недоставало в странах, которые входили в консервативный лагерь до самого конца конфликта или которые длительное время являлись полем этого конфликта.

Секуляризация науки сказалась и на развитии политической мысли. Примерно до середины XVII века явно преобладало отождествление интересов государства с интересами государя, помазанника божьего (это сохранялось отчасти и много позднее). Конечно, предполагалось, что долг справедливого монарха — заботиться о благе своих подданных, однако их совокупность нередко составляла не одно, а несколько владений — государств. Часть из них терялась или приобреталась во время войн без

того, чтобы в этом видели потери или приобретения для каждого из оставшихся владений. Нередко переход таких владений под власть другого государя, будь то вследствие войн или династических браков, тоже не считался ущемлением интересов этих владений, если при этом сохранились старое законодательство и местная администрация. По мере складывания национальных государств и централизованных абсолютистских монархий возникла другая тенденция, резко усилившаяся после английской революции середины XVII века, причем далеко не только в Англии. Интересы государя уже не полагаются тождественными интересам государства. Для XVIII века характерно уже разграничение чисто династических и государственных интересов в собственном смысле слова, причем первые признавались, по существу, лишь в той мере, в какой они соответствовали вторым.

Наряду с освобождением от религиозных покровов понятия «государство» нечто аналогичное происходит и с понятием «Европа». Исследователи установили достаточно точно период, когда в западном политическом лексиконе термин «Европа» как некое целое полностью вытеснил прежние понятия «христианский мир», «христианство», — это время между 1680 и 1715 годами. Если ранее единичные упоминания о Европе в таком смысле можно обнаружить как редкое исключение, то с конца XVII века это понятие становится настолько обиходным, что редкий дипломатический документ обходится без его использования.

«Европейская идея» сразу же использовалась во многих целях сторонниками гегемонии той или иной державы, объявлявшейся ими защитницей и воплощением единства континента. Вместе с тем «европейская идея» использовалась для «отлучения» отдельных стран от Европы — в переходные эпохи это были страны с новым общественным и политическим строем. Интересы Европы становятся постоянным предлогом для обоснования самых различных, нередко противоположных по своим целям дипломатических и военных мероприятий. Так, текст союзного договора между Людовиком XIV и его внуком Филиппом V (возведенным в 1701 г., вопреки прежним обязательствам короля Солнца, на испанский престол) включал следующую декларацию: «Ничто не может отныне более способствовать поддержанию спокойствия в Европе, чем этот союз». Державы во главе с Великобританией, начавшие войну с целью не допустить фактического

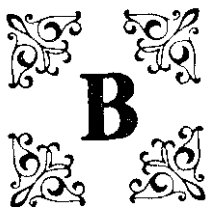
объединения французской и испанской монархий, зафиксированного договором 1701 года, заключили союз. В подписанном ими договоре он определялся как «наиболее прочное основание мира и спокойствия в Европе»¹⁸.

Еще ранее, через несколько месяцев после «славной революции» в Англии, 19 апреля 1689 г., палата общин формально осудила французский план «уничтожения свободы Европы»¹⁹. Европа при этом была словом, призванным маскировать религиозные различия между врагами Франции — протестантскими Англией и Голландией — и их католическими союзниками — прежде всего императором «Священной Римской империи германской нации», то есть австрийской ветвью династии Габсбургов, которые до 1700 года занимали и испанский престол. Напротив, Людовик XIV и изгнанный в результате «славной революции» Яков II Стюарт, которому Франция предоставила убежище и продолжала признавать английским королем, предпочитали, когда это было выгодно, оперировать понятием «христианский мир». Характерно, что, руководствуясь идеей христианского мира, европейские государства вплоть до последней трети XVII века, объявляя войну, неизменно ссылались в оправдание на отстаивание тех или иных своих прав.

Утрехтский мирный договор (1713 г.) был последним, в котором содержалось упоминание о Respublica Christiana, и там впервые указывалось, что его целью является поддержание баланса сил в Европе²⁰. При этом если первоначально ударение делалось на единстве континента, то позднее, примерно со второй трети XVII века, акцент был перенесен на независимость составляющих ее отдельных государств. У Г. Гроция и его последователей это представление стало отправным пунктом их концепций международного права, а историки начали излагать прошлое Европы как сумму переплетающихся историй отдельных стран. Самую идею баланса сил еще Сюлли и его современники ставили на службу идее европейского единства. А через 70—80 лет у Пенна, Беллера, Лейбница и аббата Сен-Пьера важной, если не главной, целью выступает задача наилучшего обеспечения особых интересов каждого из государств, составляющих эту общность. Эта эволюция тем более характерна, что она отчетливо проявляется у авторов, подобных перечисленным выше, которые, озабоченные планами утверждения мира и создания федерации государств, в целом должны были придавать большее значение идее европейского единства.

Проекты создания европейской федерации встречали различный прием в среде просветителей, которые рассматривали Европу как единство в разнообразии. Монтескье видел в этом отличие и преимущество перед Азией, находящейся в состоянии застоя. Однако было бы неверным представлять Монтескье сторонником европейской федерации в перспективе или на деле. Напротив, в «Духе законов» (1748 г.) Монтескье подчеркивал, что, хотя европейские страны составляют определенную общность, невозможно объединить их в одно государство. Самое большее можно рассчитывать на то, что европейские государства будут делать друг другу по возможности добро во время мира и минимум вреда во время войны.

Корни и плоды Просвещения



Вестфальский мир 1648 года, закончивший Тридцатилетнюю войну — последнюю религиозную войну между христианами в Европе¹, — зафиксировал со всей определенностью окончательный крах планов католической контрреформации решить в свою пользу конфликт с протестантизмом и восстановить религиозное единство За-

падной Европы (протестантская сторона не ставила себе такой цели, возможной только в случае полного сокрушения противника). Тем самым был положен конец и попыткам установления гегемонии одной из держав в рамках и с использованием обстановки, создаваемой этим вековым конфликтом. В западной литературе выдвигалось предложение ввести понятие войны, изменяющей систему международных отношений, в отличие от остальных вооруженных конфликтов². Войны вековых конфликтов неизменно были направлены на достижение такого результата.

Полтора столетия, протекшие с Вестфальского мира, характеризуются относительной стабильностью созданной системы международных отношений. Войны второй поло-

вины XVII и XVIII веков, включая войны за испанское (1700—1714 гг.) и австрийское (1740—1748 гг.) наследство и Семилетнюю войну (1756—1763 гг.), лишь вносили в эту систему частичные изменения, связанные с превращением России в первоклассную европейскую державу, усилением Пруссии и разделами Польши, с решением в пользу Англии ее соперничества с Францией за колониальное и морское преобладание.

Характерным для XVIII века (до 1789 г.) было то, что на военное время пришлось значительно меньше лет, чем в XVI и XVII веках. Ни одна из держав, поскольку речь шла о европейских делах, не могла ставить и не ставила внешнеполитических целей, которые вели бы к ликвидации другой крупной державы, кардинально подрывали бы «систему европейского равновесия». Они нигде не преступали рамок непосредственных выгод, территориальных приращений, обычно «компенсировавшихся» расширением и усилением других основных государств. Правда, тем самым относительная стабильность системы равновесия достигалась жертвой интересами малых стран. Однако в большинстве случаев речь шла о чисто династических образованиях (какими были большинство германских и итальянских княжеств), и их частичное включение в состав более крупных держав — особенно если при этом речь шла об этнически близком государстве — отнюдь не всегда могло быть негативным фактором. (Исключением являлись, конечно, разделы Польши, но и то лишь собственно польской территории, а не украинских и белорусских земель, вхождение которых в состав России способствовало процессу воссоединения украинской и белорусской народностей.)

Профессор Л. Халле, которого приходилось упоминать выше, писал: «Когда в 1648 году закончилась Тридцатилетняя война, население Европы было измучено целым столетием вооруженной борьбы. Религиозные вопросы, которые доставляли повод для этой борьбы, оставались все еще не решенными. К этому времени бедствия войны превратились в нормальное состояние жизни народов, которые давно уже не знали ничего иного. Поэтому в 1648 году потребовался бы крайний оптимизм для предсказания, что отныне войны в Европе на протяжении по крайней мере полутора веков будут значительно больше напоминать военные игры на маневрах, чем то, что было известно в течение столь длительного времени. И тем не менее такое предсказание было бы верным»³. Сама характерис-

тика эпохи у Л. Халле страдает «крайним оптимизмом», но в ней есть и верные наблюдения.

Экспансионистская политика, заложенная в самой природе буржуазии, превращала войны в неперемногого спутника капитализма. Среди этой массы захватнических войн значительная часть была столкновением с государствами, имевшими другой социальный и политический строй. В определенном смысле и эти войны являлись противоборством социальных систем на международной арене, но они велись не ради контрреволюционных или революционных целей, а исключительно ради завоевания, экономической эксплуатации чужих стран и народов — точно так же, как и войны между странами с одинаковым типом социального и политического устройства. Строго говоря, таким немирным противоборством между социальными системами являлась и вся грабительская колониальная экспансия феодальных и капиталистических держав. Тем не менее изменения были большими.

«Люди Просвещения более не рассматривали войну как неизбежное предназначение человечества, как судьбу, удары которой следует переносить с терпением и мужеством. Экономисты XVIII века перестали видеть в войне единственный источник богатства, что казалось несомненным для их предшественников в XVII столетии»⁴. Религиозные и династические интересы потеряли прежнее относительно самостоятельное значение. В середине XVIII века Койер, автор сочинения «Торговое дворянство», писал, что «европейская система претерпела изменения и интересы торговли фигурируют в международных договорах как государственные интересы». А дворянский политический теоретик Бугенвиль замечал, что «торговый баланс стал балансом сил государств»⁵. Войны XVIII века иногда называют «торговыми войнами». В 1776 году А. Смит в «Исследовании о природе и причинах богатства народов» писал, что капризы честолюбия королей и министров не были столь роковыми для мира в Европе, как «дерзкая зависть» купцов и мануфактуристов. И все же можно согласиться с мнением тех историков, которые считают, что в полтора столетия после Вестфальского мира «ведение войн отличалось более умеренным характером»⁶.

Войны XVIII века велись армиями, состоявшими из солдат, годами подвергавшихся обучению и не могущих быстро быть замененными зелеными новобранцами. Армии стоили слишком дорого, чтобы часто рисковать ими в

крупных сражениях и вести эти сражения так, чтобы они приводили к слишком большим потерям. Так же как в средние века война считалась дворянским занятием, теперь ее рассматривали как дело профессиональных армий. Предполагалось, что население не должно ни прямо, ни косвенно участвовать в войне, как бы оно ни относилось к ее целям. В эти цели не входили тотальное поражение другой стороны, уничтожение ее военного потенциала и ее самой как фактора европейской политики, оккупация ее территории, изменение государственного строя или религии. Войны (пожалуй, за частичным исключением войны за испанское наследство на ее конечном этапе для Франции) велись без использования всех возможных материальных ресурсов. Державы, особенно раннебуржуазные государства, обычно шли на расширение рамок конфликта лишь при условии, что оно не оказывало прямого негативного воздействия на хозяйственное положение страны, даже на изменение экономической конъюнктуры. Этому ограничению рамок конфликта немало способствовало также и то, что сражения между главными соперниками в борьбе за колонии — Англией и Францией — развертывались вне Европы, что само по себе при существовавших тогда возможностях снабжения ставило пределы масштабам военных операций. Хотя статистических данных здесь привести невозможно, не подлежит сомнению, что в XVIII веке несравнимо меньшая часть национальных ресурсов использовалась на военные нужды, чем в предшествовавшие столетия, заполненные до предела вековыми конфликтами. И в этом несомненно одна из главных причин быстрого экономического подъема Европы, насколько он был вообще возможен в рамках феодального строя, развития капиталистического уклада и даже появления первых признаков промышленной революции, которая, однако, могла широко развернуться только в буржуазной Англии.

Почему, однако, Англия в XVIII веке победила в борьбе против Франции за колониальную морскую гегемонию? Если отбросить ссылки на природные качества англичан, обеспечивавшие им успех на море (эти качества почему-то не проявлялись в доелизаветинской Англии), то объяснение в том, что быстро развивавшейся буржуазной стране было предопределено одержать верх над страной феодальной. Это объяснение, несомненно верное в своей основе, все же не дает ответа на вопрос о более непосредственных причинах поражения Франции. Ведь

остаётся несомненным, что и во Франции быстро развивался буржуазный уклад, материальные ресурсы которого могло использовать абсолютистское правительство. И хотя доход на душу населения был во Франции заметно ниже, чем в Англии, первая превосходила вторую примерно втрое по численности населения. И по крайней мере до начала промышленной революции, то есть до 60-х годов XVIII в., не приходится говорить о техническом превосходстве Англии, которое нашло бы отражение в военном деле. Следовательно, действующие глубинной причины (победы буржуазного строя в Англии) проявлялись какими-то иными путями. Внешняя политика раннебуржуазного государства должна была в значительно большей степени, чем государства феодального, быть нацеленной на обслуживание интересов буржуазии, при отодвигании на задний план всяких других (в частности, династических) мотивов. Это позволило Англии сосредоточиться на достижении колониального и морского преобладания, тогда как Франция Людовика XIV наряду с этой целью во главу угла ставила осуществление планов преобладания в Европе. Но гегемонистские планы должны были натолкнуться — и натолкнулись — на активное сопротивление других держав, что давало Англии широкие возможности воевать чужими руками, используя своих континентальных союзников «в качестве хорошей пехоты». Другими словами, то, что Франция унаследовала от Габсбургов притязания на господствующее положение, по крайней мере в западной части Европейского континента, было одной из причин ее поражения в борьбе с Англией. А поскольку в определенном смысле эти планы объективно направлены на консервацию феодального строя, поражение страны, являвшейся носителем этих планов, было крахом попыток воспрепятствовать утверждению одновременного существования государств с различным социальным строем в Европе.

Столетие, предшествовавшее Великой французской революции, нередко называют веком просвещенного абсолютизма. Бросается в глаза, что эту «просвещенность» он приобрел с затуханием одного военного конфликта и потерей с началом другого.

Окончание еще в середине XVII века векового конфликта оказало разностороннее воздействие на всю эпоху Просвещения. Конечно, не отсутствие векового конфликта само по себе сделало возможным Просвещение. Однако эта «свобода» от конфликта ускорила вызревание

просветительских идей, создала условия для их быстрого распространения, обеспечила им общеевропейский резонанс, в том числе и в странах, где новые буржуазные отношения переживали самый начальный период своего развития.

В «век Просвещения» отсутствуют требования религиозного, политического (единообразия формы правления) и социального униформизма как условия поддержания нормальных отношений между государствами. Небезынтересно отметить, что, наоборот, в Англии через призму соперничества с Францией и другими государствами стоявшие у власти привилегированные слои буржуазии с настойчивостью наблюдали рост капиталистического уклада в странах континента и даже развитие там буржуазной идеологии. Следование английскому примеру вызывало не удовлетворение, а скорее опасения, что такое «подражание» может привести к усилению торговых конкурентов. Недаром даже печать в 60-е годы XVIII в., приветствуя идеи знаменитой «Энциклопедии» Дидро и Даламбера, добавляла: «Мы, как англичане, не имеем основания радоваться постепенному распространению этой системы идей у наших соперников»⁷.

Вместе с тем деидеологизация международных отношений подтолкнула просветительскую мысль к критике мотивов, которыми определялась внешняя политика европейских государств. Свобода от векового конфликта позволила идеологам Просвещения, обгоняя свое время, минуя целые эпохи всемирной истории, поставить проблему избавления общества от войн, установления цивилизованных отношений между народами как единственно соответствующих истинной природе человека.

Отсутствие векового конфликта наложило свой отпечаток на всю систему идей Просвещения. Так, например, разрыв во второй половине XVII века в общеевропейском масштабе связи между столкновениями религий и отставанием национальными государствами своих интересов, а также борьбой за национальную независимость немало способствовал усилению антиклерикальной направленности идеологии Просвещения.

Не в меньшей степени это сказалось и на развитии феодальной государственной надстройки. Отсутствие векового конфликта создало самую возможность такого феномена, как просвещенный абсолютизм. В былое время прогрессивная роль абсолютизма проявлялась, в частности, в выведении страны из векового конфликта или вклю-

чении ее в прогрессивный лагерь в рамках этого конфликта. Хотя в XVIII веке (до 1789 г.) прогрессивная роль абсолютизма отошла в прошлое, она порой как бы возродилась, что было связано с отсутствием векового конфликта. В определенной степени это относится и к внутренней политике абсолютизма, который мог стать «просвещенным» только потому, что над ним не нависала тень векового конфликта. Реформы просвещенного абсолютизма, являвшиеся объективно превентивными мерами против надвигающейся революции и вместе с тем уступками требованиям буржуазного развития, могли проводиться только в таких «международных условиях» функционирования европейских монархий. Это же следует сказать и о внешней политике абсолютизма, что особенно проявилось в годы американской революции.

Вопрос о любой форме контрреволюционного интервенционизма даже не возникал. Просьба английского короля Георга III о посылке 20-тысячного корпуса в Америку была сразу же отвергнута Петербургом, где события в Новом Свете рассматривались через призму англо-русских отношений и возможного влияния провозглашения независимости колоний на европейскую политику. В ответном письме английскому монарху, посланном 23 сентября (4 октября) 1776 г., Екатерина II даже не без скрытой иронии писала о возможных неблагоприятных последствиях «подобного соединения наших сил единственно для усмирения восстания, не поддержанного ни одной из иностранных держав». А летом 1779 года в секретном докладе Коллегии иностранных дел, выражавшем мнение первоприсутствующего Н. И. Панина и вице-канцлера И. А. Остермана, прямо отмечалось, что английские колонии в Америке превратились «собственной виной правительства Британского в область независимую и самовластную»⁸.

Единственно, на что мог рассчитывать Лондон, — это на военное содействие второстепенных держав в обмен на компенсации политического или чисто финансового характера (как при покупке солдат у германских князей). На деле же с самого начала речь шла о вооруженном выступлении монархических держав Европы не против, а в поддержку восставших колоний.

Даже колебания французского правительства в вопросе о поддержке колонистов были лишь в довольно слабой степени связаны с идеологическими мотивами. Более весомыми причинами были сомнения в способности коло-

нистов выстоять в борьбе против метрополии, опасение непосредственного вовлечения Франции в военные действия, крайне нежелательного из-за плачевного состояния финансов, наконец, надежды на то, что Англия будет готова щедро заплатить за французский нейтралитет и тем самым позволит Парижу без боя взять реванш за поражения в Семилетней войне (1756—1763 гг.), и т. д.

Европейские державы учитывали, что на долю колоний приходилось почти 40 процентов английского торгового флота, и они явно опасались американской конкуренции в Западном полушарии. Особенно озабочена была Испания, имевшая огромные владения в Новом Свете. В Париже тоже ощущались скрытые опасения в связи «с американскими планами завоеваний»⁹.

Французский посол в Мадриде Монморен писал 12 ноября 1778 г. Верженну, министру иностранных дел, что Испания считает объединенные колонии своим возможным противником в недалеком будущем и далека от того, чтобы допустить приближение американцев к границам своих владений в Новом Свете. Верженн в ответе Монморену от 27 ноября 1778 г. пытался рассеять эти страхи, полагая, что трудно считать, будто Англия представляет меньшую угрозу, чем новое американское государство, которое обречено быть конгломератом слабо связанных между собой и разделяемых противоречивыми интересами штатов¹⁰. Стараясь вместе с тем успокоить поборников «священного права монарха», Верженн не очень убедительно уверял, что, поскольку, мол, колонисты провозгласили независимость, они уже не являются подданными Георга III и могут выступать как союзники иностранной державы¹¹. Оправдывая союз с США, французское правительство разъясняло монархической Европе, что оно лишь предотвратило англо-американский союз¹². (Стоит отметить, что к этому времени во внутренней политике французский абсолютизм сделал выбор в пользу реакционного курса, отказавшись от либеральных реформ Тюрго.)

Характерный штрих: когда в 1776 году в Америку отправились французские добровольцы во главе с маркизом Лафайетом, они руководствовались не столько симпатиями к идеологии колонистов, сколько стремлением бороться за «свободу морей» — иными словами, против преобладания Англии на море¹³.

В отличие от своей формальной союзницы Франции, Австрия с целью угодить Лондону подчеркивала «непри-

знание» восставших колоний. Император Иосиф II заявил британскому послу в Вене Роберту Кейту: «Дело, в которое вовлечена Англия, является делом всех государей, имеющих общую заинтересованность в поддержании должной субординации и повиновении закону во всех соседних монархиях. Я наблюдаю с удовлетворением могучие проявления национальной мощи, используемые (английским. — Авт.) королем, чтобы привести в покорность мятежных подданных, и я искренне желаю успеха принятым мерам»¹⁴. Однако на практике монархическая принципиальность Иосифа II свелась к неудавшимся попыткам извлечь выгоды из сложившейся обстановки, выступая в роли посредника между воюющими сторонами.

По мнению ряда новейших американских исследователей (например, высказанному В. Стинчкомб в опубликованной в 1969 г. монографии «Американская революция и союз с Францией»), колонисты вряд ли добились бы победы без помощи европейских государств. По подсчетам профессора М. Смелсера, общая сумма субсидий, которые американцы получили от своих союзников, в переводе на современные деньги составляла примерно 2,5 миллиарда долларов, а сами израсходовали на борьбу 1 миллиард долларов¹⁵. Из-за границы (т. е. из Франции) колонисты получали 90 процентов нужного им пороха до битвы при Саратоге. В 1777 году Франция поставила колонистам 30 тысяч ружей — огромная цифра, если учесть тогдашние масштабы военных действий¹⁶.

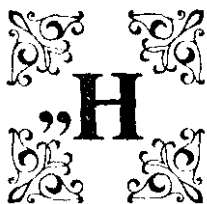
Только при «психологическом климате» эпохи, свободной от векового конфликта в сфере международных отношений, могли стать во всей монархической Европе образцами гражданского долга и политической мудрости вожди революции Бенджамин Франклин и Джордж Вашингтон.

Несомненно, что опыт международных отношений времен Войны за независимость был всесторонне учтен первым американским президентом Вашингтоном, когда он в своем знаменитом «Прощальном послании к нации» предлагал развивать мирные отношения и сотрудничество со всеми странами, а речь ведь шла прежде всего о европейских государствах, имевших в своем большинстве отличный от США общественный и политический строй.

При антиисторизме, присущем в целом Просвещению, его выдающимся представителям свойственно замечательное историческое чутье, породившее многие глубокие, блестящие замечания Вольтера или гениальные догадки Руссо о происхождении строя неравенства. Просветители

бескомпромиссно осуждали прошедший вековой конфликт, в котором для них, как в фокусе, воплощались все пороки существовавшего общественного строя, его прошлое, рисовавшееся им эпохой варварства и суеверий.

Красноречие Бриссо



а протяжении полутора веков лагерь контрреформации, то есть, в сущности, силы феодальной реакции, пытался вооруженным путем ликвидировать во всей Европе «ересь», являющуюся в конечном счете выражением в религиозной форме идеологии нового класса — буржуазии. В последующие полтора века эта попытка была возобновлена, но была направлена уже только против

революционных форм ликвидации политической надстройки старого общества и утверждения новой, вполне адекватной новому буржуазному строю.

Великая французская революция превратила в вековой конфликт новое, более зрелое выражение коренного противоречия между феодальным и буржуазным строем в политической сфере — противоречие между абсолютизмом и парламентаризмом (иногда он представлялся противоречием между монархией и республикой). Как возник и развивался этот конфликт? Ответ на данный вопрос дает рассмотрение истории международных отношений эпохи революции и наполеоновской империи.

Классовым интересам буржуазии был чужд истинный, непоказной интернационализм. Ее национализм, являвшийся противоположностью интернационализма, был ориентирован не только на утверждение господства буржуазии в рамках капиталистического государства, но и на превращение этого государства в орудие достижения ее целей на международной арене, целей в своей основе всегда эгоистических, отстаивавшихся безотносительно к интересам других народов и стран. Поэтому настолько поверхностными и преходящими, носящими всегда, пусть неосознанный, оттенок двойственности, были интернационалистские устремления даже демократического крыла

буржуазных революционеров. Исходившая от них проповедь «революционной войны» была искажением идей интернационализма. У представителей либерального крыла она носила все черты политики, основанной на буржуазном национализме, и отражала экспансионистские устремления буржуазии (а также стремление перевести в безопасное и выгодное для собственных слоев русло нерастраченную революционную энергию масс). Вероятно, будет верным сказать, что в своей роли революционного класса, вождя народных масс буржуазия выступала только в защиту справедливых политически оборонительных войн. Тем самым она тяготела к политике сосуществования с государствами с другим общественным строем. В той же мере, в какой в политике буржуазии проявлялся ее характер эксплуататорского класса, включая ее страх перед народными массами, она стремилась в зависимости от конкретных исторических условий не к сосуществованию, а в одних случаях — к сговору с внешней реакцией против революции, в других — к «революционной войне», в которой была заложена тенденция к превращению ее в захватническую, несправедливую войну. В случае неудачи «революционная война» прокладывала дорогу контрреволюции, в случае же успеха — к обслуживанию экспансионистских устремлений буржуазии, противоречащих интересам народа ее «собственной» страны и народов, являвшихся объектом этой агрессии.

К превращению французской революции в вооруженный вековой конфликт влекли разные силы — жирондисты во Франции и французские эмигранты-роялисты, призывавшие к интервенции иностранные державы. Начиная с осени 1791 года лидеры жирондистов, особенно Ж.-П. Бриссо, выступали рьяными проповедниками идеи «революционной войны». Она обосновывалась не только тем, что иностранные державы оказывают скрытую помощь дворянам-эмигрантам, но и тем, что французский народ призван освободить другие народы из-под власти тиранов. В газетах, издававшихся жирондистами, в речах Бриссо и его единомышленников в законодательном собрании война рисовалась в виде военной прогулки, когда европейские народы как по команде поднимутся, а войска монархических деспотов рассеются, как дым, при приближении французской армии. Жиронда использовала лозунг «революционной войны», чтобы прийти к власти. В декабре 1791 года ей удалось добиться назначения на пост военного министра карьериста Нарбона, который считал выгодным для себя

поддерживать политику жирондистов. 15 декабря Бриссо писал в своей газете «Французский патриот»: «Война, война — таков клич всех патриотов, таково желание всех друзей свободы, рассеянных по всей Европе, которые лишь ожидают этого счастливого начинания, чтобы атаковать и низвергнуть своих тиранов»¹. Эти же призывы Бриссо на другой день повторил в Якобинском клубе, доказывая, что война — единственный способ упрочить революцию, что ни одна из европейских держав не устоит в борьбе против Франции. Выступая в Законодательном собрании, Бриссо выражал уверенность, что война разрешит все трудности страны, что революция, принесенная на штыках французских солдат, «осчастливит» другие народы.

Анализ международной обстановки, сделанный Бриссо, служит классическим примером того, как желаемое может выдаваться за действительное. Английский народ, по мнению жирондистского лидера, целиком на стороне Франции и «не поколеблется в выборе между королем и свободой, между миром, который ему необходим, и войной, которая приведет его к полной гибели». Императору тоже грозят со всех сторон опасности, ему нужно думать, как удержать власть над Венгрией и Бельгией. Пруссия же не может и думать о столкновении с Францией, так как это ослабило бы ее позиции по отношению к старому сопернику — Австрии. С помощью подобных же аргументов Бриссо доказывал, что не может быть реальным противником и Екатерина II, которая якобы опасалась за сохранность своего трона, не говоря уже о Швеции, Голландии, Испании. Руководитель Жиронды видел главную угрозу в том, что другие державы уклоняются от борьбы. «Война — ныне национальное благо»², — провозглашал Бриссо. Единственное, чего следует опасаться, это того, что не будет войны. Жирондистские лидеры замалчивали тот красноречивый факт, что королевский двор, вначале противившийся военным планам, стал потом оказывать им активную поддержку, рассчитывая, что казавшееся неизбежным поражение французской армии позволит подавить революцию.

Среди соображений, которые толкали жирондистов, да и других деятелей революционного лагеря к проповеди войны, несомненно, была идея, что только путем значительных аннексий (по существу, осуществлением максимальной программы территориальных приращений, выдвигавшихся монархической Францией) можно обеспечить «безопасность» новой республики. Лазарь Карно, позднее ставший одним из членов революционного правительства

ведавшим военными делами, заявил, что для этого необходимо достигнуть и отстоять «старинные и естественные границы Франции... Рейн, Альпы, Пиренеи»³. Эту точку зрения поддерживало значительное число влиятельных политических деятелей — от министра иностранных дел Либрена до Дантона, который 31 января 1793 г. открыто выдвинул требование естественных границ. Реальные желания населения слабо принимались в расчет при провозглашении аннексионистских планов. В Савойе и Ницце действительно большая часть населения стремилась к объединению с Францией. Но этого не было ни в Бельгии, ни в Рейнской области.

Когда осенью 1792 года благодаря героическим усилиям народа удалось нанести первые серьезные поражения интервентам, аннексионистские планы стали высказываться и жирондистами, и представителями близких к ним тогда кругов все чаще и откровеннее. Аббат Грегуар потребовал в конвенте аннексии Ниццы и Савойи не только для освобождения их народа, но во имя доводов от географии, общности интересов и задачи успешного ведения войны. Бриссо 26 ноября 1792 г. заявил в конвенте, что французская республика вовлечена в борьбу с «германским колоссом» и не может чувствовать себя спокойной, пока «Европа, вся Европа, не будет охвачена пламенем». Требуя проведения границ по Рейну как «естественной границе» Франции, Бриссо добавлял: «Не может быть мира с Бурбоном. Понимая это, мы должны готовить поход в Испанию»⁴. Проект жирондистской конституции, который в феврале 1793 года был опубликован по распоряжению конвента, включал положения, заимствованные из теории «революционной войны». В проекте указывалось, что Франция отказывается от аннексий чужих территорий, кроме случаев, когда за это выскажется большинство населения этих территорий или когда они принадлежат монархическим государствам. Вероятно, в Европе (включая Швейцарию и Венецию) не было страны, которая удовлетворяла бы подобным условиям. В отношениях с другими государствами французская республика обязывалась уважать учреждения, основанные на согласии всей массы народа, — под это требование опять-таки не подходило государственное устройство ни одного из европейских государств. Французская революция выражала в еще большей мере потребности всей Европы, чем той страны, где она произошла, — Франции. Жирондисты же хотели навязать Европе революцию из Франции, давая реакционным монархическим режимам

возможность представлять себя защитниками государственных (и даже национальных) интересов. Выступая с требованием «революционной войны», жирондисты стремились, выражая настроения крупной буржуазии, воспрепятствовать углублению революции в самой Франции, и вполне закономерно, что, когда этот расчет не оправдался, многие наиболее рьяные проповедники «революционной войны» вступили в сговор с силами контрреволюции и иностранными интервентами в борьбе против собственного народа.

Подоплеку воинственности жирондистов сразу же разгадал Марат. Он показал противоречивость доводов Бриссо о «слабости» противников Франции и о том, что с помощью войны следует воспрепятствовать оказанию ими помощи эмигрантам. «Если, — писал Марат, — нам нечего бояться этих держав, зачем столь сильно тревожиться относительно эмигрантов, которые обращаются к ним за помощью?»⁵. В канун объявления войны Марат с горечью отмечал, что народ, обманутый опьяняющими речами Бриссо и его сообщников, «по видимости, не менее желает войны, чем его злейшие враги»⁶.

Нелегкую борьбу против идеи «революционной войны» вёл Робеспьер, разъясняя, что нужно заботиться о наведении порядка в собственном доме и нелепо пытаться заставлять другие народы путем войны принимать конституцию. 25 января 1792 г. он говорил в Якобинском клубе: «А если народы, если солдаты европейских государств окажутся не такими философами, не такими зрелыми для революции, подобно той, которую вам самим так трудно довести до конца? Если они вздумают, что их первой заботой должно быть отражение непредвиденного нападения, не разбирая, на какой ступени демократии находятся пришедшие к ним генералы и солдаты?»⁷. Впоследствии внешняя политика правительства якобинской диктатуры под влиянием Робеспьера строилась на разрыве с догмами «революционной войны». Однако справедливости ради надо заметить, что даже Робеспьер был далеко не всегда последовательным в отношении к идее «революционной войны». Он резко осуждал военную пропаганду жирондистов, считая, что они, провоцируя столкновение с феодальными монархиями Европы, играют судьбой революции. Да и чем иным можно было считать пропаганду идей «революционной войны» в условиях, когда офицерский состав французской армии в своей значительной части был настроен настолько антиреволюционно, что был, по сути дела, готов к переходу на

сторону неприятеля. Робеспьер опасался также, что война может привести к установлению диктатуры какого-нибудь властолюбивого генерала. Однако после победы при Вальми Робеспьер заговорил другим языком. Он предсказывал, что уничтожение прусских войск, которое вполне по силам французской армии, и наказание Людовика XVI (предстоял процесс короля) приведут, мол, к разгрому всей бесильной лиги деспотов. В феврале 1793 года в противоположность тому, что он говорил ранее, Робеспьер выразил уверенность в предстоящем овладении Голландией, которое приведет к революции в Англии. 8 марта он заявил, что французы — «великая нация, которой предназначено покарать тиранов всего мира»⁸.

Тяжелые испытания, которые выпали на долю Французской республики летом и осенью 1793 года, побудили Робеспьера вернуться к своей первоначальной позиции. В конце 1793 года он подчеркивал, что французы не обуреваемы манией «сделать любую нацию счастливой и свободной вопреки ее желанию». «Все короли, — говорил он, — могут безнаказанно прозябать до смерти на своих окровавленных тронах, если они будут помнить, что им надлежит уважать независимость французского народа. Мы стремимся лишь разоблачить их бесстыдную клевету»⁹.

Эта точка зрения определяла и подход Робеспьера к внешнеполитическим проблемам. Он требовал сохранять нормальные или даже дружеские отношения не только с республиками — Швейцарией и США, но и с деспотической Оттоманской империей. Возвращаясь к вопросу о том, как началась война, Робеспьер в речи 17 ноября 1793 г. давал этому очень характерное для его взглядов (хотя и неверное фактически) объяснение. Английское правительство, по его мнению, не имея возможности из-за сопротивления парламентской оппозиции объявить войну Франции, использовало Бриссо, который по подстрекательству Лондона стал требовать разрыва с Испанией. В результате испанский флот присоединился бы к английскому и французская республика была бы вовлечена в борьбу, к которой она еще не была готова.

Робеспьер отдавал дань и своего рода «революционному национализму». В начале 1793 года он говорил, что «ныне один француз превосходит десять пруссаков»¹⁰. 9 октября 1793 г. в конвенте Робеспьер заявил: «Я гневно негодную, когда слышу утверждения, что мы ведем войну не с англичанами, а с королем Георгом»¹¹. Развивая ту же мысль, Робеспьер 11 плювиоза (30 января) 1794 г. говорил с три-

буны конвента: «Зачем желают, чтобы я проводил различие между правительством и народом, который сделал себя сообщником преступлений своего столь вероломного правительства? Я не люблю англичан, поскольку это слово напоминает о наглом народе, осмеливающемся вести войну против великодушного народа, который отвоевал себе свободу»¹².

Наиболее ярким проповедником идеи «революционной войны» был уроженец графства Клеве прусский барон Клоотс, принявший по тогдашней моде имя Анахарсиса. Еще летом 1791 года Клоотс предрекал скорое установление «всеобщего суверенитета» и образование «одной-единственной нации, включающей все человечество». Столицей будущей «всемирной республики», разумеется, должен был стать Париж¹³. Весной и летом 1792 года Клоотс был близок к жирондистам, разделяя не только их проповедь «революционной войны», но и невнимание к интересам народных масс, положение которых, по его мнению, можно было улучшить только распространением образования и благотворительностью. Перейдя в ноябре 1792 года в лагерь якобинцев, Клоотс сохранил немало от жирондистских воззрений. Пропагандируемая им «всемирная республика» рисовалась его взору как царство гармонии, достигнутой в результате утверждения свободы торговли¹⁴.

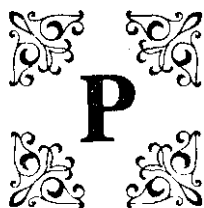
Осенью 1794 года во время острой борьбы внутри якобинского блока было принято решение об исключении иностранцев из конвента. Вскоре последовал приказ Комитета общественной безопасности об аресте Клоотса. В обвинительном акте «оратору рода человеческого», как себя именовал Клоотс, вменялось в вину намерение восстановить монархию и даже «открыть двери тюрем и направить освобожденных преступников против конвента, уничтожить республику путем разжигания гражданской войны, клеветы, возбуждения мятежей, порчи нравов, подрыва общественных принципов, удушения революции голодом...» Когда Клоотса везли к зданию Революционного трибунала, толпа провожала его криком «Пруссака на гильотину!» Он отвечал: «Пусть на гильотину, но признайте, граждане, ведь странно, что человек, которого сожгли бы в Риме, повесили в Лондоне, колесовали в Вене, будет гильотинирован в Париже, где восторжествовала республика»¹⁵.

Попытка осуществить идею ликвидации национальных барьеров в период восходящего развития капитализма была, конечно, ни чем иным, как утопией. Она чревата была «экспортом революции» вкупе с национальной асси-

миляцией, насильственный характер которой вполне сохранялся, под какими бы демократическими лозунгами она ни проводилась. Эта идея, по сути дела, шла вразрез с лозунгами интернационального равенства и братства, которые несла на своих знаменах революционная армия и которые стали мощным стимулом развития национально-го самосознания народов, пробуждавшихся от вековой спячки.

Проповедь «революционной войны» помогла победе интервенционистской тенденции в политике главных европейских держав, хотя эта тенденция встречала кое-где сопротивление и торжество ее отнюдь не было предрешенным делом.

Пестрая коалиция



азличие международных условий двух революций конца XVIII века — американской и французской — можно сформулировать в немногих словах. Американская буржуазная революция могла опираться на прямую или косвенную помощь коалиции феодально-абсолютистских держав, выступивших против буржуазной Англии. Через

10—15 лет против французской буржуазной революции сформируется коалиция феодально-абсолютистских держав, возглавляемая той же Англией. А между тем в течение первых двух с половиной лет революции, начавшейся 14 июля 1789 г. штурмом Бастилии, иностранная интервенция, которой добивались роялисты, представлялась лишь довольно отдаленной и неопределенной перспективой. Европейские державы предпочитали делать вид, что якобы добровольное принятие Людовиком XVI конституции 1791 года означает «законное» оформление нового политического порядка. Если конституционная монархия уже за целый век до того утвердилась в Англии, почему бы не смириться с ее установлением и во Франции? Правда, принимались меры к смягчению разногласий, разделявших двух основных возможных участников интервенции — Австрию и Пруссию. Этому способствовала политика

Англии, в это время еще не предполагавшей втягиваться в войну с Францией, но считавшей не лишним подготовиться к такой возможности. На Рейхенбахской конференции (июль 1790 г.) после длительного торга Пруссия согласилась не вмешиваться в дела Бельгии. В результате австрийские войска смогли в ноябре 1790 года сокрушить национально-освободительное движение бельгийского народа. Царское правительство в августе 1791 года успешно закончило войну с Турцией, и его войска подавили национально-революционное движение в Польше. Екатерина II была заинтересована в интервенции против Франции не только для уничтожения «революционной заразы», но и для отвлечения внимания Австрии и Пруссии от Польши, которой грозил окончательный раздел. Однако именно поэтому, думая о походе на Запад против революционного Парижа, в Вене и Берлине постоянно оглядывались на Восток, опасаясь упустить свою долю добычи. В результате долгое время ничего не решалось. Еще в первые месяцы 1792 года — незадолго до начала войны — фаворит Марии-Антуанетты граф Ферзен писал (6 января 1792 г.) о брате королевы императоре Леопольде: «Император боится войны, боится вмешиваться в Ваши дела»¹. Смерть Леопольда 2 марта 1792 г. мало что изменила в политике Вены, которая, кроме всего прочего, опасалась в случае войны потерять Бельгию. Еще более удивительным было то, что прусский посол получил указание вступить в дружеские отношения с революционерами и один из лидеров жирондистов — Петион — получил от него материалы для предъявления Национальному собранию с целью, чтобы оно лишило короля права решать вопросы войны и мира. «Принципально» за интервенцию выступали только короли Испании и Швеции, однако они могли сыграть лишь второстепенную роль в походе против революции.

Особое значение в этих условиях приобретала позиция Англии, а она не была predetermined. В канун революции обе стороны, следуя традициям векового соперничества, обвиняли друг друга в стремлении к господству. Французский министр иностранных дел Монморен писал, что попытка достигнуть соглашения с Англией приведет лишь к тому, что она из зависти и ненависти постарается установить свое преобладание над Францией². А несколько ранее лидер вигов Ч. Фокс, выступая в парламенте, обвинял Францию, что она старается установить свое владычество в Европе³.

Взятие Бастилии сначала рисовалось за Ла-Маншем

торжеством просвещенного столетия над средневековым варварством. Такое отношение преобладало в английском общественном мнении, ему не оставались вполне чуждыми и правительственные сферы. Немногим более чем через год после падения Бастилии, 23 июля 1790 г., в британской палате лордов обсуждалось предложение установить день, когда надлежит вознести благодарственный молебен по случаю столь знаменитой победы цивилизации. При несколько другой раскладке голосов в палате День Бастилии мог даже быть объявлен английским праздником⁴. И позднее, вплоть до конца 1791 года французская революция, с большим сочувствием встреченная в либеральных и демократических кругах, вызывала очень противоречивые чувства даже среди верхушки господствующих классов. Тупой Георг III считал революцию справедливым наказанием династии Бурбонов за поддержку мятежников во время войны британских колоний в Северной Америке за независимость⁵.

Что касается правительства Уильяма Питта Младшего, то оно рассматривало французские события прежде всего под углом зрения того, как они отразятся на системе европейского равновесия. Питт и его министр иностранных дел Гренвил полагали, что революция приведет к ослаблению внешнеполитических позиций Франции, рассорит ее с монархическими правительствами других европейских стран. К тому же кабинет Питта, добившийся крупных дипломатических успехов после признания независимости бывших британских колоний, полагал, что сохранение мира будет способствовать успехам английской промышленности в завоевании иностранных рынков. В Лондоне тем менее были склонны внимать призывам роялистов к интервенции, поскольку там было известно, что британский посол в Париже лорд Дорсет считал именно аристократическое окружение короля военной партией, стремящейся с помощью внешней авантюры погасить революционный пожар внутри Франции. Питт еще в 1789 году объявил, не колеблясь, что поводом для войны может послужить только французское вторжение в Бельгию⁶. Трубадуром интервенции выступал Эдмунд Бёрк. В палате общин он уже 5 февраля 1790 г. призывал к «крестовому походу» против «иррациональной, беспринципной, объявляющей многих вне закона, конфискующей, грабящей, свирепой, кровавой, тиранической демократии»⁷. Однако его голос в то время звучал одиноко, да и самого паладина монархизма терпеть не мог король Георг III,

не простивший ему еще недавней поддержки борьбы английских колоний за независимость. Питт, значительно более гибкий политик, писал позднее о программе Бёрка, что в ней «много того, чем следует восхищаться, и ничего, с чем можно согласиться»⁸. Как-то (в сентябре 1791 г.) Питт пригласил к себе членов своего правительства — Гренвила и Аддингтона, а также Бёрка. Премьер-министр считал преувеличенными опасения Бёрка, что «французский пример» окажет неблагоприятное влияние на английский народ. «Не бойтесь ничего, мистер Бёрк, — заявил Питт. — Будьте уверены, что мы останемся теми, кем являемся, до дня Страшного суда». «Безусловно так, сударь, — ответил Бёрк, — но я боюсь бессудного дня»⁹. (Бёрк явно намекал на пугавшую его угрозу самосуда толпы.) Однако Питт все же, не поддаваясь подобным настроениям, продолжал следовать линии нейтралитета и в 1790, и в 1791 годах. Выступая в феврале 1792 года в палате общин, премьер-министр заявил: «Никогда еще в истории Англии не было времени, когда мы, исходя из европейской ситуации, могли бы с более разумным основанием, чем ныне, рассчитывать на 15 лет мира». Когда в апреле 1792 года началась война на континенте, Питт и Гренвил были убеждены, что раздираемая острой внутренней борьбой Франция не сумеет устоять против прусско-австрийской коалиции. Гренвил писал в июне, что, «как только германские войска вступят в Париж», по всей вероятности, «какая бы партия ни находилась у власти в Париже, она обратится (к Лондону. — Авт.) с просьбой о посредничестве»¹⁰. Британский министр предполагал, таким образом, что война закончится сравнительно второстепенными изменениями границ, а Англия сохранит столь выгодную для нее роль гаранта европейского равновесия. В то время в Лондоне мыслили категориями теории баланса сил, а не нового векового конфликта.

После свержения монархии во Франции в августе 1792 года британское правительство отозвало своего посла Гауэра, которому, однако, перед отъездом было предписано подчеркнуть сохранение Англией нейтралитета. Даже в ноябре 1792 года Гренвил считал, что «иностранный интервенция послужит только делу анархии, вызовет беспорядки». Английский министр иностранных дел даже обсуждал перспективу признания Французской республики в случае упрочения нового режима. Правительство Питта не оставляло мысли о возможности сохранить нейтралитет вплоть до конца 1792 года, надеясь прийти к соглашению с

французами, ограждающему интересы Англии и Голландии в Бельгии.

Пропаганда жирондистами идеи «революционной войны» помогла реакционным монархическим правительствам убедить не только дворянство, но и значительные слои буржуазии, что война против французской республики — это будто бы борьба за сохранение права частной собственности, чем вековой конфликт не был и не мог быть в тот исторический период. (А это, в свою очередь, позволило, например, в Англии торийскому правительству Уильяма Питта сплотить основную часть буржуазии против вигов, возражавших против войны. Как констатировала несколько позднее, в 1794 г., уже в то время влиятельная и осведомленная лондонская газета «Таймс», «почти все собственники в Англии поддерживают нынешнее правительство в намерении продолжать войну против Франции»¹¹.)

Осенью 1792 года в Англии заметно усилилось народное, демократическое движение. Например, численность членов Лондонского корреспондентского общества, ставшего главной организацией «английских якобинцев», выросла с 295 в октябре примерно до 800 в конце года. Казалось, начинал сбываться оптимистический прогноз жирондистов. Так оценивал ситуацию и французский министр иностранных дел Лебрен. В свою очередь, и английский кабинет продолжал еще следовать прежним курсом. В декабре 1792 года английское правительство предложило другим державам, сохранявшим нейтралитет, чтобы они совместно и от своего имени, а также от имени правительств Пруссии и Австрии предложили Парижу следующие условия: Франция возвращается к границам 1789 года, отменяет меры, противоречащие ранее заключенным договорам и нарушающие интересы других держав, а те, в свою очередь, признают Французскую республику и прекращают вмешательство в ее внутренние дела. Лондон оставлял в силе сделанные предложения еще несколько недель — даже некоторое время после получения известия о казни короля Людовика XVI. В Париже в январе 1793 года тоже, казалось, начало возобладать мнение о необходимости возобновления переговоров и отмены с этой целью декретов конвента от 19 ноября и 15 декабря 1792 г. о ведении «революционной войны». Но время уже было упущено. Выступая в палате общин 12 февраля 1793 г. с объяснением мотивов объявления войны, Питт разъяснял, что правительство решило развернуть борьбу против системы,

существование которой имело бы роковые последствия для внутреннего мира в Англии, безопасности ее союзников, закона и порядка в любом европейском государстве и даже благополучия всего рода человеческого. Однако и после объявления войны английский кабинет колебался, стоит ли ставить целью войны реставрацию «старого порядка» во Франции, на чем настаивали единомышленники Э. Бёрка, и считать французских роялистов прямыми союзниками Великобритании¹².

В Париже сторонники войны надеялись, что Англия находится накануне революционного взрыва. Хотя в это время в различных районах Великобритании и были созданы демократические клубы и общества, но революционной ситуации в стране не было. По существу, проповедники «революционной войны», в том числе и французские дипломаты, клюнули на удочку правительства Питта. Последнее сознательно сгущало краски, чтобы вызвать панические настроения среди собственнической Англии и, используя их, провести через парламент репрессивные законы против демократического движения. Под влиянием проповедей «революционной войны» конвент принял ряд мер, которые позволили Англии представить себя обороняющейся стороной, а революционное правительство Франции — наследником агрессивных планов Людовика XIV. Питт говорил 1 февраля в парламенте, что правители Франции пытаются заставить другие страны принять их систему правления «под жерлами пушек»¹³. Однако очевидно, что Питт рассматривал конфликт как обычную войну против Франции. Напротив, правое крыло виггов (Бёрк, Виндхем и др.), вступившие в блок с правительством, считало этот конфликт прежде всего походом против революции от имени и во имя восстановления старого режима¹⁴.

Хорошо известно, чем окончился контрреволюционный поход против Франции. Первое вторжение было отбито осенью, когда после победы при Вальми французы заняли Бельгию. В 1793 году начался новый натиск войск антифранцузской коалиции. Восстание 31 мая — 2 июня 1793 г. привело к переходу власти от жирондистов к якобинцам. К этому времени интервенты сумели добиться значительных успехов. Казалось, что, опираясь на силы внутренней реакции, они потопят в крови якобинскую республику. Однако якобинцам, опиравшимся на народные массы, удалось повернуть ход событий. Были сформированы 14 новых армий, во главе их поставлены молодые генералы,

завоевавшие славу в боях против неприятеля. Осенью 1793 года революционные войска всюду перешли в контрнаступление. К весне 1794 года французская земля была очищена от врагов. В мае и июне 1794 года в решающих сражениях под Туркуэном и Флерюсом были разбиты главные военные силы интервентов. Начались острые раздоры в рядах коалиции. Пруссия, после 1792 года уклонявшаяся от участия в военных действиях, требовала все новых английских субсидий и, не получив их, в марте 1794 года отвела свои войска к Кёльну. Тогда в Лондоне скрепя сердце решили раскошелиться. 17 апреля 1794 г. был подписан Гаагский договор, по которому Пруссия в обмен на крупные субсидии обещала выставить 62-тысячную армию для борьбы вместе с австрийцами против наступающих французских войск. Впрочем, вместо выполнения этого обещания король Фридрих Вильгельм II послал 50 тысяч солдат в Польшу для подавления вспыхнувшего там восстания, руководимого Костюшко. Интервенция против Польши окончательно похоронила шансы на успех интервенции против Франции. Временно сдерживавшееся английским золотом распадение антифранцузской коалиции стало фактом. В то же время во Франции лозунг мира использовала контрреволюция. Роялистские агитаторы, спекулируя на усталости от войны, и до, и тем более после контрреволюционного переворота 9 термидора, уверяли, что иностранные державы, особенно Англия, будут воевать против Франции, пока не будет восстановлен на престоле король¹⁵. А в то же самое время, осенью 1794 года, в конвенте правый термидорианец Бентабол, нападая на еще оставшихся в конвенте якобинцев, говорил, что европейские державы после победы республики стремятся к окончанию войны, но не захотят вести мирные переговоры, пока в национальном представительстве сохраняется якобинская партия¹⁶.

Был ли неизбежен конфликт Франции с Англией и феодальными монархиями континентальной Европы? Первоначально его не считали таковым ни Робеспьер во Франции, ни Питт в Англии, ни даже влиятельные политики в других европейских странах. Объективно их позиция отражала то обстоятельство, что революционный переход от феодализма к капитализму должен был с неизбежностью осуществляться в рамках страны, где для этого созрели необходимые условия. Однако не было ни тогда, ни впоследствии «правила», по которому этот переход должен был обязательно сопровождаться вооруженным

экспортом революции, наталкивавшимся на экспорт контр-революции. В исторических условиях никогда не было заложено неизбежности ни того, ни другого «экспорта», хотя существовали для них более или менее реальные возможности. Эти возможности определялись как соотношением классовых сил в данной стране, так и особенностями существовавшей в тот или иной период системы международных отношений.

Никак нельзя согласиться и с высказывавшейся западными историками идеей, что все дело сводилось к взаимному непониманию мотивов. Один из них, профессор нью-йоркского университета К.-У. Ким, писал: «Появление одного идеологически непохожего актера (т. е. государства. — Авт.) вело к растущему расстройству сети коммуникаций среди международных актеров. Принятие решений во Франции перестало проводиться старым, рутинным методом, когда оно было в основном делом избранных официальных лиц. По мере развития революции король и его министры все более отеснялись от контроля над внешней политикой Франции вследствие растущего давления снизу. Ломка стабильного процесса принятия решения могла бы иметь лишь ограниченное влияние на стабильность международной системы, если бы другие страны понимали динамику революционной ситуации и действовали в соответствии с ней. Такая интеллектуальная способность у них блестяще отсутствовала». По мнению профессора К.-У. Кима, война возникла потому, что консервативные силы смотрели на события сквозь традиционные очки и могли реагировать на нее только в привычных рамках теории «равновесия сил». Однако война, начавшаяся в этих рамках, повлияла на углубление революционного процесса во Франции, ускорила крушение монархии, а оно революционизировало войну¹⁷. В этих рассуждениях есть доля истины, но в них неправильно сбрасывается со счета влияние и жирондистской проповеди «революционной войны», и настроений в пользу контрреволюционного похода среди правящих кругов стран антифранцузской коалиции. К.-У. Ким задает далее вопрос: *какие требования предъявляет революционная эпоха к внешней политике консервативных правительств?* Его ответ сводится к тому, что следует либо вообще не вмешиваться в ход революции, либо уж объявлять с самого начала по-настоящему эффективный «крестовый поход», как это предлагал Бёрк. В таком походе нельзя преследовать частные задачи территориальных приращений, а лишь главную цель — подавление революции. В 1792 году

консервативные правительства из-за своей косности совершили эту ошибку и в результате сами способствовали краху старой системы международных отношений. Американский исследователь склоняется к мысли, что революционная Франция могла быть инкорпорирована в систему международных отношений без кровопролития в течение четверти века, «если бы консервативные государственные деятели Европы правильно поняли природу французской революции и соответственно приспособили к этому свою политику»¹⁸.

Особенностью формирования сторон в новом конфликте была социальная неоднородность консервативного лагеря. Наряду с силами старого строя он включал и государства, где буржуазия уже находилась у власти, но выступала против революционных методов утверждения буржуазного строя в других странах. В свою очередь, это способствовало тому, что значительная часть консервативного лагеря нередко была готова преследовать цели не феодальной, а буржуазной контрреволюции.

Объективно Англия возглавила коалицию феодально-монархических государств Европы в борьбе против Франции, в которой происходила буржуазно-демократическая революция. Но Англия, выступая организатором интервенции против буржуазной революции, сама была буржуазной страной, и это не могло не определять те цели, которые она ставила своим участием в вековом конфликте на стороне сил феодально-абсолютистской реакции.

У феодальных правительств широкие интервенционистские задачи соседствовали с более ограниченными целями, которые эти правительства преследовали в рамках прежней, разрушенной революцией системы международных отношений. Более того, сами интервенционистские цели порой мотивировались заботой о восстановлении системы европейского равновесия, которая, мол, нарушалась ослаблением Франции, раздираемой внутренней борьбой (именно так был сформулирован один из мотивов войны в манифесте, изданном 25 июня 1792 г. прусским королем Фридрихом Вильгельмом II)¹⁹. Позднее, после первоначальных побед революционных армий, целью уже объявлялось препятствование не ослаблению, а усилению Франции.

В Англии, как уже отмечалось, государственные деятели тоже мыслили категориями уходящей в прошлое системы международных отношений. Но их внешне ограниченные и даже оборонительные цели в Европе — прежде

всего недопущение французской оккупации Бельгии и Голландии — были лишь выражением другой цели — обеспечения условий для сохранения английского господства на море, торгового преобладания и быстрого расширения колониальных владений. Недаром горячие головы даже открыто провозглашали в печати совсем уже «глобальные» цели. Так, из изданного в 1794 году в Лондоне сочинения «Краткое изложение важных преимуществ, которые Великобритания должна извлечь из участия в войне», можно было понять, что этими «преимуществами» должны стать завоевание «по крайней мере на следующее столетие мировой (торговой. — Авт.) монополии и одновременно фактическое создание всемирной империи»²⁰.

До революции государственные деятели XVIII столетия не преследовали идеологических целей, характерных для векового конфликта. Поэтому, даже будучи вовлеченными в вековой конфликт, реакционные правительства не только не оставляли своих экспансионистских целей, но даже неизменно были готовы отдать им предпочтение перед целями контрреволюционной интервенции, когда возникала необходимость делать такой выбор. Цитированный выше К.-У. Ким считает, что «в международной системе XVIII века отсутствовал адекватный механизм компенсации, когда приходилось иметь дело с революционными переворотами, то есть вызовом, бросаемым всей системе»²¹. После 1789 года идеология способствовала крушению старой системы не только постановкой новых внешнеполитических целей, но и в качестве идеологии социального переворота, позволившего мобилизовать новые средства для достижения этих целей.

После падения якобинской диктатуры все заметнее становился разрыв во внешней политике между словами и делами победивших термидорианцев. Со страниц правительственного официоза один из них, обличая «дипломатию деспотов», так формулировал основы политики французской республики:

«Ее союзы, как указывалось с трибуны Национального конвента, должны обеспечивать взаимную оборону, дружбу народов, процветание торговли, а не тщеславие династии и спесь дворов...

Ее договоры: они должны заключаться народами, а не придворными монархов, быть преданы гласности. Секреты приличествуют только преступлениям и склонностям тиранов».

Более того, в статье предрекалось в результате осу-

ществления этих принципов наступление «счастливой эпохи и всемирного братства»²².

На деле все обстояло совсем иначе — и чем дальше, тем больше.

Исподволь новые аннексионистские тенденции усиливались и начинали брать верх в политике термидорианской республики. Еще в августе 1795 года один голландский дипломат заметил французскому представителю, знаменитому Сиейесу, что республика, провозгласив права человека, подвергает столь жестокому ограблению соседнюю страну. Сиейес ответил:

— Принципы пригодны для школы; государству надлежит заботиться о своих интересах.

Один из видных термидорианцев — А. К. Марлен (из Тионвилля) — заявил:

— Республика должна диктовать законы Европе. Я считаю, что мир следует заключить за счет всех наших врагов, и особенно за счет самого слабого из них²³.

К 1796 году международное положение Франции претерпело коренное изменение по сравнению с тем, каким оно было в первые годы войны. Французская республика уже не находилась в полной изоляции. Испания и Голландия не только выбыли из числа ее противников, но превратились в вольных или невольных союзников. Пруссия и Сардиния также вышли из антифранцузской коалиции. Лондон не мог рассчитывать и на содействие петербургского кабинета, особенно после последовавшей 16 ноября 1796 г. неожиданной смерти Екатерины II. Это заметно ослабляло позиции Австрии, которая выразила протест английскому правительству против намеченных переговоров с Францией. Поэтому для успокоения Вены английская дипломатия должна была демонстративно проявлять внимание к защите интересов единственного своего важного союзника на континенте.

22 октября 1796 г. во французскую столицу прибыл опытный британский дипломат Джеймс Гаррис, получивший титул графа Мэлмсбери. Поездка из Лондона в Париж заняла целую неделю. Э. Бёрк, резко критиковавший переговоры с «цареубийцами», саркастически заметил, что Мэлмсбери продвигался так медленно, потому что он «проделал весь путь на коленях»²⁴. Острота «слишком хороша, боюсь, что ее не забудут»²⁵, — писал, узнав о ней, сам Мэлмсбери. Однако она имела мало отношения к действительности. С самого начала переговоров британский дипломат заявил, что речь может идти только

о заключении мира между Францией и Англией со всеми ее союзниками при полном учете их интересов. Инструкции, которые привез с собой Мэлмсбери и которые он дополнительно получил, уже находясь в Париже, содержали, в частности, требование либо возвращения Южных Нидерландов (Бельгии) под власть Австрии, либо превращения их в независимое государство с полной территориальной компенсацией для Вены, восстановления в основном старых границ между германскими княжествами и Францией, ухода французов с занятых ими территорий в Италии, тогда как англичане сохранили бы за собой почти все захваченные ими в ходе войны французские и голландские колонии, и т. д.

Как разъяснял Мэлмсбери своим французским собеседникам, «примирение многочисленных и различных интересов явно необходимо для восстановления общего умиротворения и обеспечения политического баланса сил в Европе»²⁶. В последних словах выявлялась и подлинная причина совсем несвойственной обычно Лондону трогательной заботы об интересах своих союзников. Впрочем, подобную же аргументацию выдвигал и возглавлявший французскую делегацию Делакура. «Он заявил, — сообщал Мэлмсбери, — что никто не может ожидать того, что Французская республика будет с безразличием наблюдать за расширением границ других великих держав Европы и для обеспечения безопасности собственной и своих союзников также рассчитывает на такое расширение. Берега Рейна являются ее естественными пределами»²⁷. В ходе переговоров Делакура прямо заявлял, что французские аннексии станут благом для Европы, поскольку, мол, присоединение Бельгии уничтожит источник, порождавший все войны в течение прошлых двух веков, а занятие левобережья Рейна, этой «естественной границы Франции, обеспечит умиротворение Европы на будущее века...»²⁸.

В Лондоне французская аргументация, построенная на смеси теорий «равновесия сил» и «естественных границ», была воспринята без всякого сочувствия. Там были готовы на признание французской республики, но не ее завоеваний. Английские же условия были явно неприемлемы для Директории и становились совсем нереалистичными по мере того, как стали приходить известия о все новых победах французской армии под командой генерала Бонапарта над австрийскими войсками в Италии.

Ключи к войне и миру в Европе, точнее говоря, к продолжению или окончанию векового конфликта в во-

оруженной форме, лежали в Париже и Лондоне. Сразу же после переворота 18 брюмера Наполеон Бонапарт обратился с письмами к английскому королю Георгу III и императору Францу II. В письме к Георгу III Наполеон писал: «Неужели же эта война, которая уже восемь лет разоряет все четыре части света, не должна кончиться? Как могут две самые просвещенные нации приносить в жертву суетному честолюбию интересы торговли, внутреннее благосостояние и счастье семейств?» Австрия ответила, что не будет вести переговоры отдельно от своих союзников. Английский министр иностранных дел Гренвил заявил, что условием окончания войны должно быть восстановление на троне Бурбонов. Лондон подчеркивал характер войны как векового конфликта, провозглашая своей военной целью реставрацию старого порядка во Франции. Вместе с тем политика Директории и тем более Консульства уже была отрицанием идеи сосуществования, поскольку от Парижа в немалой степени зависело заключение относительно прочного мира с феодальными государствами, не затрагивающего ни нового общественного строя, ни территориальной целостности Франции. Цементирующим началом для второй и последующих антифранцузских коалиций и даже главной (хотя, конечно, не единственной) причиной самого их возникновения была борьба не столько против нового общественного строя, против революции, сколько против французской экспансии. После ряда побед Наполеон принудил к миру Австрию (1801 г.). Даже главный враг — Англия должна была пойти на заключение мирного договора, вошедшего в историю под названием Амьенского мира, который был основан на признании правительства новой, послереволюционной Франции.

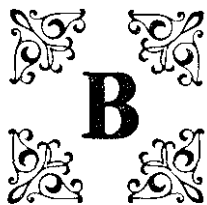
Амьенский мир вполне мог стать, но не стал концом войн, начавшихся в 1792 году. Для Франции же отрицание идеи сосуществования все более становилось предлогом, оправдывающим политику захватов. Соблюдение мирных договоров, заключенных республиканской Францией, начиная с Базельского мира 1795 года, было бы с точки зрения перспектив развития народов Европы несравненно предпочтительнее тех почти непрерывных войн, которые они испытали в последующее десятилетие.

Наполеон принял титул императора, чтобы не восстанавливать звание короля, тесно связанное в сознании французов с дореволюционным, старым порядком. Казалось бы, превращение Консульства в империю могло рассматриваться как шаг к сближению политического строя

Франции со строем других монархических государств. Однако на деле этот шаг Наполеона означал не демонстративный разрыв с революцией, с которой еще был прямо связан режим Консульства, а подготовку к новым завоеваниям. Европейцы расценивали это как притязание на наследие Карла Великого, на создание вселенской державы. И это действительно соответствовало взглядам Наполеона на империю. Еще за полтора года до ее провозглашения Талеيران в инструкции от 23 октября 1802 г., составленной по прямому указанию первого консула для французского посла в Лондоне Отто, писал, что, «если Англии удастся снова найти себе союзников на континенте, это заставит французов покорить Европу... Как знать, много ли времени потребуется ему (Наполеону. — Авт.), чтобы изменить лицо Европы и восстановить Западную империю». И недаром впоследствии Наполеон не раз делал своей резиденцией Аахен — столицу империи Карла Великого.

Войны Наполеона по своим социальным последствиям были во многом продолжением противоборства Французской республики с коалициями феодально-абсолютистских государств. Вместе с тем это были со стороны Франции уже не революционные, а империалистские войны. Изменившийся характер войн нашел отражение даже в официальной французской пропаганде. Она, с одной стороны, постоянно подчеркивала «освободительную» миссию французской армии, а с другой — открыто связывала ее с достижением откровенно имперских, захватнических целей, включая замену на тронах прежних монархов родственниками и приближенными Наполеона. В результате войны Наполеона являлись одновременно и отрицанием, и продолжением борьбы в рамках векового конфликта.

Схожие антиподы



XVIII веке, писал известный военный теоретик Клаузевиц, народ непосредственно не участвовал в войне. Во время революции борьба против неприятеля стала делом самого народа, и вследствие этого «на сцене появилась сила, о которой до той поры не имели никакого представления»¹. Народ был вовлечен в борьбу под лозунгами отстаивания независимости и прав нации.

В XVIII веке понятие нации формировалось в тесной связи с идеями Просвещения. В январе 1789 года Сийес в знаменитой брошюре «Что такое третье сословие?» уже прямо объявлял, что «третье сословие включает в себя всех, кто составляет нацию. Все, кто не принадлежит к третьему сословию, не могут считаться входящими в состав нации»². Иной смысл в понятие нации стремились вложить монархические круги. В 1765 году их рупор — газета «Меркюр де Франс» писала: «Наша родина — это король, объединенный со своими подданными»³.

Во имя любви к родине и своему народу, в борьбе за его национальное раскрепощение совершены героические подвиги, слава о которых не меркнет в веках. Патриотическими идеалами были вдохновлены труды гениальных мыслителей и художников, величайшие творения человеческого духа пронизаны пылким патриотическим чувством. И в то же время со ссылкой на высшие интересы нации совершались самые черные злодеяния всемирной истории.

Пропасть разделяет антиподы — национальное чувство, патриотизм и реакционный национализм, то есть идеологию и политику правящих классов в эпоху капитализма в сфере национальных отношений. Но порой они выглядят внешне схожими, и в числе причин этого — маскировка, к которой прибегали и прибегают идеологи реакционного национализма. Еще на сравнительно ранних этапах формирования наций можно обнаружить и зародыши идеи богоизбранности, исключительности собственной народности. Оливер Кромвель, например, в 1655 году заявлял, что «английский народ отмечен знаком божьим»⁴. В годы Великой французской революции английская реакционная пропаганда, рассчитанная на «простолюдинов», широко использовала национальную рознь, укоренившиеся предрассудки для возбуждения ненависти к французам как «якобинцам». История привлекалась для доказательства, что французы — извечные враги английского народа⁵.

Французским просветителям, мечтавшим о скором торжестве всечеловеческого братства, подчеркнутое выражение национальных чувств казалось одной из форм фанатизма. Как заметил знаменитый французский историк А. Матьез, такая позиция не казалась странной для французов той эпохи, «еще не считавших необходимым афишировать глубокую ненависть против других наций»⁶. Аналогичной была позиция немецкого Просвещения⁷.

Вместе с тем уже в годы революции стала проявляться и вторая, обратная сторона национальной идеологии прогрессивной тогда буржуазии, отражавшая ее сущность как эксплуататорского класса.

...Тяжелой, тревожной зимой 1793/94 годов, когда яacobинская республика напрягала все силы против коалиции внешних и внутренних врагов, конвент, решения которого ждали сотни неотложных дел, тем не менее считал нужным заняться проблемой национальных меньшинств. 8 плювиоза 2-го года республики (27 января 1794 г.), выступая в конвенте, член революционного правительства Бертран Барер заявил: «Я сегодня хочу привлечь ваше внимание к наиболее прекрасному языку Европы, который впервые смело освятил права человека и гражданина, который призван сообщить миру самые высокие помыслы о свободе и великие политические теории». Барер отвергал все современные ему языки, кроме французского: «Оставим итальянский язык для наслаждения духовной музыкой и изнеженной и развращенной поэзии. Оставим немецкий язык, мало пригодный для свободных народов до тех пор, пока не будут уничтожены феодальное и военное правительства, чьим достойным орудием он является. Оставим испанский язык для его инквизиции и его университетов, пока на нем не будет сказано об изгнании Бурбонов, которые лишили власти народ всей Испании. Что же касается английского языка, который был великим и свободным, то до тех пор, пока он не обогатился словами «владычество народа», этот язык — лишь наречие тиранического и гнусного правительства, банков и векселей»⁸. «Хотя Барер, — справедливо отмечал историк Л. Гершей, — и не оперировал псевдонаучными доводами, с помощью которых филологи в XIX веке доказывали превосходство своего национального языка над всеми другими, он хорошо обходился и без них»⁹. И не менее характерна фигура самого Барера — ловкого честолюбца и карьериста, который уже вскоре оказался одним из организаторов контрреволюционного переворота 9 термидора, а впоследствии — наемным апологетом и шпионом Наполеона и даже иностранных дипломатов¹⁰.

Идея ликвидации национальных барьеров, происходящей в результате свержения тиранов, приобретала совсем новый смысл по мере превращения освободительных войн французской революции в империалистские войны термидорианцев и Наполеона. Она превратилась, по сути дела, в идеологическое обоснование захватов и попыток на-

сильственной ассимиляции «великой нацией» (французами) населения завоеванных ею территорий. Так, бельгийцы были попросту объявлены французами. 1 октября 1795 г. Бельгия уже формально была присоединена к Франции и разделена на департаменты. Ликвидация феодализма в политической и общественной жизни сопровождалась здесь потерей национальной независимости, многих проявлений национальной самобытности, вплоть до исчезновения старых названий. Как пишет известный бельгийский историк А. Пиренн, самое имя Бельгии «потеряло национальное значение и стало лишь географическим понятием»¹¹.

«Национальную» идею подкрепляла другая, ей внешне противоположная — идея естественных границ, которыми для Франции объявлялись Рейн, Альпы и Пиренеи. Директория требовала не только границы по Рейну, но овладения обоими его берегами (чтобы французские моряки не имели дела с иностранными властями), а также крепостями на правом берегу — иначе Рейн не будет представлять никакой ценности, находясь под дулами иностранных пушек. Левый берег Рейна требовали как барьер против иностранного нашествия, оба берега — чтобы защитить этот барьер, а крепости на правом берегу — чтобы защитить барьер барьера¹². Так же обстояло дело и в ряде других районов, которые были включены в состав Франции. Не менее важно и другое. «Несомненно, что на ранних стадиях французской революции, — справедливо отмечал Ж. Шевалла, — ее лидеры претендовали на родство не с французским национализмом, а с космополитизмом своих учителей, «философов»... Однако высокомерный универсализм, исповедуемый парижскими революционерами, содержал в себе по принципу противодействия все национализмы Европы»¹³.

Надо отметить, что буржуазные историки, отождествляющие борьбу за национальную независимость (и вообще отстаивание национальных интересов) с национализмом, любят оперировать такой внешне эффектной концепцией: французская революция, порожденная Просвещением с его верой в торжество интернационалистического гуманизма, в действительности развенчала эти идеалы и открыла собой «эпоху национализма». Об этом писал в ряде специальных исследований известный американский историк Г. Кон. О том же можно прочесть и в трудах английского профессора А. Коббена, сочетавшего резкие обвинения по адресу Просвещения с мыслью,

что революция была в идеологической сфере его отрицанием. Она, по словам Коббена, сбилась с усыпанного наслаждениями пути просвещенного счастья на тесную, узкую дорогу якобинской добродетели. При этом идеал мира, который рисовался философам, сменился «крестовым походом» революционеров и наполеоновскими мечтами о завоевании¹⁴. Об этом же можно прочесть во многих работах Ф. Мейнеке, Г. Риттера и других наиболее крупных представителей новейшей западногерманской историографии. Этот вывод имеет мало общего с действительностью.

Надо отвергнуть отождествление понятий «национальное движение» и «национализм», являющееся общей чертой буржуазной исторической литературы. Тогда станет ясным, что национализм явился своего рода ответом на национальные движения, пробужденные к жизни великой революцией. Сам Наполеон делал вид, что не был заражен французским национализмом. Разумеется, наполеоновская пропаганда прославляла «великую нацию», но как «носителя идей равенства», а не как народ, обладающий природными преимуществами над другими народами. Конечно, при этом Наполеон проводил резкое разграничение между «старыми департаментами» (собственно Францией) и другими территориями, прямо или косвенно включенными в состав огромной империи. Именно здесь проявлялась суть его политики — эксплуатация покоренных стран в интересах крупной французской буржуазии. Заигрывая с национальным принципом, когда это было в его интересах, император совершенно не считался с ним, перекраивая по своему усмотрению карту Европы. Вместе с тем он явно недооценивал возможности национально-освободительной борьбы, несмотря на предостережения, которые получал от своих подчиненных (например, от маршала Даву, командовавшего в 1811 г. войсками в Гамбурге).

Действия Наполеона не соответствовали тенденциям общественного развития даже в тех случаях, когда они как будто совпадали с целями политики императорской Франции. Так, им, казалось бы, соответствовало восстановление Польши, которая могла бы быть превращена в опору Франции в Восточной Европе. На деле польский вопрос был превращен Наполеоном в разменную монету при решении его главной задачи — нанесения поражения Англии и утверждения европейской (а потом и мировой) гегемонии Франции. В соответствии с задачами французской политики польские земли отбирались у одних госу-

дарств, передавались другим, ставились непосредственно под контроль наполеоновских наместников. В Париже строились планы выкраивания из этих земель вассальных королевств — и все это при полном игнорировании национальных интересов польского народа. Т. Костюшко еще в конце 1807 года предостерегал своих соотечественников против доверия к плану Наполеона: «Не думаю, чтобы он восстановил Польшу. Он не думает ни о ком, кроме как о себе. Он ненавидит всякое национальное самосознание и еще больше — дух независимости»¹⁵.

Особо показательным в этом отношении было наполеоновское вторжение в Испанию. В конце XVIII — начале XIX века испанские Бурбоны достигли такой же степени вырождения, до которой дошла за столетие до этого их предшественница — испанская ветвь династии Габсбургов. «Ничтожные, безмозглые, бесчувственные кретины» — так отозвалась о королевском семействе хорошо знавшая его графиня Альбани. Они с беспощадной правдивостью изображены на знаменитой картине Гойи. Король Карл IV, высокий дородный мужчина с выдвинутой вперед челюстью и бараньими глазами, был занятым человеком. Он охотился с 9 до 12 и с 14 до 17 часов ежедневно, в любую погоду и не имел ни досуга, ни склонности интересоваться другими делами, за исключением, может быть, только починки часов. Его гордыня граничила, несмотря на добродушный вид, с исключительной жестокостью да еще с полным невежеством (например, Карл через два десятилетия после создания США никак не мог уразуметь этот факт и продолжал именовать американского посланника «представителем колоний»). Он безмятежно сносил супружеское иго своей жены Марии-Луизы Пармской (тоже из рода испанских Бурбонов) — уродливой мегеры, помешанной на своих любовниках из числа гвардейских солдат. Один из них — Мануэль Годой — толстяк с тяжелым, сонливым взглядом и повадками сатира (не лишенный, впрочем, известного ума и хитрости) — полностью подчинил себе королеву и сумел очаровать и коронованного рогоносца, который именовал его не иначе, как «своим лучшим и милым другом». «Где мой Мануйленька?» — неизменно вопрошал король, когда не видел день-другой своего любимца. Королева обещала Годою, что слава его не пройдет, доколе будут существовать небо и земля. Быстро проделавший восхождение от рядового гвардии до первого министра и наделенный всеми мыслимыми орденами, отличиями и титулами, Годой долгое время никак не мог подняться до сознания,

что Пруссия и Россия не являются одним государством. Фаворит третировал даже королеву и превратил свой служебный кабинет в место, куда попеременно в строгой очередности допускались из разных дверей то иностранные послы, то многочисленные и небескорыстные поклонницы всесильного временщика.

Посол Французской республики Алькье доносил, что первый министр Испании имеет преимущественно два качества — полное невежество и склонность ко лжи. Наполеоновский посол Богарнэ, давая более развернутую характеристику Годою, именовал его сластолюбом, лентяем, трусом и утверждал, что он брал взятки за все назначения на государственные посты¹⁶. «Он напоминает быка», — заметил Наполеон после знакомства с Годоем.

В 1793 году Испания вступила в войну против революционной Франции. Плохо снабжаемая и слабо дисциплинированная испанская армия потерпела ряд серьезных поражений. В 1795 году, поспешно заключив мир с победоносным неприятелем, Мадрид отделался лишь уступкой испанской части острова Сан-Доминго. После этого Испания в качестве младшего партнера оказалась втянутой в войны термидорианской и наполеоновской Франции против Англии, поплатившись гибелью флота и возраставшей зависимостью от сильного и бесцеремонного союзника. Таким образом, испанский народ, вовлеченный в «крестовый поход» против французской революции, испытал горечь национального угнетения, участия в войнах за интересы, совершенно чуждые ему, и, наконец, должен был отстаивать независимое существование своей страны от иноземного захватчика.

Политика Годоя, пресмыкавшегося перед Наполеоном, вызвала серьезное недовольство в стране. Свои надежды недовольные связывали с наследником престола принцем Фердинандом (тогда еще не было ясно, в какой мере он унаследовал качества своих достойных родителей). В 1808 году массовое восстание низвергло Годоя. Фердинанд был провозглашен королем. Наполеоновская армия, которая на правах союзника, ведшего войну против Португалии и прибывших туда английских войск, вступила в Испанию, постепенно оккупировала страну. Низложенный Карл IV и Мария-Луиза по совету командующего французскими войсками маршала Мюрата попросили защиты у Наполеона. Император предложил им приехать в Байонну (на юге Франции), куда они и отправились вместе с единствен-

ным несравненным другом Годоем. Самое интересное заключалось в том, что Мюрату и руководителю французской разведки Савари удалось уговорить сына Карла IV последовать за родителями, поскольку Наполеон якобы решит все спорные вопросы к полному удовлетворению Фердинанда¹⁸.

Во время свидания Фердинанда с родителями, происходившего в присутствии Наполеона, члены королевской семьи осыпали друг друга ругательствами, дело едва не дошло до драки. Даже суровый завоеватель был смущен: «Что это за люди!» — воскликнул он, возвращаясь к себе после этой сцены. Наполеон обещаниями и угрозами принудил Бурбонов отречься от своих прав на престол в пользу брата императора — Жозефа Бонапарта. С большим трудом испанские патриоты, обманув бдительность наполеоновской полиции, доставили Фердинанду деньги для бегства в Испанию. Но тот был верен семейной традиции. Взяв присланные деньги, он тут же в льстивом письме попросил у Наполеона руки его племянницы. Император ограничился тем, что поручил Талейрану поместить Фердинанда в один из своих замков. «Если бы принц Астурийский (Фердинанд — Авт.), — писал Наполеон Талейрану, — привязался к какой-нибудь хорошенькой девушке, это было бы недурно, особенно если на нее можно положиться. Для меня чрезвычайно важно, чтобы он не наделал глупостей. Поэтому я желаю, чтобы его забавляли и развлекали». В замке Валенсе княгиня Талейран на глазах сохранявшего обычную невозмутимость супруга простерла заботы хозяйки о гостях до того, что сделала своим любовником брата Фердинанда герцога Сан-Карлоса, который был моложе ее на 10 лет (за их романом тщательно наблюдали полицейские шпионы). А Фердинанд с готовностью присутствовал на всех торжествах, связанных с победами императора, и даже выразил в апреле 1810 года коменданту замка «желание стать приемным сыном Наполеона».

Много позднее, в 1816 году, принимая в Валенсе короля Людовика XVIII, Талейран небрежно заметил:

— Валенсе — довольно красивое место. Сад здесь был великолепным, пока его не сожгли испанские принцы своими фейерверками в честь Святого Наполеона.

А в 1808 году Талейран прямо подталкивал Наполеона к началу испанской авантюры (которую на деле считал ненужной и крайне опасной). Как вспоминает в своих

мемуарах один из приближенных Наполеона — Паскье, Талейран заявлял:

— Испанская корона со времени Людовика XIV принадлежит той династии, которая правит Францией... Это наиболее ценный компонент наследия великого короля, и император должен получить его целиком и полностью, не следует и нельзя отказываться ни от одной из частей этого наследия¹⁹.

Оставалось посмотреть, как будет относиться ко всему этому сама Испания. Разведка Наполеона составила ему подробнейшие отчеты о состоянии армии, флота, администрации страны. Однако она упустила главное — дух народа. Наполеон судил о стране по ничтожному двору. Если испанское правительство и администрация были мертвы, то общество было полно жизни.

2 мая 1808 г. в Мадриде вспыхнуло восстание против захватчиков, жестоко подавленное Мюратом. То, что было с самого начала захватнической войной и переросло в контрреволюционную интервенцию, Наполеон пытался выдать за продолжение борьбы нового общества против феодализма. В июле 1808 года испанские гранды, прибывшие в Байонну, одобрили представленную им новую конституцию. Испания провозглашалась конституционной монархией, вводилось гласное судопроизводство, отменялись пытки, уничтожались внутренние таможи, создавалось единое гражданское и торговое законодательство. Нисколько не ограничивая власти провозглашенного королем Жозефа Бонапарта, а следовательно, и самого французского императора, эта конституция содержала положения, которые могли способствовать буржуазному развитию. 20 июля 1808 г. Жозеф Бонапарт вступил в Мадрид. Он писал оттуда Наполеону: «Государь, я не страшусь своего положения, но оно единственное в своем роде в истории: у меня нет здесь ни одного сторонника». Вся страна поднялась против французов. Уже 31 июля, через 11 дней после прибытия в столицу, Жозеф должен был покинуть Мадрид и отступить на север Испании, за реку Эбро. Про Жозефа Наполеон позднее не раз говорил: «Это самый неспособный человек, прямая противоположность тому, что требовалось».

5 ноября 1808 г. французский император сам прибыл в Испанию во главе большой новой армии и в течение 72-дневной кампании разгромил основные силы испанских регулярных войск. Через месяц после начала кампании был занят Мадрид, и Наполеон сразу же издал ряд важ-

ных декретов. Они уничтожили феодальные права помещиков, инквизицию, сократили на две трети число монахов и т. д. 12 декабря была отменена сеньориальная юстиция. Еще до этого, 7 декабря, Наполеон опубликовал обращение к испанскому народу, в котором наряду с подтверждением своих «прав» как завоевателя объявлял: «Я уничтожу все, что стоит на пути к вашему процветанию и величию... Либеральная конституция создаст для вас взамен абсолютизма умеренную конституционную монархию»²⁰. Это была попытка изобразить подавление освободительного движения испанского народа как борьбу за учреждение в Испании прогрессивных для того времени социальных и политических реформ. И надо сказать, что до известной степени эта тактика себя оправдала, поскольку за французами пошли не только беспринципные честолюбцы и стяжатели, но и часть либерально настроенной буржуазии и помещиков, видевших во французских штыках желанное средство для эволюционного перехода — без народной революции — к новым общественным порядкам²¹. Однако народ не встал на путь, предлагаемый этими «офрануженными».

Хотя проведение в жизнь декретов Наполеона, несомненно, было бы заметным шагом вперед в социальном развитии Испании (в политической области любые конституционные формы все равно являлись бы простым прикрытием деспотической власти французского императора), эти меры были решительно отвергнуты испанским народом, которому они предлагались как плата за отказ от национальной независимости. Наполеону приходилось держать в Испании огромную армию — 300 тысяч солдат.

Все же либеральные маневры дали один несомненный эффект. Кортесы в Кадисе — единственном крупном городе, не захваченном наполеоновскими войсками, — должны были учитывать прогрессивные нововведения на оккупированных территориях. Это было одним из факторов, способствовавших принятию знаменитой конституции 1812 года, которая декларировала принцип народного верховенства. Как отмечал Маркс, эта конституция являлась воспроизведением старинных «фуэрос» (прав и привилегий средневековых городов и сословий), но «понятых, однако, в духе французской революции и приспособленных к нуждам современного общества»²².

Крах французского владычества в Испании наступил еще до полного крушения наполеоновской империи. Отпущенный из французского плена Фердинанд в марте 1814 года вернулся в Испанию. Его первым шагом был веролом-

ный отказ от всех своих прежних обещаний. Он отменил конституцию 1812 года, восстановил королевский абсолютизм, реставрировал феодальные порядки и учреждения. Кортесы, избранные на основе конституции 1812 года, были распущены. В стране воцарился режим черной реакции.

Все прежние попытки «объединения Европы» в форме вселенной империи предпринимались реакционным лагерем под реакционными лозунгами. При Наполеоне впервые такая попытка была увязана с прогрессивными социальными преобразованиями. Несмотря на это, она вступила в противоречие с непреодолимыми тенденциями исторического развития — созданием на буржуазной основе национальных государств. На деле политика Наполеона приводила лишь к тому, что прогрессивные мероприятия, проводившиеся французскими завоевателями, объективно способствовали подъему национального сознания и национальных движений против завоевателей. Перекройка карты Священной Римской империи при Наполеоне, начиная с 1801 года, привела к ликвидации множества мелких государств, что, естественно, серьезно способствовало упрочению идеи германского единства и в конечном счете борьбе против наполеоновского господства. Вместе с тем это позволило феодально-монархическим силам использовать национальные движения в своих интересах. Отказ от принципа сосуществования временно обратил национальные движения против Франции и отчасти даже против социального прогресса в Европе.

Противоречивость развития векового конфликта заключалась в том, что борьба постоянно выходила за его пределы. Оборонительные войны французской революции превратились в империалистские войны термидорианцев и Наполеона. Контрреволюционный поход монархических государств против Франции сменился освободительными войнами народов против наполеоновского завоевания.

В переломные эпохи — эпохи перехода от одной социально-экономической формации к другой — выдвигание притязаний на создание универсальной монархии в пределах континента или даже более широких масштабах неизбежно вело к отрицанию принципа одновременного существования стран с различным политическим строем. Об этом особенно ярко говорит и история наполеоновской империи.

Наполеоновские завоевательные войны, направленные на создание всеевропейской империи с центром в Париже,

были, по сути дела, разновидностью бесчисленных захватнических (в том числе и колониальных) войн, которые вели и феодальные, и буржуазные государства. Однако особенностью наполеоновских войн было то, что они велись страной, только что проделавшей свою буржуазную революцию, что ее противниками (и объектами ее завоевательных планов) становились государства со старым, феодальным общественным строем и что французское вторжение сопровождалось «экспортом», разумеется, не революции, но новых буржуазных порядков, причем с помощью административных, а не экономических средств. Вскоре, конечно, выяснилось, что подобный «экспорт» имел куда более негативных, чем положительных, сторон.

Империалистские войны, которые вел Наполеон, наряду с реакционными аспектами не были, как отмечалось, совсем лишены прогрессивных моментов. В свою очередь, борьбе европейских народов против Наполеона было свойственно сочетание черт возрождения и реакционности. Носителями прогрессивной тенденции выступали трудящиеся массы, демократические круги общества. Представителями противоположной тенденции были возглавлявшие борьбу феодально-монархические правительства, точнее, их наиболее реакционные элементы. Вследствие этого двойного характера войн против Наполеона победа, одержанная народами, передала власть над Европейским континентом силам феодально-абсолютистской реакции, которые уже со своих позиций выступали против принципа сосуществования (но об этом ниже).

Наполеон очень рано, еще во время итальянского похода 1796—1797 годов, уяснил для себя и решил использовать в своих целях двойственный характер войн, которые вела тогда Франция. Много позднее, уже находясь в ссылке на острове Святой Елены, он писал: «Борьба королей против республики была борьбой двух систем. Олигархии, господствующие в Лондоне, в Вене и в С.-Петербурге, боролись против парижских республиканцев. Наполеон решил изменить такое положение вещей, всегда оставляющее Францию в одиночестве, и бросить яблоко раздора в среду коалиций, изменить постановку вопроса, создать другие побуждения и другие интересы»²³. Отнюдь не отказываясь от использования революционных лозунгов, Наполеон в ходе дипломатических переговоров подчеркивал, что реальное значение имеют только территориальные вопросы, экономические интересы и стратегические соображения. В 1800 году феодально-монархические принципы

не помешали царю Павлу I встать на путь союза с первым консулом Бонапартом. Эту линию, хотя и с колебаниями, вызванными преимущественно неидеологическими мотивами, продолжал и Александр I. Когда же планы русско-французского союза потерпели неудачу (в немалой степени по вине самого Наполеона) и Россия вступила в Третью коалицию, Александр I настоял на том, чтобы она отказалась от лозунга реставрации старого строя во Франции и объявила, что выступает только против Наполеона и его завоевательной политики²⁴. Или другой, более поздний по времени, пример. Бывший наполеоновский маршал Бернадотт, ставший шведским кронпринцем Карлом Юханом и командующим Северной армией союзников, действующей против императора, в воззвании к солдатам от 15 августа 1813 г. объявлял: «Те же чувства, которыми были обуреваемы французы в 1792 году и которые побудили их объединиться, чтобы сражаться против армий, находившихся на их территории, должны ныне обратить вашу храбрость против тех, кто, вторгшись на вашу родную землю, поработает ваших братьев, ваших жен и ваших детей»²⁵.

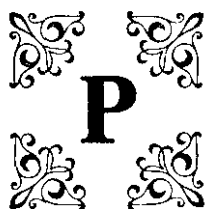
Далеко не случайно, что идеолог антифранцузских коалиций Ф. Генц в 1805 году обосновал новую войну против Франции не необходимостью реставрации старого режима во Франции и в завоеванных ею областях Европы, а восстановлением дореволюционного равновесия сил. А эта система была в определенном смысле основана на факте одновременного существования раннебуржуазных и феодальных государств.

В 1815 году Наполеон, по крайней мере в первые из знаменитых «Ста дней», пытался представить свою борьбу против Бурбонов как продолжение дела революции. Так, 5 марта, прибыв в Ган, он заявил местным властям:

— Феодальный король не может более подходить Франции. Ей нужен суверенный правитель, ведущий свое происхождение от революции.

В тот же день советники Людовика XVIII, возражая против мнения военного министра маршала Сульта, что не следует собирать палату в столь тревожное время, заявили королю: «В момент, когда Наполеон действует революционным путем, король должен представить свидетельства своей верности конституционному образу правления»²⁶.

Проницательный цинизм



епутация и Тайлера, «продававшего всех, кто его покупал», и Жозефа Фуше, проделавшего путь от, казалось бы, самого левого из якобинцев до миллионера, награжденного Наполеоном титулом герцога Отрантского, министра полиции империи и реставрированных Бурбонов, установилась прочно. И вряд ли кому-нибудь удастся ее поколебать, хотя попытки такого

рода время от времени и предпринимаются в исторической литературе. А вот вопрос о правильности оценки исторического смысла их деятельности не столь прост, как это может первоначально показаться. Можно подумать, что со своей незавидной репутацией Талейран и Фуше чем-то резко отклонялись от «нормы» поведения тогдашних политиков. Так ли это было в действительности? Ведь нет сомнения, что следование принципам было отнюдь не тем качеством, которое позволяло не только благополучно выжить во время многочисленных колебаний политического маятника вправо и влево, но и сохранить достаточно высокие посты и власть при сменявшихся друг друга режимах. Революционеров, переживших 9 термидора и не давших вовлечь себя в вакханалию приобретения и мародерства при Директории, не пожелавших мириться с 18 брюмера, ожидали гильотина, ссылка в Кайенну, где свирепствовала тропическая лихорадка («желтая гильотина»), тюрьмы, в лучшем случае полное отстранение от политической жизни. Сбереечь положение и влияние и сохранить принципы не удавалось никому. В отношении Лазара Карно, претендовавшего на это, Энгельс иронически заметил: «Где это видано, чтобы честный человек умудрился как он удержаться несмотря на термидор, фрюктидор, брюмер и т. д.»¹. Если мерить этими мерками, то Талейрана и Фуше отличала от своих коллег только бóльшая сила ума, бóльшая дальновидность, ловкость и беззастенчивость, большее умение извлекать выгоды из политических перемен, сделать себя необходимым для каждого нового режима. А среди всех этих качеств главным, конечно, были

государственный ум и его обязательное свойство — видение дальше сегодняшнего дня, одним словом, политическая прозорливость, которая вовсе не переставала быть таковой оттого, что она была целиком поставлена на службу личным эгоистическим выгодам. При всем их внешнем различии и надменный представитель одного из самых знатных аристократических родов Франции, и проницательная полицейская ищейка, выходец из самых низов буржуазии в главном были удивительно схожи и из-за этого ненавидели друг друга. Талейран, намекая на попытки Фуше расширить сверх положенного любознательность полиции, замечал:

— Министр полиции — это человек, который сначала вмещивается в то, что его касается, а потом в то, что его не касается.

Услышав замечание, что Фуше презирает людей, князь бросил мимоходом:

— Несомненно, этот человек хорошо изучил самого себя.

Фуше не оставался в долгу:

— В тюрьме Тампль имеется место для того, чтобы поместить туда в подходящий момент Талейрана.

И вот неожиданно в разгар испанской кампании Наполеона враги примирились (при посредничестве их общего знакомого д'Отрива). Подспудное противодействие Талейрана и Фуше Наполеону, объединявшее как союзников этих высших и самых способных сановников империи, было продиктовано их политической дальновидностью. Оно не было порождено ни немилостью императора (которая явилась следствием, а не причиной тайных козней его наиболее умных и проницательных министров), ни их какой-то личной к нему враждебностью. Фуше и Талейран не могли ни всерьез рассчитывать на выигрыш от падения императора, ни претендовать на первое место в государстве. Все их действия сводились в конечном счете к одному — к получению гарантий для себя в случае падения Наполеона, которое он сам делал вероятным из-за своей безудержной завоевательной политики, ставшей как бы неизбежным спутником его личной диктатуры. При этом не требовалось даже особого ума, чтобы понять — наилучшей перспективой и для Талейрана, и для Фуше была реставрация Бурбонов, сколько бы ни заигрывали эти бывшие активные участники революции с роялистскими эмиссарами. В данном отношении они оба были представителями достаточно широкой, пусть аморфной, группы,

включавшей и верхнее, и среднее звенья наполеоновской администрации. Эта группа считала, что любой режим, который может прийти на смену империи, должен находиться в определенной преемственной связи с революцией, с тем чтобы гарантировать неприкосновенность новых буржуазных порядков и, конечно, место в политической жизни тех, кто олицетворял эти порядки. В результате сугубо эгоистический интерес властно диктовал людям вроде Талейрана и Фуше поиски такой альтернативы наполеоновскому режиму, которая в большей степени удовлетворяла бы жажду стабильности в буржуазной Франции. А большая стабильность могла быть достигнута, если новый режим отказался бы от авантюристической внешней политики, мог бы установить мир, сохранив то, что действительно можно было надолго удержать из завоеваний прежних лет. «Я не могу, — писал Наполеон в сентябре 1806 года Талейрану, — иметь союзницей ни одну из великих держав Европы»².

Талейран понимал, что победы Наполеона только сужали возможности французской дипломатии играть на противоречиях между великими державами. Когда пришли известия о разгроме пруссаков при Йене и Ауэрштедте, из уст императорского министра вырвалась знаменательная фраза: «Они не заслуживают никакого сожаления, но вместе с ними погибает Европа». Если до 1806 года Талейран видел опасность для политической стабильности Франции в возможной гибели Наполеона на поле боя или от руки убийцы, то с этого времени главной угрозой представляется князю сам Наполеон с его безудержными завоевательными планами. К таким же выводам пришел и Фуше, новоявленный герцог Отрантский. Можно согласиться с одним из его новейших (и в целом апологетически настроенных) биографов, когда тот пишет про наполеоновского министра полиции: «Он осознал, что Франция крайне нуждается в мире для консолидации великих приобретений, полученных в результате французской революции»³. Талейран раньше и лучше других сумел разглядеть, в чем заключались интересы новой, буржуазной Франции и отстаивал их тогда..., когда они соответствовали его личным интересам. Они совпадали, конечно, далеко не всегда, но все же довольно часто. Князь Талейран понимал, что пренебрежение интересами буржуазии, даже если это было выгодно в данный момент, в перспективе могло обернуться большим убытком. Поэтому он всегда и стремился найти решение, при котором его личные выгоды совпадали

с французскими интересами, как они понимались новым восходящим классом.

В марте 1805 года Талейран в присутствии императора выступил с речью в сенате по поводу предстоявшего провозглашения Наполеона королем Италии. В этой речи князь выразил несогласие с часто проводившимися тогда сравнениями Наполеона с Карлом Великим и Александром Македонским: «Пустые и обманчивые аналогии! Карл Великий был завоевателем, не основателем государства... Александр, постоянно раздвигая пределы своих завоеваний, готовил себе лишь кровавые похороны». Напротив, Наполеон, по разъяснению Талейрана, «стремится лишь утвердить во Франции идеи порядка, а в Европе — идеи мира». Обращаясь непосредственно к императору, Талейран провозглашал: «Для Франции и Италии Вы дороги как законодатель и защитник их прав и могущества. Европа чтит в Вас охранителя ее интересов...»⁴. При возникновении войны с Третьей коалицией, непосредственной причиной которой были присоединение Генуи к Франции и образование Королевства Италии — в противоречии с Амьенским и Люневильским договорами, Талейран заявил в сенате 23 сентября 1805 г.: император видит себя вынужденным отразить «несправедливую агрессию, которую он тщетно пытался предотвратить». Вместе с тем еще накануне Аустерлица (по крайней мере Талейран так утверждал в 1807 г.) он предлагал Наполеону такую «умеренную» программу: утверждение «религии, морали и порядка во Франции», мирные отношения с Англией, укрепление восточных границ путем создания Рейнской конфедерации, превращение Италии в независимое от Австрии и от Франции государство, создание Польши как барьера против царской России. И даже после Аустерлица Талейран настойчиво рекомендовал Наполеону примирение с Австрией, заключение с ней тесного союза. Князь не одобрял жестокость условий Прессбургского мира. Он острил: «Мне все время приходится вести переговоры не с Европой, а с Бонапартом!»

Осенью 1808 года, возвратившись после эрфуртского свидания двух императоров — Наполеона и Александра I — в Париж, Талейран дал ясно понять австрийскому послу К. Меттерниху: в интересах самой Франции — чтобы державы, противостоящие Наполеону, объединились и положили предел его ненасытному честолюбию. Князь разъяснил, что дело Наполеона — это уже не дело Франции, что Европа может быть спасена только тесным союзом

Австрии и России. Приехав в 1809 году в Вену после разрыва с Францией, Меттерних буквально воспроизвел слова, продиктованные ему Талейраном: «Франция не ведет войны со времен Люневильского мира (1801 г. — Авт.). Их ведет Наполеон, используя французские ресурсы»⁵. (А почти одновременно Талейран писал Наполеону: «Ваше величество отсутствовало тридцать дней и добавило шесть побед к изумительной истории своих предшествующих кампаний... Ваша слава, государь, — это наша гордость, но от Вашей жизни зависит самое наше существование».) Накануне похода 1812 года Талейран подвел итоги: «Наполеон предпочел, чтобы его именем называли его авантюры, а не его столетие»⁶.

Жребий был окончательно брошен. В марте 1814 года Талейран и действовавший совместно с ним князь-примас Рейнского союза Карл Дальберг послали через Швейцарию в лагерь союзников своего агента барона де Витроля. А в качестве доказательства того, что Витроль является тем, за кого он себя выдает, Дальберг назвал ему имена двух венских дам, благосклонность которых он делил с царским дипломатом Нессельроде. Пароль оказался убедительным. А совет Талейрана, переданный через Витроля, сводился к тому, чтобы не вести более никаких переговоров с Наполеоном, двинуться прямо на Париж и реставрировать династию Бурбонов на троне Франции. Последнюю часть рекомендации, конечно, никак нельзя считать образцом политической прозорливости, но в этот момент она казалась князю наиболее соответствующей его личным выгодам и карьеристским расчетам. Уже после отречения, находясь на Эльбе, Наполеон как-то заметил:

— Если бы я повесил двоих — Талейрана и Фуше, — то и поныне оставался бы на троне.

— Ах, бедняга Наполеон! — иронически прокомментировал эту тираду Талейран. — Вместо того, чтобы повесить меня, ему следовало бы прислушаться к моим советам. Главным предателем Наполеона был он сам⁷.

Споры о Священном союзе



е будет преувеличением сказать, что наиболее эффективное воздействие нидерландской революции на социально-экономическое развитие Европы относится к периоду после окончания векового конфликта. В полной мере влияние английской буржуазной революции как революции европейского масштаба могло проявиться именно вследствие окончания такого конфликта. А наиболее глубокое воздействие Великой французской революции осуществлялось не во время ее военной конфронтации с коалицией феодально-монархических государств, а на протяжении ряда последующих десятилетий.

В. И. Ленин подчеркивал, что «все развитие всего цивилизованного человечества во всем XIX веке — все исходит от Великой французской революции, все ей обязано»¹. И вместе с тем В. И. Ленин характеризовал XIX столетие как «век, который дал цивилизацию и культуру всему человечеству»². Эта реализация тех возможностей общественного и культурного прогресса, которые возникли в результате французской революции, могла происходить в таких масштабах и такими темпами только при отсутствии векового конфликта на протяжении большей части XIX столетия.

Каковы были причины относительной стабильности системы международных отношений, созданной в 1815 году решениями Венского конгресса — реакционнейшего синклита монархов после низвержения наполеоновской империи? Историки далеко не единодушны в ответе на этот вопрос, в том числе и историки, придерживающиеся общих философских и методологических воззрений. Вероятно, это связано с тем, что ответ должен включать указания не на одну, а на целый комплекс причин, удельный вес каждой из которых не поддается точному измерению.

Некоторые причины бросаются в глаза. Контуры наполеоновской Европы исчезли с крушением империи. В Париже узнали о смерти Наполеона на острове Святой Елены два месяца спустя после нее, 5 июля 1821 г.

— Ах, какое событие! — воскликнула одна из собеседниц Талейрана.

— Это уже не событие, сударыня, — с обычной флегмой ответил князь, — это просто новость.

В антинаполеоновском лагере народы, поднявшиеся на освободительную борьбу, и феодально-монархические правительства, оказавшиеся во главе борьбы, объективно преследовали различные цели, хотя до поры до времени это противоречие было скрыто войной против чужеземного завоевателя. Наполеоновская политика не способствовала, а мешала созданию независимых национальных государств на буржуазной основе. Но этому же стала в еще большей степени препятствовать и политика феодально-монархической реакции после низвержения Наполеона. К тому времени скрытое противоречие между монархическими правительствами и теми силами, которые привели эти правительства к победе, не могло не выйти наружу. Произошло неизбежное столкновение между началами общественного прогресса, за которые сражались народы в освободительных войнах, и реакционными, реставраторскими устремлениями феодально-абсолютистских монархий, зафиксированными в принципах Священного союза.

Принципом новой перекройки карты Европы был объявлен легитимизм — возвращение на престолы законных, легитимных монархов и сохранение за ними их наследственных владений. Характерная черта реакционного лагеря — неумение смотреть в глаза действительности, отказ признавать главные реальности эпохи. Это не исключает, конечно, того, что наиболее дальновидные представители этого лагеря обнаруживают немалые способности к политическому маневрированию. Легитимизм был именно такой идеологией, оторванной от фактов, что не мешало ему до поры до времени отвечать интересам феодально-абсолютистской реакции и частным интересам отдельных правительств (например, французским Бурбонам в 1814—1815 гг.). Ведь принцип легитимизма должен был соблюдаться лишь как правило с исключениями, принимаемыми с учетом выгоды отдельных держав. Частичность реставрации (не только во Франции, но и в других европейских странах) отчетливо проявилась в сохранении основ буржуазного гражданского права. Пришлось санкционировать проведенные со времен революции ликвидации церковного землевладения, уничтожение множества мелких княжеств и независимых городов в Германии и Италии. Принцип легитимности был отброшен при

узаконении раздела Польши, при разделе Саксонии. Цепляние за идею легитимизма продолжалось долго, переходя постепенно из сферы политики в область курьезов. Согласно изданному почти через 100 лет после Венского конгресса, в начале нашего столетия, легитимистскому альманаху «Legitimist Kalender», на английском престоле находился якобы не Эдуард VII, а какая-то никому не известная «Мария IV Стюарт», папа по-прежнему являлся главой церковного государства, на деле еще в 1870 году присоединенного к Итальянскому королевству. Вместе с тем сама Италия территориально была урезана на три четверти, и итальянский король именовался сардинским; Франкфурт-на-Майне считался не частью германской империи, а вольным городом и т. д. Впрочем, и поныне, в 80-е годы XX в., на Западе существует тайный «Орден короны Стюартов», ставящий целью ни много ни мало — восстановление на английском престоле династии Стюартов, свергнутой в результате «славной революции» 1688 года!³

Хотя монархи, собравшиеся на Венский конгресс, ссылаясь на идею легитимизма, при перекройке карты Европы не принимали вроде бы в расчет национальный принцип, границы ряда стран были установлены таким образом, что они не задевали жизненных интересов значительного числа европейских наций и народностей. Правда, немало европейских народов было лишено независимости. Однако для подымавшейся буржуазии некоторых из этих народов имело большое значение, что она если не целиком, то в своей основной части оказалась в рамках одного государства и заняла господствующее положение на национальном рынке. Это способствовало стабилизации системы международных отношений. Главной же ее причиной представляются победа буржуазии в экономически передовых странах и относительная стабильность капиталистической системы в XIX веке. Однако такая констатация еще не объясняет прямо, каким путем устойчивость капитализма вызвала устойчивость системы международных отношений. Объяснить это можно только ослаблением, затуханием векового конфликта между феодальным абсолютизмом и буржуазным парламентаризмом. Причины же указанного ослабления тоже могут быть четко определены. Во-первых, быстрое развитие и выявившаяся неодолимость нового строя и соответствующих ему политических порядков. Во-вторых, надо помнить, что в недрах феодального строя повсеместно формировался и существовал

буржуазный уклад. Интервенционистские попытки абсолютистской реакции всегда были направлены только против революционных форм победы капитализма, а не против самого капиталистического строя. Наконец, нужно учесть и растущее стремление буржуазии, перед которой уже маячил пугавший ее «красный призрак», к компромиссу с силами старого порядка — не менее заметное на международной арене, чем внутри страны.

Американский историк Д. Николс, отражая мнение, распространенное в западной историографии, писал: «Хотя пентархия (т. е. власть пяти великих держав. — Авт.) превратилась в орудие реакции, она тем не менее доказала, что является инструментом мира, а мир был главной потребностью Европы после двух десятилетий войны. Система конгрессов (Священного союза. — Авт.) представляет собой важную главу в развитии интернационализма, а конгресс в Вероне — последнюю страницу в этой главе»⁴. Контрреволюционный интервенционизм (конгресс в Вероне открыл путь для французской интервенции против испанской революции) оказывается равнозначным миру и интернационализму!

Для одного из создателей и главного вдохновителя Священного союза — Меттерниха — и самый этот союз, и вообще коллективные действия европейских держав — так называемый Европейский концерт — были способом поддержания династического статус-кво, установленного Венскими трактатами 1815 года. Концепция династического статус-кво предполагала существование некоего общеевропейского конспиративного заговора якобинцев (переименовавших себя в либералов) для ниспровержения престолов и алтарей, а вслед за этим — всего общественного строя, даже всей цивилизации. А Священный союз и Европейский концерт рассматривались как орудия, с помощью которых можно вести борьбу против этого зловреднейшего заговора.

Концепция династического статус-кво не отвергала в принципе возможности мира и сотрудничества государств, в которых утвердился различный общественный и политический строй. Так вообще не ставился вопрос политической мыслью того времени. Да и о полной реставрации старых общественных порядков мечтали лишь самые оголтелые (и самые недалекие) идеологи феодально-монархической реакции. Никто не отвергал, например, участия буржуазно-парламентарной Англии в Европейском концерте. Теория династического статус-кво отвер-

гала лишь возможность мира с государствами, возникавшими революционным путем уже после Венского конгресса.

В Англии идею династического статус-кво разделяло — и то частично — только правое крыло правящей партии тори, рупором которой был министр иностранных дел Каслри. Он считал, что следует «приглушать мелкие споры обычного времени, чтобы совместно выступить в поддержку существующего порядка»⁵. Вместе с тем, не желая усиления позиций континентальных держав, Каслри отвергал общее право на интервенцию, заявляя, что подход к каждой революции должен быть особым и определяться тем, угрожает ли она «интересам Европы». Такой «дифференцированный подход» позволял не связывать заранее свободу действий английской дипломатии.

От концепции династического статус-кво заметно отличалась доктрина территориального статус-кво, хотя она тоже предполагала верность Венским трактатам 1815 года. Однако на деле сторонники этой доктрины видели в Европейском концерте не орудие вооруженного подавления революций в других странах, а, наоборот, организацию, допускавшую возможность революционных преобразований, по крайней мере в некоторых из этих стран, если это не затрагивало территориального размежевания 1815 года и не противоречило сохранению «равновесия сил» в Европе.

Идеологи либеральной и радикальной буржуазии, считая Священный союз союзом деспотов против народных прав⁶, вместе с тем видели в Европейском концерте орудие, которое можно было изъять из рук реакции и использовать для того, чтобы династические и территориальные изменения происходили без вооруженного вмешательства извне. При этом либералы мотивировали свое позитивное отношение к сдвигам, нарушающим статус-кво, ссылками на необходимость поддержания «равновесия сил». Радикалы же обычно обосновывали свою позицию, кивая на «права наций» и «интересы прогресса»⁷.

Для нашей цели не стоит вдаваться в споры правительств европейских держав о том, должна ли интервенция, согласно утверждению Меттерниха, преследовать только цели восстановления статус-кво или сопровождаться некоторыми реформами, которые предотвращали бы повторение революционных взрывов в будущем, как это считал необходимым Александр I. Следовало ли осуществлять неизменно «право» на коллективное вмешатель-

ство, как это рекомендовал царь, или предпочесть рассмотрение каждого случая вмешательства в отдельности, как на том настаивали в Лондоне, или «индивидуальную» интервенцию одной из держав, действующей по уполномочию остальных, как это предлагала в качестве «компромисса» Вена. Когда Меттерниху было это выгодно, он выступал против чужеземного вмешательства. Так, полагая в 1820 году, что интервенция Франции против испанской революции будет не в интересах Австрии, Меттерних писал, что Испанию нельзя «повернуть к спокойствию» с помощью иностранного вмешательства. Он даже дошел до разъяснения нецелесообразности интервенции вообще: «Я считаю, что могу ограничиться обращением к истории всех стран и всех революций, дабы отсюда почерпнуть убеждение, что действия иностранцев никогда не приостанавливали, не упорядочивали результаты революций». Напротив, революцию в Неаполе, прямо затрагивавшую австрийские интересы, Меттерних требовал подавить, используя «карантины и огонь». В письме к австрийскому послу в Лондоне Эстергази от 24 ноября 1820 г. Меттерних утверждал, что революция угрожает «всем конституциям, всем правам и всем свободам»⁸. Принцип легитимизма трактовался Меттернихом таким образом, что, мол, любая, даже самая благая мера превращается в нетерпимое зло, если она берет начало от революции. «Благо, проистекающее из ложной основы (а подобное может случиться во время потрясений), — писал Меттерних, является весьма реальным злом для всего общества... Таким образом, строй, который может быть наиболее благоприятным для процветания Неаполитанского королевства, если он явится прямым и непосредственным следствием преступного предприятия группировок, объединившихся для гибели своей страны, должен рассматриваться как огромное зло для Европы»⁹.

На конгрессе Священного союза в Троппау австрийская дипломатия представила проект гарантийного пакта. В меморандуме от 28 ноября 1820 г., составленном Ф. Генцем, предлагалось проводить различие между незаконными и законными революциями (под последними подразумевались значительные конституционные изменения, осуществляемые самой легитимной властью), а также между революциями, оказывающими и не оказывающими воздействия на соседние государства. На этом основании Генц сформулировал в меморандуме «Принципы интервенции»: «Все революции, совершенные узурпаторской властью или

в явно незаконных формах, и в еще большей степени все революции, начатые и осуществленные преступными средствами, должны уже тем самым, вне зависимости от их характера и результатов, являться объектом законной интервенции иностранных государств». Впрочем, и в случае осуществления революции «сверху», то есть законной властью, интервенция может быть вполне оправдана, если эта революция угрожает интересам соседних стран. Наконец, в отношении «нелегальной» революции, показывающей к тому же дурной пример соседним странам, «право интервенции достигает максимальной силы»¹⁰. Меттерних, таким образом, подумывал об узаконении принципа интервенции как нормы международного права. Правда, и австрийский канцлер не рискнул прямо выдвинуть такой тезис (принятие которого было бы равносильно полному отрицанию государственного суверенитета всех европейских стран), предлагая его лишь как предмет для размышлений. В конечном счете австрийский «Акт о гарантии», включавший все эти принципы интервенции, не был принят главным образом вследствие возражений со стороны России, которую не устраивали некоторые из включенных в него статей.

На службу легитимизму и интервенционизму реакционные идеологи пытались поставить национализм. В 1823 году министр иностранных дел Франции Шатобриан, оправдывая интервенцию против Испании, объявил, что подрывные идеи из-за Пиренеев «угрожают вновь возобновить во Франции эксцессы, подавленные деспотизмом Бонапарта», и добавил, что «легитимность (т. е. режим Реставрации во Франции. — Авт.) умирает из-за отсутствия побед после триумфов Наполеона».

Может показаться все же, что феодально-монархический интервенционизм способствовал устойчивости существовавшей системы международных отношений. Демократические силы не могли тогда предложить альтернативы внешнеполитической программе реакции; они были либо крайне слабы, либо, как во Франции еще при Наполеоне, удалены с политической арены. А многие либералы даже готовы были видеть свой идеал в реставрации Бурбонов, навязанной Франции победившими державами. 1 апреля 1814 г. группы роялистов проезжали по улицам с криком:

— Сплотимся вокруг Бурбонов!

Стоявшие на тротуарах парижане отвечали с насмешкой:

— Бурбоны? Мы не знаем таких.

В исторической литературе приводились сообщения одной газеты, которая несколько раз меняла тон во время двухнедельного марша Наполеона к Парижу: «Корсиканское чудовище высадилось», «Ненавистный французам тиран направляется к Динье», «Узурпатор, видимо, желает двинуться к Парижу», «Наполеон заночевал в Фонтенбло», «Его величество сегодня вечером прибыл в Тюильри». Кажется, что такая цепь заголовков является легендарной. Однако действительные газетные сообщения менялись в подобном духе. «Этот человек, весь покрытый кровью поколений, прибыл оспаривать во имя узурпации и убийств благотворную власть короля Франции», — негодовала 7 марта «Journal des Débats», чтобы через две недели резко сменить тон. В «Монитере» смену власти отметили как само собой разумеющееся дело. 21 марта там было напечатано: «Париж, 20 марта. Король и принцы отбыли ночью. Его величество император прибыл сегодня вечером, в 8 часов, в свой дворец Тюильри».

Подобные метаморфозы вполне отражали и позицию либералов. 19 марта 1815 г., за считанные часы до бегства Людовика XVIII из Парижа, их идеолог Бенжамен Констан опубликовал в газете «Journal des Débats» статью. Неумеренные дифирамбы по адресу короля сопровождалась в ней такими фразами: «Бонапарт... это Аттила, это Чингиз-хан, только еще более страшный и ненавистный». Наполеон прибыл в Париж через сутки. Что сделал Констан — убил тирана? бежал? покончил самоубийством? Нет, он тотчас же поспешил на прием к Аттиле и получил назначение на пост государственного советника. А уже после падения Наполеона в «Воспоминаниях о „Ста днях”» Констан писал: «Меня упрекают, что я не дал убить себя возле трона, который защищал 19 марта. Но 20 марта я поднял взор и увидел, что трон исчез, а Франция еще существует»¹¹. После Ватерлоо, не покушаясь на легитимистские основы, Бенжамен Констан предлагал лишь совместить их с идеей децентрализованной Европы, где каждая страна сможет сохранять свою специфику: «Разнообразие — это организация, единообразие механистично. Разнообразие означает жизнь, единообразие — смерть»¹². Подобная самобытность могла вполне совмещаться с принципами Священного союза.

Интервенционизм Священного союза задушил в 1820—1823 годах революции в Неаполе, Пьемонте и Испании. Но считать, что он тем самым способствовал междуна-

родной стабильности, — явная иллюзия. Прежде всего эти интервенции создавали на более или менее длительный срок источники напряженности, обостряли противоречия между самими участниками контрреволюционного вмешательства и оказались к тому же все равно перечеркнутыми неотвратимым ходом истории. Еще более ослабляли позиции Священного союза крах попыток рассматривать национально-освободительную борьбу в Греции как бунт против «законного монарха» — турецкого султана — и попытки подавить революционное движение народов Латинской Америки против испанского колониального ига. По существу, интервенции Священного союза не стабилизировали, а подрывали — хотя и не смогли подорвать — систему межгосударственных отношений, выгодную всем ее главным участникам.

Против французской интервенции в Испании резко выступил находившийся не у дел, в оппозиции Талейран. Он, подстрекавший Наполеона 15 лет назад к началу испанской авантюры (и потом не только отрешивавшийся от этого, но и посчитавший ее началом конца империи), имел достаточно опыта, чтобы предостеречь против повторения ошибок прошлого. Прочитав текст речи Талейрана, которую ему не удалось произнести в палате пэров, Людовик XVIII неожиданно осведомился у князя, не собирается ли он посетить свои владения, и, выслушав отрицательный ответ, спросил уже напрямик: «Далеко ли от Парижа до Валенсе?» Талейран сделал вид, будто что-то подсчитывает в уме, и через секунду ответил: «Государь, не знаю, сколько точно, но, надо считать, примерно такое же расстояние, как от Парижа до Ганда». (В Ганд под защиту чужеземных штыков Людовик XVIII позорно бежал из Парижа во время «Ста дней».) Когда после свержения в июле 1830 года Бурбонов и занятия престола герцогом Орлеанским, Луи-Филиппом («королем-буржуа»), Талейран в качестве посла нового правительства явился с визитом к британскому премьер-министру герцогу Веллингтону, тот упомянул о «злополучной июльской революции». Посол ответил, что такое определение инспирировано людьми, которых эта революция низвергла с трона и которые эмигрировали в Англию.

— Но вы можете быть уверены, — добавил князь, — что революция не явилась несчастьем ни для Франции, ни для других государств, с которыми мы желаем оставаться в хороших отношениях.

Веллингтон под влиянием Талейрана вскоре проникся

этой мыслью и даже обещал поддержать новую династию, если она не наделает «глупостей». А при встрече с супругой царского посла княгиней Ливен, назвавшей занятие престола Луи-Филиппом «наглой узурпацией», Талейран холодно заметил:

— Вы совершенно правы, сударыня. Следует только пожалеть, что она не произошла на шестнадцать лет ранее, как того желал и к тому стремился Ваш государь, император Александр. (Царь действительно в 1814 г. первоначально не соглашался на реставрацию Бурбонов, считая, что она вызовет новые потрясения во Франции.)

6 октября 1830 г. при вручении верительных грамот английскому королю Вильгельму IV Талейран заявил, что Франция и Великобритания отвергают вмешательство во внутренние дела своих соседей и что он чувствует себя особенно хорошо перед потомком Брауншвейгской (Ганноверской) династии. Это был намек на то, что Орлеанская династия сменила старшую ветвь Бурбонов, подобно тому как в Англии более века назад Ганноверская династия — Стюартов.

Интервенции Священного союза были направлены только против революционного утверждения нового строя, притом в странах, не игравших в то время первостепенной роли в европейской политике. Вместе с тем и помыслить было невозможно об интервенции против утвердившихся основ буржуазного строя в крупных западноевропейских странах и тем самым об «идеологизации» международных отношений по линии векового конфликта. Быстрая же ликвидация результатов интервенций, предотвратить которую оказалось не по силам феодально-абсолютистской реакции, тем более не создавала почву для возобновления векового конфликта.

Вдохновитель Священного союза Меттерних был сторонником интервенций во имя статус-кво, а он включал фактически признание законности сосуществования государств с различным общественно-политическим строем. Для понимания причин и места контрреволюционного интервенционизма Священного союза надо помнить, что его наиболее далеко идущей целью могло быть только сохранение статус-кво 1815 года, а не полная реставрация феодальных отношений в том виде, в каком они существовали до Великой французской революции. А это, в свою очередь, являлось предпосылкой того, что не было сделано безнадежных попыток возобновить вековой конфликт тогда, когда европейский статус-кво 1815 года был подвергнут

ревизии рядом национально-освободительных движений. В 40-е годы Венские трактаты казались чем-то бесконечно устаревшим. Поэт Франц Грильпарцер писал тогда, что до «всемирного потопа» существовали совершенно удивительные существа:

Об этом свидетельствуют окаменевшие кости мамонтов
И система князя Меттерниха¹³.

На протяжении ряда десятилетий поляризация континента на буржуазную Западную Европу и полуфеодальную Восточную Европу не породила векового конфликта. Конечно, в истории нового и новейшего времени трудно найти периоды, во время которых вовсе отсутствовали бы проявления вековых конфликтов. Это легко понять, если учесть, что внутрiformационные конфликты существовали и за пределами переходных эпох и что в различных регионах переход от формации к формации происходил в разное время. Однако если в одни эпохи вековые конфликты оказывали определяющее влияние на всю систему международных отношений, в другие периоды это воздействие могло быть существенным, но не решающим фактором. После июльской революции во Франции конфликт между абсолютной монархией и парламентарным строем несомненно оказывал немалое влияние на отношение правительств Австрии, Пруссии и царской России к «королю баррикад» Луи-Филиппу, но оно было лишь одним из факторов, определявших расстановку сил на международной арене, притом фактором, значение которого уменьшалось вплоть до 1848—1849 годов, когда оно снова возросло. Во время этих революций, охвативших большую часть Европы, коллективный интервенционизм оказался неприменимым, так же как и вообще интервенционизм, против революций во Франции и Германии, тем не менее такой экспорт реакции осуществлялся против революций в Венгрии и Италии. Он не мог иметь «стабилизирующего» влияния, поскольку вскоре же, по выражению Ф. Энгельса, могильщики революции стали ее душеприказчиками¹⁴. Это особенно относится к революциям, ставившим целью наряду с проведением общедемократических преобразований также завоевание национальной независимости. Примерно через два десятилетия были ликвидированы последствия интервенций против революций 1848—1849 годов, достигнуто воссоединение Италии и Германии. В процессе этого воссоединения происходили целых три больших войны: Франции (и Пьемон-

та) против Австрии, Пруссии против Австрии и Пруссии против Франции. Ни в одной из этих войн не было сделано попытки военного вмешательства для сохранения прежней международной системы.

В конце XVIII — начале XIX века национализм, как мы уже убедились, оказался тесно переплетенным с вековым конфликтом. В середине XIX века эта связь была разорвана. Господствующие классы, отказавшись от идеологизации международных отношений по линии векового конфликта, постепенно сделали национализм главным обоснованием своей не только внутренней, но и внешней политики. В условиях быстрого роста национального самосознания, выдвижения национального принципа в сфере международных отношений, прогрессирующего ослабления влияния религии национализм становился единственным доступным реакции действенным духовным оружием. Действенным, так как опирался на столетиями формировавшиеся элементы национальной психологии, которую он искажал в соответствии со своими идейными установками, на национальные и этнические предрассудки. Кроме того, в отличие от других обветшалых от времени частей идейной доктрины реакционного лагеря, национализм мог выступать как разновидность «современной», отвечавшей духу эпохи национальной идеологии. Он оказался удобным в борьбе против национальных движений других народов. И наконец, национализм мог быть использован и для войн, происходивших вне рамок векового конфликта. «Ограничители» в использовании национализма существовали лишь для правящих классов таких многонациональных государств, как Австро-Венгрия, здесь «опора» на национализм господствующей нации считалась недостаточно прочной гарантией ввиду огромного численного преобладания других наций и народностей.

Как отмечают современные западные историки, дипломатия Бисмарка основывалась на отказе от «идеологизации» внешней политики в духе Священного союза¹⁵. Бисмарк заявил в одной из своих речей в 1869 году, что войны можно вести только по национальным (читай — националистическим) мотивам¹⁶.

В ряде работ Г. Киссинджера по проблемам внешней политики, в том числе в книге «Восстановление мира: Меттерних, Каслри и проблемы мира. 1812—1822» (Нью-Йорк, 1957 и 1964 гг.), высказывается мысль, что прочный мир возможен, когда государства не разделяет идеологический антагонизм и когда отношения между ними базируются на

равновесии сил. Приверженность этой доктрине ставится в заслугу австрийскому канцлеру Меттерниху и английскому министру иностранных дел Каслри, как «творцам» стабильного устройства Европы после наполеоновских войн. Однако ликвидировать идеологический антагонизм невозможно, он неизбежно порождается самим ходом исторического процесса. Реальной возможностью было недопущение того, чтобы этот антагонизм перерос в вековой конфликт. Между тем как раз и Меттерних, и — отчасти — Каслри были склонны разжигать вековой конфликт в тех случаях, когда, по их мнению, это могло служить их цели сохранения равновесия сил. Именно это определяло и интервенционистскую политику Меттерниха, и зигзаги в этой политике, и такие же колебания в отношении к ней со стороны Каслри.

К 1871 году число европейских государств резко сократилось: исчезли три с лишним десятка немецких, несколько итальянских княжеств, вошедших в состав Германской империи и Королевства Италии. Но система государств претерпела значительно меньше изменений, поскольку она определялась отношениями между главными державами. Германская империя заняла как бы место Пруссии, только резко усилившейся, а Италия — возросшего по своей силе Пьемонта. Вместе с тем решение германского и итальянского вопросов ликвидировало действие факторов, подрывавших ранее существовавшую европейскую систему. Характерно, что дестабилизирующее влияние на нее оказал в последующее десятилетие совсем другой итог франко-прусской войны — аннексия бисмарковской Германией Эльзаса и Лотарингии.

Когда говорят о стабильности, о прочности системы международных отношений, установленной Венским конгрессом, подразумевается то из нее, что уцелело в течение целого века — до 1914 года. А это как раз относится к тем решениям конгрессов Священного союза, которые меньше всего имели касательство к проблемам, входившим в сферу векового конфликта и защищавшимся консервативным лагерем в этом конфликте. Такая защита не предотвратила ни образование независимой Бельгии, ни воссоединение Германии и Италии, и не заслуга консервативного лагеря, что они в силу ряда конкретно-исторических причин не переросли в общеевропейскую войну, которая похоронила бы основы того устройства Европы, которое было создано в 1815 году. Его прочность была прямо связана с тем, что действия концерта европейских держав, их

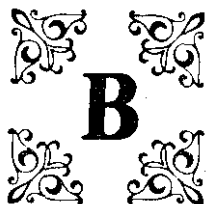
взаимоотношения в силу объективных причин строились не по линии векового конфликта.

Сравнительная устойчивость системы международных отношений была достигнута тогда и в той степени, в какой отказались рассматривать внутренние процессы развития отдельных стран и даже национально-освободительные движения, ликвидировавшие те или иные «решения 1815 года» как подрыв всей системы в целом. Иными словами, относительная стабильность была достигнута, когда была осознана тщетность попыток достижения ее «абсолютной» неизменности, вступавшей в конфликт с неустрашимыми законами развития общества.

Таким образом, «секрет» относительной стабильности системы международных отношений в столетие после Венского конгресса — системы, включавшей классово-разнотипные государства, — заключался в постепенном затухании векового конфликта, в возможности ее частичной модификации и приспособления к непреодолимым процессам внутренних перемен в различных странах. Опыт истории прямо противоречит утверждениям, будто стабильность, которая была достигнута решениями Венского конгресса, ныне якобы невозможна из-за различий социального строя разных стран¹⁷. Напротив, нет сомнения, что отсутствие векового конфликта в межгосударственных отношениях мощно способствовало успеху борьбы за национальное объединение Германии и Италии, за ликвидацию рабства в США — иными словами, исторических событий, являвшихся важными вехами общественного прогресса в период промышленного капитализма.

Уроки вековых конфликтов были слабо усвоены в XIX веке, и для этого были серьезные основания. Превращение буржуазии не только в правящий, но и в правящий реакционный класс, его союз с силами старого феодального строя сводили на нет интерес буржуазных ученых к взаимоотношениям разнотипных государств в сфере международных отношений. Религиозные мотивы международных конфликтов в целом считались делом исключительно прошлого. В целом же проблема была сужена до вопроса об отношениях со страной, в которой в данный момент происходит революция. И в трудах консервативных буржуазных историков, особенно монархического толка, отстаивался тезис о «невозможности» мирных отношений с такой страной.

Первые тридцать лет



1917 году в России победила социалистическая революция, знаменовавшая собой начало новой эры в истории человечества — эпохи перехода от капитализма к социализму. Великая Октябрьская социалистическая революция свергла эксплуататорский строй. Власть взял рабочий класс в союзе с трудовым крестьянством. Революция создала новый тип государства — Советскую социалистическую республику, высший тип демократии — демократию для трудящихся. Всемирно-историческое значение Октябрьской революции состоит в том, что она открыла формы и методы преобразования общества, экономики и культуры для достижения великой цели рабочего класса — социализма и коммунизма. Октябрьская революция потрясла до основания капиталистический мир, мир эксплуатации человека человеком, угнетения и ограбления поработанных народов колоний и зависимых стран.

Ответом империализма была попытка подавить революцию путем вооруженного нашествия. «Взаимные отношения народов, вся мировая система государств, — отмечал тогда В. И. Ленин, — определяются борьбой небольшой группы империалистских наций против советского движения и советских государств, во главе которых стоит Советская Россия»¹. В первый год существования Советского государства еще продолжалась мировая война.

Обнародованные в начале 1918 года 14 пунктов — мирная программа президента США В. Вильсона — по сути, являлись, хотя и замаскированным, отказом от принципа сосуществования государств с различным общественным строем. Используя пропагандистскую фразеологию Антанты о борьбе западных «демократий» против «германского милитаризма», Вильсон пытался обратить ее против молодого государства Советов. Контрреволюционная интервенция Антанты изображалась как продолжение борьбы «демократии» против «диктатуры». С самого начала мировой империализм пытался полностью исказить реальный клас-

совый смысл своей борьбы против первого в мире государства трудящихся, отождествляя капитализм с абстрактной «свободой», а власть пролетариата — с «подавлением свободы», «деспотизмом» и т. д.

В первый год существования Советской России интервенция была предпринята двумя воюющими между собой блоками империалистических держав. Характерно, что германский блок продолжал интервенцию и после заключения весной 1918 года Брестского мира. Со своей стороны, Антанта маскировала свою интервенцию лживыми (после осени 1918 г. отброшенными в сторону) утверждениями, будто вооруженное вторжение на территорию Советской России преследует лишь цель борьбы с Германией. Это идеологическое прикрытие использовалось империалистами Антанты одновременно в нескольких целях: во-первых, для успокоения общественного мнения в собственных странах, с тем чтобы воспрепятствовать подъему борьбы мирового пролетариата в защиту Советской республики; во-вторых, для обмана народов России относительно действительных намерений империалистов и изображения их союзника — внутренней контрреволюции — в качестве «национальной силы»; в-третьих, для того, чтобы скрыть от собственных союзников по военному блоку (являвшихся одновременно империалистическими соперниками) свои планы, включавшие наряду со свержением Советской власти территориальные аннексии и даже полное расчленение России.

Чрезвычайно показательно также, что, развертывая интервенцию против первой победоносной пролетарской революции, империализм был вынужден в своей пропаганде если не прятать, то отодвигать на задний план свою главную цель — капиталистическую реставрацию.

Так, правительство США объявило 5 июля 1918 г., что целью интервенции в Сибири являются «защита чехословаков от немцев и поддержка попыток создания самоуправления и самообороны, при которых сами русские, возможно, будут согласны принять помощь». Как не без сарказма добавлял Черчилль, было даже сообщено о готовности США направить отряд молодежной христианской ассоциации, чтобы обеспечить моральное обучение и руководство русским народом². И лишь только закончилась интервенция, как уже в 1922 году реакционная печать пыталась представить антисоветскую политику Антанты как оборону от мнимого советского экспансионизма. «Журналь де деба», например, писала, что советская внешняя по-

литика якобы является продолжением «извечного русского стремления к территориальным захватам», объявляла: «Можно видеть за покровом революционного коммунизма панславистские мечты»³.

Поколение, свершившее первую в истории победоносную социалистическую революцию, отстаивавшее ее в суровых боях против внутренней и внешней реакции, горячо верило в то, что в самом близком будущем на земле будет безраздельно торжествовать раскрепощенный труд и утвердятся всеобщий мир между народами, сбросившими цепи угнетения и эксплуатации. Однако история пошла другим, «зигзагообразным» путем. На долгие годы молодая Страна Советов оставалась одна в капиталистическом окружении и была вынуждена либо вести вооруженную борьбу против контрреволюционной интервенции, либо постоянно считаться с угрозой возобновления империалистического нашествия. Потребовался гений В. И. Ленина, чтобы в новых исторических условиях с безошибочной точностью определить единственно правильное решение проблемы взаимоотношений между Советской республикой и капиталистическими странами. Уже в первые месяцы существования Советской республики В. И. Ленину и Коммунистической партии пришлось выдержать упорную борьбу против сторонников авантюристической, антимарксистской теории «революционной войны» для «подталкивания революции» в других странах, которая объективно вела к вовлечению молодого государства рабочих и крестьян в неравную борьбу с вооруженным до зубов германским империализмом. В. И. Ленин выдвинул в качестве фундаментальной цели внешней политики пролетарского государства установление отношений мирного сожительства между Республикой Советов и странами с другим общественным строем. Ленинская постановка и решение этой важнейшей проблемы, представляющие собой выдающееся достижение марксистской теоретической мысли, ныне осознаны всем человечеством как необходимый основополагающий принцип международных отношений, от соблюдения которого зависит будущее нашей планеты.

Республика Советов сразу же после своего образования пыталась наладить нормальные отношения с иностранными государствами. Уже после начала открытой вооруженной интервенции Советское правительство многократно обращалось с мирными предложениями: 5 августа 1918 г. — к американскому представителю Пулю, 24 октября 1918 г. — к президенту Вильсону, 3 и 7 ноября,

23 декабря 1918 г., 12 и 17 января, 4 февраля, 12 марта, 7 мая 1919 г. — ко всем правительствам стран Антанты⁴. Все эти предложения Антанта оставляла без внимания. Правда, чтобы обмануть общественное мнение, капиталистические государства предложили созвать на Принцевых островах конференцию, на которую должны были быть приглашены наряду с советскими делегатами представители различных белогвардейских группировок. Империалисты рассчитывали на отказ Советского правительства от этого приглашения, чтобы изобразить его врагом мира. Однако Советская Россия сорвала маску с мнимых миротворцев. Она выразила согласие на переговоры и заявила о готовности пойти на ряд уступок. После этого правительства стран Антанты поспешили похоронить проект конференции на Принцевых островах.

Советская Россия не прекращала борьбы за мир. В докладе народного комиссара по иностранным делам на заседании Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) 17 июня 1920 г. указывалось: «Наш лозунг был и остается один и тот же — мирное сосуществование с другими правительствами, каковы бы они ни были. Сама действительность привела нас и другие государства к необходимости создания длительных отношений между рабоче-крестьянским правительством и капиталистическими правительствами».

Интервенция продолжалась, приобретая широкие масштабы. Известно, чем все это закончилось. Несмотря на огромное экономическое и военное превосходство стран-интервентов и использование ими больших сил внутренней контрреволюции, империалисты потерпели полный провал в попытке уничтожить первое в мире рабоче-крестьянское государство. Союз российского рабочего класса и крестьянства оказался непобедимым союзом против капиталистов⁵. Победа советского народа над интервентами и белогвардейцами показала, какие неиссякаемые силы породила социалистическая революция, как неодолим новый передовой общественный строй. Большую помощь советскому народу оказала поддержка трудящихся всего мира, организовавших массовое движение «Руки прочь от Советской России!»

Как уже отмечалось, сразу после окончания интервенции реакционная печать стала запугивать европейского обывателя «большевистской угрозой с Востока» и даже пыталась представить антисоветскую политику империали-

стических держав как якобы оборону от «советской угрозы». Более того, не останавливаясь перед самой низкой ложью, правая пресса приписывала В. И. Ленину заявление о том, что окончание интервенции и гражданской войны открывает перспективу второго периода наступательных войн⁶. В действительности же уже весной 1921 года, сразу же после окончания антисоветской интервенции, В. И. Ленин подчеркивал: «Сейчас главное свое воздействие на международную революцию мы оказываем своей хозяйственной политикой... На это поприще борьба перенесена во всемирном масштабе»⁷.

Нами уже не раз говорилось об относительности исторических параллелей. И все же нельзя пройти мимо одной из них. Общественное развитие, отмечал В. И. Ленин, нередко происходит как бы по спирали. При всем неизмеримом различии между положением Советского Союза и всего социалистического лагеря в наши дни и обстановкой, в которой находилась молодая Республика Советов после окончания гражданской войны, можно отметить и элементы сходства. В обстановке 1921—1923 годов были черты, часть которых впоследствии стала характерной приметой «холодной войны», а другие — разрядки международной напряженности и ее подрыва наиболее агрессивными кругами империализма, непрестанных усилий Советской страны по налаживанию международного сотрудничества.

В 1922 году, выступая на Генуэзской конференции, народный комиссар иностранных дел Г. В. Чичерин, следуя директиве В. И. Ленина, заявил: «Оставаясь на точке зрения принципов коммунизма, российская делегация признает, что в нынешнюю историческую эпоху, делающую возможным параллельное существование старого и нарождающегося нового социального строя, экономическое сотрудничество между государствами, представляющими эти две системы собственности, является повелительно необходимым для всеобщего экономического восстановления». Внешнеполитические акции, которые предпринимали В. И. Ленин и большевистская партия в те, уже далекие, годы, — в кровном родстве с советской политикой мира, разработанной и претворяемой в жизнь КПСС. Они связаны воедино неразрывной цепью идейной и практической преемственности. В этом смысле великий Ленин стоял у истоков политики смягчения международной напряженности. Ленинская политика явилась историческим прообразом миролюбивой внешней политики КПСС на современном этапе. Внешняя политика первых лет Советской

власти заложила основы длительной мирной передышки для небывалых свершений первых пятилеток, изменивших облик нашей страны.

Много общего и в иступленных нападках империалистической реакции на внешнюю политику Страны Советов, проводившуюся В. И. Лениным после окончания гражданской войны, и политику, проводимую Советским Союзом в наши дни. С первых же месяцев нэпа буржуазная печать стала писать, что хозяйственное возрождение России возможно только на капиталистической основе, что по мере восстановления экономической жизни вообще «не останется места» для большевистских экспериментов⁸. У. Черчилль тогда поспешил заявить о «полном крушении социалистической и коммунистической теории»⁹. Нэп был якобы возвращением «к самому крайнему неравенству»¹⁰. Буржуазная пресса писала о «неприспособляемости марксистской ортодоксии к задачам реорганизации России»¹¹, именовала нэп «экономической контрреволюцией»¹². Провал прежних прогнозов о скором падении Советов, конечно, учитывался буржуазной и реформистской печатью. «Несмотря на это, — писала одна берлинская газета, — мы можем составить в самых общих чертах прогноз дальнейшего политического развития России. Или господствующая партия рано или поздно будет принуждена экономической необходимостью отказаться от своего безраздельного господства и встать на почву демократии (буржуазной. — Авт.), или ее диктатура будет свергнута революционным путем. Третьего не дано»¹³.

Повторяя вымыслы ультралевых оппортунистов, буржуазная пропаганда твердила, что «Ленин стал умеренным»¹⁴. Буржуазная печать в унисон с «леваками» распространяла клевету, будто Ленин «открыто и без оговорок признал, что диктатура пролетариата потерпела фиаско»¹⁵, «полностью потерял веру в революцию» и стал «империалистом», поборником создания «всемирной державы»¹⁶. Советские предложения, намечавшие пути развития экономических связей между Советской Россией и Западом, помещались под заголовками «Отход от большевизма»¹⁷. Последовательное проведение принципа мирного сосуществования, развития экономических связей между Советской Россией и Западом объявлялось отречением от мнимых попыток Кремля экспортировать революцию, капитуляцией перед капитализмом. «Прошли те знаменательные дни, — писала газета английских «твердолобых» «Морнинг пост», — когда Россия была готова истребить капиталисти-

ческую Европу; их сменила мрачная современная действительность, к задачам которой как будто относится спасение России капиталистической Европой». Английские «твердолобые», разумеется, выступали против «спасения доживающего свои последние дни» большевизма¹⁸.

Не было нелепостей, перед которыми останавливались бы противники установления и развития нормальных экономических и политических отношений с Советской Россией. Так, британская консервативная печать развернула кампанию за отмену англо-советского торгового соглашения. Газета «Дейли мейл» писала, выделяя в передовой статье это место курсивом как особенно важный вывод: «Торговли в реальном смысле слова с Россией почти или вовсе не существует и не может быть до исчезновения большевизма»¹⁹. В парламенте от имени консервативного кабинета было разъяснено, что разрыв торговых отношений «ни в какой мере не повредит британской торговле»²⁰. Невольно раскрывая подоплеку этих абсурдных утверждений, газета «Таймс» так объясняла позицию тори: «Торговое соглашение, бывшее очень сомнительным экспериментом, потерпело неудачу. Оно не привело к здоровой торговле с Россией. Напротив, оно стало главным средством укрепления советской монополии внешней торговли, которая является помехой для нормальных торговых связей с русским народом»²¹. Итак, никакой торговли, если она не ведет к «исчезновению большевизма» и к созданию «нормальных» капиталистических порядков в России. А раз этого не предвидится, отказ от огромного российского рынка, оказывается, «не наносит ущерба» британской торговле! К тому же делались отчаянные попытки возложить вину за подрыв советско-английской торговли на Советский Союз, на что прямо указывали министр иностранных дел Керзон и консервативная печать. Несуразность этих заявлений вызывала возражения в рядах лейбористов и либералов. «Что бы ни думал лорд Керзон, — писала либеральная «Манчестер гардиан», — русские явно стремятся сохранить торговые соглашения и в случае возможности улучшать отношения между двумя странами. Почему бы им не стремиться к этому? Они могут только выиграть и не могут ничего потерять. Лорд Керзон может не доверять их заявлениям, но так как их заявления и их материальные интересы столь полно совпадают, скептицизм должен явиться лишь свидетельством фанатического предубеждения»²².

Как признавала либеральная печать, тори пытались изобретать любые предлоги, чтобы требовать «ответ-

ных мер» против Советской России. Они не возмущаются мнимыми «нарушениями ею соглашения, а скорее приветствуют их, так как они способны привести к столь желанному для них разрыву отношений»²³. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать, например, «Обращение к лорду Керзону», опубликованное как раз во время предъявления Советской России пресловутого «ультиматума Керзона» в органе «твердолобых» (как называли правое крыло консерваторов) «Морнинг пост». В обращении осуждались любые связи с большевиками, «так как опасение скорого крушения современной цивилизации — страх, которым еще несколько лет назад были одержимы только безумцы, ныне овладел всеми мыслящими людьми, мужчинами и женщинами. Британский народ пассивно терпел и на Востоке, и на Западе действия всех тех сил, которые стремятся подорвать общество. Не пришло ли время выступить против этих подрывных тенденций и показать, что Великобритания все еще верит в цивилизацию и религию, которая является духовной основой ее существования?»²⁴.

Противники нормализации отношений с Советской страной, приплетая не идущие к делу ссылки на цивилизацию и религию, утверждали, что они готовы идти лишь на нормальные связи, являвшиеся другим названием отношений на капиталистической основе и реставрации в Советском Союзе буржуазного строя. В наши дни нынешние империалистические «ультра» — прямые наследники тогдашних «твердолобых» — выдвигают под другими этикетками те же требования отказа от социализма.

Лорд Керзон и его единомышленники, развертывая яростную антисоветскую кампанию, вместе с тем истерически требовали прекращения «советской пропаганды» (такое требование, как известно, содержалось в «ультиматуме»). Консервативная печать призывала даже не обсуждать этого требования, а настаивать на его безоговорочном выполнении²⁵. При этом «твердолобые» в качестве довода против нормализации отношений с Советским Союзом приводили демонстрации протеста, прошедшие в нашей стране в связи с «ультиматумом Керзона». А такая признанная поборница западной демократии, как газета «Таймс», негодовала: «Советский поэт Маяковский, обращаясь с балкона к демонстрации, объяснял толпе, кем является, по его мнению, лорд Керзон. „Керзон, — заявил Маяковский, — скрывается под маской лорда, но в действительности это — хищник”»²⁶.

Вместе с тем определенные круги буржуазии, в отличие

от наиболее агрессивного крыла империалистической реакции, настаивавшего на продолжении вооруженной интервенции, делали ставку на установление экономических связей с Россией, но без надежды, конечно, на «эволюцию» государства диктатуры пролетариата. Так, одна из немецких газет писала в конце февраля 1922 года: «С помощью иностранной интервенции России (!) не поможешь. Оздоровление может произойти только на пути политической и хозяйственной эволюции. На это развитие остальная Европа, особенно Германия, может оказать существенное влияние»²⁷. Еще более откровенно выражала эти мысли тогда же другая немецкая газета в статье «Новые пути Ленина»: «Вся европейская демократическая пресса приветствовала с открытым ликованием новую политику Ленина, повсюду она встречала по крайней мере похвальные упоминания в том смысле, что наконец большевизм понял невозможность далее вести дела, как прежде, что Россия станет постепенно подходящим партнером для переговоров и т. д. Созданное таким образом настроение чрезвычайно облегчило деятельность официальной большевистской дипломатии. Оно сделало возможным заключение торговых соглашений с Италией, Англией, Германией и Швецией». Перечисляя успехи советской внешней политики, газета вместе с тем объявляла: «Цель западных политиков — так опутать большевиков, чтобы они, шаг за шагом отступая назад, пропустили бы в Россию хозяйственные лозунги Антанты»²⁸. Что ж, «хозяйственные лозунги» пришлось оставить там, где они находились, а развитие торговли Советской России с капиталистическим миром стало большим позитивным фактором международного развития.

В 20-е годы наша страна стояла еще в начале своей длительной и упорной борьбы за мир, но и в то время в буржуазном лагере можно было встретить и сторонников признания существующих реальностей, понимающих значение для Запада восстановления экономических связей с Россией. Так, вернувшийся из России очевидец капитан П. Хиббен заявлял, выступая в Нью-Йорке: «Будущее России — это будущее Европы. Это будущее мира. Мировая промышленность, процветание, более того, всемирный прогресс являются результатом возвращения России на ее место в экономической жизни всего мира»²⁹. Конечно, оно представлялось по-разному различным политическим силам капиталистического мира, однако разграничительная черта между ними проходила по линии «за» либо «против» этого возвращения, равнозначного признанию или непри-

знанию принципа мирного сосуществования государств с различным социальным строем. Реалистический подход на Западе к внешнеполитическим проблемам, поиски почвы для установления и развития взаимовыгодных связей встречали неизменную поддержку со стороны Советского правительства, возглавляемого В. И. Лениным. Оно настойчиво проводило этот курс, даже когда наталкивалось на стену враждебности и непризнания.

История знает немало примеров, когда наиболее реакционные и агрессивные круги империализма пытались повернуть вспять процесс утверждения в международных отношениях ленинского принципа мирного сосуществования государств с различным общественным строем.

...Весна 1923 года. Первые шаги в налаживании мирных отношений между Советской страной, еще недавно являвшейся объектом вооруженной контрреволюционной интервенции сначала Германии, а потом Антанты, и рядом капиталистических стран Европы. И ответ на это британских тори — ультиматум лорда Керзона, предъявленный Советскому правительству.

Ультиматум не принес лавров консерваторам, в том же году проигравшим парламентские выборы. Пришедшее на смену тори первое лейбористское правительство установило дипломатические отношения с Советским Союзом. Но консерваторы продолжали следовать курсом конфликтов и конфронтации. Осенью на деньги, предоставленные штаб-квартирой консервативной партии, английский шпион Сидней Рейли в трогательном сотрудничестве с влиятельными чиновниками Форин оффис — британского министерства иностранных дел — и русскими эмигрантами-монархистами состряпал подложное письмо, якобы исшедшее от президиума Коминтерна. В буржуазной печати началась настоящая антисоветская свистопляска... В 1927 году консервативный кабинет под очередным провокационным предложением разорвал дипломатические отношения с СССР и занялся сколачиванием блока антисоветских сил для новой интервенции. И снова осечка. Из затеи английских «твердолобых» ничего не вышло, а через два года второе лейбористское правительство должно было опять восстановить дипломатические отношения с Советским Союзом. Однако очередные случаи помрачения разума английских реакционеров на почве антисоветизма повторялись снова и снова, нанося большой ущерб национальным интересам Великобритании. Достаточно вспомнить проводившуюся официальным Лондоном в союзе

с правящими кругами Парижа и активно поддержанную американской реакцией политику поощрения фашистской агрессии, которая привела Францию к национальной катастрофе и поставила Великобританию на грань такой же катастрофы.

Чудовищное порождение империализма — фашизм чрезвычайно усилил и довел до крайней степени все интервенционистские тенденции, присущие капиталистическому строю.

Каждый из многочисленных агрессивных актов фашистских держав имел характерные признаки контрреволюционной интервенции. Он приводил к установлению на захваченной территории более реакционного строя, чем тот, который существовал до агрессии, сопровождался подавлением борьбы народных масс за восстановление утраченных свобод, демократии и национальной независимости. Это была контрреволюционная интервенция, принимавшая форму геноцида, сопровождавшаяся истреблением миллионов людей в газовых камерах, попытками порабощения всего человечества. Вся отравленная мешанина различных реакционных взглядов, составлявшая фашистскую идеологию, — расизм, геополитика, теория «жизненного пространства» и т. д. — была приспособлена для оправдания контрреволюционного насилия как над собственным, так и особенно над другими народами, для обоснования агрессивных войн и интервенции. Фашизм открыто возвел интервенционизм против Советского Союза и борьбу против международного коммунистического движения в число принципов своей внешней политики. Одним из проявлений этого был подписанный 25 ноября 1936 г. гитлеровской Германией и милитаристской Японией «Антикоминтерновский пакт», 6 ноября 1937 г. к пакту присоединилась фашистская Италия. По статье 2 пакта обе стороны соглашались принимать меры против тех, «кто внутри или вне страны, прямо или косвенно действует в пользу Коммунистического Интернационала».

Выступая на съезде нацистской партии 13 сентября 1937 г., фашистский фюрер заявил: «Мы рассматриваем любую попытку распространения большевизма в Европе как кардинальное нарушение европейского равновесия».

Однако, утверждая свое «право» на вмешательство в дела других стран для подавления коммунистического движения, осуществляя дипломатическую и военно-политическую подготовку к антисоветской интервенции, фашистские государства преследовали и другие цели. «Анти-

коминтерновский пакт» был призван, как отмечала тогда мировая печать, создать также предлог для захватнических действий фашистских агрессоров против всякой облюбованной ими жертвы, служить оправданием интервенции, нацеленной против демократии и независимости всех стран и народов.

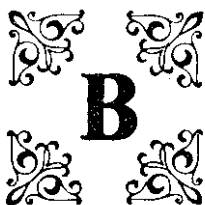
Советское государство вело последовательную борьбу за установление и нормализацию отношений с другими странами, за развитие взаимовыгодных торговых связей. По мере возрастания военной опасности Советский Союз выдвигал многочисленные инициативы с целью сдвинуть с мертвой точки переговоры о разоружении, о создании системы международной безопасности, об оказании помощи странам, ставшим жертвой фашистского разбоя.

Внешняя политика Советского Союза и в межвоенный период, и позднее строилась с учетом существования реальной возможности воспрепятствовать созданию объединенного фронта капиталистических стран против в то время единственного пролетарского государства. Эта возможность сохранялась и во время прямого военного противоборства сил фашизма и сил демократии — в годы второй мировой войны. События доказали правильность марксистского анализа закономерностей развития системы международных отношений, из которого исходила советская дипломатия. Острые империалистические противоречия, разделявшие США и Англию со странами фашистского блока, привели к возникновению вооруженного конфликта между ними. Образование антифашистской коалиции было выдающимся успехом внешней политики СССР. Правящие круги западных держав были подведены к необходимости пойти на создание этой коалиции всем ходом мировых событий, стремлением отстаивать государственные интересы даже в том их понимании, которое было распространено среди господствующих классов этих стран. Вместе с тем вступление в антифашистскую коалицию объективно отвечало коренным жизненным интересам народов Англии и США, как и всех других народов. Самое образование и деятельность антифашистской коалиции наглядно доказывали возможность эффективного сотрудничества государств с различным общественным строем. Принцип мирного сосуществования, по существу, нашел воплощение в Уставе созданной в 1945 году Организации Объединенных Наций.

Один из главных уроков войны заключается в том, что государства антифашистской коалиции, несмотря

на различие их социально-экономического и политического строя, смогли объединить в трудный для всего человечества час свои силы для отпора общему врагу, посягавшему на мировое господство, вести совместную борьбу во имя прочного мира.

Историческая альтернатива



наше время не было и нет разумной альтернативы мирному сосуществованию. Ведь такой альтернативой являются лишь ядерное безумие, перспектива самоуничтожения человечества. И тем не менее десятилетиями ослепленные классовой ненавистью политики и идеологи империализма отказывались признать эту непреложную истину.

Решения Ялтинской и Потсдамской конференций руководителей великих держав — участниц антифашистской коалиции, определивших основы послевоенного устройства, четко исходили из признания принципа мирного сосуществования. Немудрено, что эти решения являлись и являются объектом ожесточенных нападков со стороны представителей наиболее реакционных кругов империализма. Например, З. Бжезинский заявил 5 января 1982 г., выступая по телевидению: «Нам следует подумать, чтобы публично отречься от Ялтинских соглашений». А 8 марта того же года в журнале «Ньюсуик» он снова повторил: «Мы должны отрешиться от Ялты»¹. В 1984 году президент США фактически призвал к ревизии решений Крымской конференции, а в связи с ее 40-летним юбилеем объявил в феврале 1985 года, что, мол, линия, разделяющая Западную и Восточную Европу (иными словами, существование как капиталистических, так и социалистических стран), не может обрести законность²...

В августе 1945 года без военной необходимости по приказу президента Г. Трумэна на японские города Хиросима и Нагасаки были сброшены американские атомные бомбы. Сотни тысяч мирных жителей были принесены

в жертву, чтобы этой демонстрацией мощи американский империализм мог подкрепить свои притязания на мировое господство, проводить политику атомного шантажа в отношении Советского Союза. Позднее Трумэн снова и снова повторял: «Я никогда не страдал бессонницей из-за моего решения. Я поступил бы так же снова»³. Были ли эти слова вызваны попыткой заглушить укоры, казалось бы, давно умолкнувшей совести, или просто привычной манерой политика любыми средствами оправдывать свои поступки? Британский премьер-министр Уинстон Черчилль, несущий свою долю ответственности за Хиросиму и Нагасаки и лучше Трумэна понимавший, как это должно сказаться на их исторической репутации, как-то, находясь в узком кругу, заметил:

— Господин президент, я надеюсь, Вы уже заготовили ответ, который понадобится, когда Вы и я предстанем перед Святым Петром и он скажет: «Насколько мне известно, вы ответственны за сбрасывание атомных бомб». Что бы Вы могли сказать в свою защиту?

Воцарилось неловкое молчание. Потом на помощь Трумэну поспешил заместитель государственного секретаря Роберт Ловетт, который с вкрадчивой вежливостью спросил злоязычного британца:

— Уверены ли Вы, господин премьер-министр, что Вам и президенту предстоит в одном и том же месте подвергнуться этому допросу?

Намекая на длинный ряд прегрешений английского премьера, Ловетт явно был готов открыть райские врата лишь для своего богобоязненного президента.

Идеологи современной реакции, обозревая отношения между социальными системами в нашем столетии, утверждают, что США совершили три кардинальные ошибки: во-первых, не задушили Советскую власть в годы гражданской войны и иностранной интервенции; во-вторых, не помогли фашистской Германии в войне против Советского Союза и, в-третьих, не применили против нашей страны атомное оружие в то время, когда существовала американская монополия на него, чтобы заставить Москву принять западные требования. Впрочем, в желании и в планах такого использования атомного оружия недостатка не было.

Уже 19 мая 1945 г. заместитель государственного секретаря США Дж. Грю писал: «Если что-либо может быть вполне определенным в этом мире, так это будущая война между СССР и США». Объединенный комитет воен-

ного планирования в своей директиве № 432/3 от 14 декабря 1945 г. предусматривал нанесение решающего удара по СССР с использованием 196 атомных бомб. 5 марта 1946 г. речью У. Черчилля была, по сути дела, объявлена, пока еще «холодная», война нашей стране, якобы «стремящейся к безграничному распространению своей силы». 4 апреля 1949 г. был оформлен Североатлантический блок. По разработанному тогда же плану «Дропшот» намечалось 1 января 1957 г. начать войну против СССР, обрушив на советские города свыше 300 атомных и 250 тысяч обычных бомб, и оккупировать территорию Советского Союза 23 американскими дивизиями. При этом составители плана исходили из того, что агрессором будут США, прямо указывая: «В настоящее время Советский Союз не начнет войны против Соединенных Штатов»⁴. Одновременно было предписано приступить к созданию нового «абсолютного» оружия — термоядерного.

Но расчеты поставить на колени Советскую страну были построены на песке. «Ни в какое время после 1950 года, — как признают ныне и американские историки, — США не были способны уничтожить Россию и ее союзников без полностью неприемлемого риска для самих себя»⁵.

Для политика одна из главных опасностей — стать рабом собственной пропаганды. Для реакционных политиков, возглавляющих консервативный лагерь в конфликте, это, как правило, означало потерять реальное представление о мире, всесторонне искажаемое этой пропагандой. Такое перевернутое представление прямо вытекало из целей консервативного лагеря, исторически недостижимых и вместе с тем настолько полностью противоречащих коренным интересам народов стран, вовлеченных в конфликт, что эти цели приходилось тщательно маскировать и даже приписывать своим противникам.

...4 июля 1976 г., в день национального праздника, повсеместно в США торжественно отмечался 200-летний юбилей страны. Местом проведения официальной церемонии был избран не Белый дом и не Капитолий, где заседает конгресс США. Президент Дж. Форд в день, когда минули два столетия со дня провозглашения независимости страны, решил быть на одном из крупнейших американских авианосцев, который носил поистине символическое имя «Форрестол»...

А примерно за четверть века до этого торжества, весной 1949 года, на центральных улицах Вашингтона метал-

ся немолодой, среднего роста мужчина с лицом «совестливого гангстера» из голливудских фильмов, который оглашал окрестности истошными криками: «Русские идут! Русские идут! Они здесь! Я видел русских солдат!» Помещенный в военный госпиталь, он немного утихомирился, но однажды ранним мартовским утром беспокойный пациент прикрепил одним концом пояс больничного халата к радиатору отопления и, обвязав другой конец вокруг шеи, выбросился из окна 16-го этажа. Пояс лишь на секунду задержал падение... Это был министр обороны США Джеймс Форрестол. А ведь совсем незадолго до того Форрестол считался воплощением воли и намерений США проводить «сдерживание» и «обуздание» коммунизма, добиваться превращения XX века в «американское столетие». Форрестол прославляла «большая печать». Вашингтонский газетный ас Дрю Пирсон доверительно говорил тогда одному из своих коллег: «Форрестол — самый опасный человек в Америке... Им движет честолюбие, он всегда жаждал быть самым главным — сначала первым лицом на Уолл-стрите, а теперь в Соединенных Штатах. Принципы, которых он придерживается, такого сорта, что приведут еще к одной войне — если только его до этого не остановят». Форрестол был, как писала газета «Вашингтон пост», обуреваем мыслью, что «холодная война» — это прелюдия к «горячей». Чем дальше, тем больше это становилось его навязчивой идеей⁶. Когда ему наконец предложили лечь в больницу, он понимающе и обреченно кивнул присутствующему при этом Роберту Ловетту: — Боб, они явились за мной.

«Они», конечно, означало «коммунисты», которые, по утверждению Форрестолы, путем инфильтрации установили контроль за Белым домом и Капитолием, и в составленных ими списках лиц, подлежащих «ликвидации», министр обороны, значился на первом месте.

Немало лиц в Вашингтоне, включая, например, того же Дрю Пирсона, не скрывали своей уверенности в том, что Форрестол полностью сошел с ума. Что Форрестол душевнобольной, знали задолго до того, как его поместили в военный госпиталь. Как долго безумному человеку позволяли оставаться министром обороны, какие приказы он успел отдать с того времени, как лишился разума, и почему подчиненные не увидели в них особого отличия от его прежних распоряжений? Эти вопросы так и остались без ответа. Хотя признаки сумасшествия у Форрестолы стали замечать еще со второй половины 1948 года, ни пре-

зидент Трумэн, ни его советники не усомнились в целесообразности инициативы душевнобольного министра, предложившего разработать план «превентивной» атомной войны против СССР, который тогда же был утвержден и оформлен в качестве директивы Совета национальной безопасности. В своем служебном кабинете Форрестол приказал повесить изречение «Мы никогда не достигнем всеобщего мира, пока наиболее сильная армия и флот не будут в распоряжении наиболее могущественной страны»⁷. Разве одного этого недостаточно, чтобы имя Форрестола значилось на огромном монументе, воздвигнутом в его память благодарным Пентагоном?

Прошел лишь год после самоубийства Форрестола — и новый казус в Вашингтоне. На заседании в государственном департаменте, посвященном все тем же проблемам подготовки к конфронтации с Советским Союзом с использованием ядерного оружия, новый министр обороны Льюис Джонсон вдруг начал ораторствовать на изумленных собеседников и, не желая слушать возражений, стрелой вылетел из комнаты в сопровождении высокопоставленных генералов своей свиты. Не сразу, только в сентябре, Трумэн счет необходимым уволить Джонсона, который позднее подвергся операции на мозге⁸. Конечно, политическое безумие далеко не всегда дополняется безумием клиническим, но и частичные совпадения достаточно красноречивы.

Приход в 1953 году к власти в Вашингтоне республиканской администрации не привел к кардинальным переменам. Как писал один американский историк, «Эйзенхауэр и Даллес использовали образ падающих костяшек домино, чтобы иллюстрировать свое мнение, что кризис в Индокитае может в конечном счете поставить под угрозу британские и американские позиции в западной части Тихого океана»⁹. Согласно «теории домино», страны предстают в виде «группы костяшек, неизбежно падающих одна за другой, если только опрокидывается первая костяшка»¹⁰. «Теория домино» стала для Вашингтона одним из главных обоснований контрреволюционного интервенционизма не только в 50-е годы, но и позднее, во времена вьетнамской войны. «Соединенные Штаты в период «холодной войны», — писал один американский исследователь, — подобно Древнему Риму, были затронуты всеми политическими проблемами мира. Поэтому потеря, вызванная переходом даже одной только страны на сторону коммунизма, не являясь сама по себе материальной угро-

зой американской безопасности, приводила к следствиям, которые крайне беспокоили официальных лиц в Вашингтоне... Они были сильно озабочены как внешней формой, так и сутью событий, и было много разговоров о домино»¹¹. А сколько случаев обострения «холодной войны» можно насчитать в политике правящих кругов США и до, и после того, как вошло в лексикон само это понятие! В 1954—1955 годах были отмечены симптомы некоторого смягчения международного климата, а уже осенью 1956 года снова развязывается злобная антисоветская кампания, включавшая планы вооруженной помощи участникам контрреволюционного мятежа в Венгрии. Попытки Вашингтона расширить масштабы контрреволюционного интервенционизма были чреваты угрозой мировой войны. Американские планы вмешательства оказались неосуществимыми. «Без того, чтобы основные страны Европы спонтанно сплотились с нами (невероятная перспектива), мы ничего не могли сделать»¹², — напишет позднее Д. Эйзенхауэр.

Следующий, 1957 год нанес сокрушительный удар по планам сторонников «американского века». Э. Бенсон, министр в правительстве Эйзенхауэра, писал: «Это был год первого и второго спутников... Мы по-новому взглянули на нашу науку, наши школы, нашу оборону, наши союзы»¹³. На рубеже 50-х и 60-х годов были попытки ослабить напряженность в отношениях между США и СССР — и в это же время состоялся провокационный полет американского шпионского самолета У-2 над советской территорией, явно несовместимый с заявлениями Вашингтона о стремлении к нормализации этих отношений. Первые шаги администрации президента Джона Кеннеди в сторону признания новых реальностей в мире, связанных с возрастанием экономического и оборонного потенциала стран социалистического содружества, сопровождались началом развертывания преступной войны США против Вьетнама, надолго заморозившей еще слабые ростки разумного подхода американской стороны к международным проблемам.

Поистине бесконечен ряд контрреволюционных интервенций и заговоров, которыми заполнена история политики империалистических держав в годы «холодной войны» в Европе и Азии, в Африке и Латинской Америке! По данным доклада, подготовленного по инициативе коалиции американских организаций сторонников контроля над вооружениями, не менее 10 миллионов человек погибли в так называемых «локальных войнах», развязанных

империализмом после второй мировой войны¹⁴. Не раз американская политика, основанная на доктринах «балансирования на грани войны», «освобождения», «отбрасывания коммунизма», «массированного возмездия», подвела мир к пропасти ядерного конфликта.

Была ли неизбежной «холодная война»? Во второй половине 40-х и в 50-е годы буржуазные политики и теоретики давали, как правило, однозначно утвердительный ответ, ссылаясь на мнимую «советскую угрозу», «коммунистическую агрессию», требуя «освобождения» народов социалистических стран. В конце 50-х годов проявился кризис политики и вместе с ней идеологии «холодной войны». В 1960 году Дж. Кеннеди, вскоре ставший президентом США, писал в своей книге «Стратегия мира» («The Strategy of Peace»): «Провозглашенная с гордостью восемь лет назад политика «освобождения» оказалась обманом и иллюзией. Мы должны развивать и иметь наготове в отношении Восточной Европы более гибкий и лучше приспособленный к обстоятельствам способ действий»¹⁵. После коренного изменения в соотношении сил на международной арене в пользу социализма часть правящих кругов США осознала бесперспективность цепляния за обанкротившуюся политику «холодной войны». Усилились поиски метода подрыва социалистических стран изнутри, «размягчения социализма». Все большую ставку делали воинствующие круги Запада на разжигание националистических настроений. Феодалный национализм был орудием монархической реакции в борьбе против буржуазной демократии. Буржуазный национализм, широко использованный правящими классами внутри отдельных стран против рабочего движения и как идеологическое обоснование несправедливых, захватнических войн, превратился в одно из главных орудий империалистической реакции в борьбе на мировой арене против социализма.

Без систематической, годами и десятилетиями проводившейся идеологической обработки населения в духе реакционного национализма, без капитуляции перед ним оппортунистов было бы невозможно погнать массы в 1914 году на империалистическую бойню, которая обошлась человечеству в 10 миллионов убитых и 20 миллионов искалеченных, поглотила огромные ценности, созданные трудом нескольких поколений. Без человеконенавистнической, расистской идеологии нацизма и самоубийственной «мюнхенской» политики попустительству агрессору невозможна была бы вторая мировая война, унесшая жиз-

ни 50 миллионов человек, в том числе 20 миллионов граждан Советского Союза. Двух этих напоминаний достаточно, чтобы видеть, каких чудовищных жертв потребовал для себя в XX веке молох реакционного национализма.

В противоречиях современной эпохи, противоборстве капитализма и социализма империалистическая буржуазия неизменно использовала национализм и для идеологического «оправдания» навязанной ею конфронтации в сфере межгосударственных отношений, для укрепления собственного тыла и во все большей степени в попытках подорвать единство передового — социалистического — лагеря. По мере того, как исчезало военно-техническое превосходство буржуазного лагеря, реакция все большую ставку делала на национализм как важное орудие, с помощью которого она стремилась вернуть мир к худшим дням «холодной войны». Отсюда стремление буржуазных авторов представить современное развитие как процесс «победы» национализма над коммунизмом и т. п.¹⁶

Правое крыло империализма выступало против любого смягчения конфронтации с Советским Союзом. В книге «Почему не победа» сенатор Б. Голдуотер в 1962 году провозглашал кредо этого правого крыла: «Победа — ключ ко всей проблеме. Несомненно, что ее единственная альтернатива — это поражение»¹⁷. Более чем через полтора десятилетия Голдуотер продолжал вещать: «Русские решили завоевать мир. Они будут использовать силу, убийство, ложь, лесть, подрывные действия, подкуп, вымогательство и измену». Правда, он тут же оговаривался: «Я не предлагаю, чтобы велась ядерная война. Боже сохрани! Она не является необходимой»¹⁸. Но всем ходом своих «доводов» Голдуотер призывал подталкивать мир к ядерной катастрофе.

К началу 70-х годов выявилась недееспособность основных внешнеполитических концепций США — «холодная война» не сдержала роста могущества Советского Союза, его авторитета в мире. Не хватило у США сил для выполнения роли международного жандарма, охраняющего мировой порядок, выгодный империализму. Все менее эффективной становилась опора на военную мощь как главное орудие внешней политики, столь же несостоятельными оказались попытки подкрепить политику «с позиции силы» так называемой долларовой дипломатией. Финансовое бремя, которое было связано с проведением агрессивной внешней политики в глобальном масштабе, вызвало перенапряжение экономики США¹⁹.

В 70-е годы тенденция к разрядке стала определять развитие международных отношений. В эти годы удалось добиться позитивных сдвигов в отношениях между двумя наиболее мощными государствами современного мира — СССР и США. В мае 1972 года во время визита американского президента в Москву были подписаны такие важные документы, как «Основы взаимоотношений между СССР и США», Договор между СССР и США об ограничении систем противоракетной обороны, Временное соглашение о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений и ряд соглашений о развитии сотрудничества в сферах экономики и торговли, науки и техники, медицины и здравоохранения, охраны окружающей среды и т. д. 23 июня 1973 г. были подписаны Соглашение о предотвращении ядерной войны, Основные принципы переговоров о дальнейшем ограничении стратегических наступательных вооружений. Положительное значение в процессе советско-американских переговоров имела рабочая встреча руководителей СССР и США в районе Владивостока. В июне 1979 года состоялись советско-американские переговоры на высшем уровне в Вене, приведшие к подписанию Договора между СССР и США об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2), претворение в жизнь которого открыло бы новые возможности для предотвращения дальнейшего накопления запасов ракетно-ядерного оружия и позволило бы приступить к их реальному количественному и качественному сокращению.

Значительное развитие в позитивном направлении получили отношения СССР и других стран социалистического содружества с ФРГ, Англией, Францией, Италией, Японией.

Успехом миролюбивых сил, политики мирного существования явилось Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, созванное в 1975 году по инициативе социалистических стран в Хельсинки и завершившееся подписанием 1 августа 1975 г. Заключительного акта.

В Хельсинкском акте участники совещания — 33 европейские страны, США и Канада — взяли на себя торжественное обязательство способствовать укреплению мира и безопасности в Европе, сближению и сотрудничеству государств континента, углублению и развитию процесса разрядки. В этом документе участники совещания обязались действовать, «памятуя об общей истории и признавая,

что существование общих элементов в их традициях и ценностях может помогать им в развитии их отношений, и исполненные желания изыскивать, полностью принимая во внимание своеобразие и разнообразие их позиций и взглядов, возможности объединять их усилия с тем, чтобы преодолеть недоверие и укреплять доверие, разрешать проблемы, которые их разделяют, и сотрудничать в интересах человечества». В хельсинкских соглашениях фиксировались принципы суверенного равенства, уважения прав, присущих суверенитету; неприменения силы и угрозы силой, нерушимости существующих границ, территориальной целостности государств, мирного урегулирования споров. «Государства-участники, — говорилось далее в Хельсинкском акте, — будут воздерживаться от любого вмешательства, прямого или косвенного, индивидуального или коллективного, во внутренние или внешние дела, входящие во внутреннюю компетенцию другого государства-участника, независимо от взаимоотношений. Они будут соответственно воздерживаться от любой формы вооруженного вмешательства или угрозы такого вмешательства против другого государства-участника». В Заключительном акте особо подчеркивалось, что участники совещания «будут воздерживаться от оказания прямой или косвенной помощи террористической или подрывной, или другой деятельности, направленной на насильственное свержение другого государства-участника»²⁰. В документе безоговорочно признавалось равноправие народов, их право распоряжаться своей судьбой.

Однако влиятельные круги империализма, вынужденные согласиться на разрядку, пытались вложить в нее свое содержание. Они стремились истолковывать разрядку как своего рода международное санкционирование и гарантию социального и политического статус-кво в мире. В этой связи на смену прежним милитаристским доктринам времен «холодной войны» была выдвинута доктрина «устрашения», своего рода разрядка с позиции силы. Согласно этой доктрине, военная сила империализма должна была стать средством постоянного давления на Советский Союз, побуждающим его принять американское, империалистическое толкование разрядки, обеспечения, сохранения реакционных, проимпериалистических правительств там, где они существовали в странах Европы, Азии, Латинской Америки и Африки.

Опыт истории показал иллюзорность расчетов империалистов. Потерпели крушение фашистские режимы в

Европе: в Греции, Португалии и Испании. Вьетнамский народ добился объединения своей родины. Единый Вьетнам успешно решал задачи социалистического строительства. Демократические силы одержали победу в Лаосе и Кампучии. Освободительные революции победили в Анголе, Эфиопии, Никарагуа, Афганистане, был низвергнут шахский режим в Иране, тщетными оказались попытки воспрепятствовать освобождению от колониального гнета народа Зимбабве на юге Африки. Реакция не выдержала испытания разрядкой. Президент США Дж. Форд, пойдя навстречу требованиям крайних империалистических сил, заявил об отказе от употребления понятия «разрядка», которое должно было быть заменено термином «мир на основе силы».

В противоречии с объективными потребностями современного мирового развития, жизненными интересами всех народов и стран реакционные круги США уже с середины 1978 года приступили ко все более быстрому раскручиванию маховика политики антиразрядки, включавшей усиление гонки ядерных вооружений с прицелом на достижение военного превосходства над Советским Союзом, ставку на экспорт контрреволюции в отношениях со многими развивающимися и неприсоединившимися странами. За этим в начале 1980 года последовало столь же неправомерное, сколь и бесперспективное «наложение санкций» на Советский Союз, под флагом которых официальный Вашингтон стремился не только свести на нет взаимовыгодные экономические связи между странами с различным общественным строем, но и утвердить свое главенство в империалистическом лагере, поставить под американский контроль внешнюю политику остальных участников империалистических военных блоков. Главной целью администрации Картера, по словам одного американского политолога, было «реконструировать американскую гегемонию во всей ее прежней силе, используя политику более тесных союзных отношений.., чтобы помочь справиться с угрозой, создаваемой мощью СССР, революцией и национализмом в „третьем мире”»²¹. Если отбросить фразеологию насчет действий США как защиты от «советской угрозы», то это достаточно точная характеристика политики Вашингтона в конце 70-х годов. «Разрядка, — провозглашали ее противники, — перестала быть алтарем, перед которым, как ожидалось, все преклоняют колени»²².

Составной частью агрессивного курса США стала и пресловутая кампания по «защите прав человека».

Президент Дж. Картер в ООН утверждал, что «Соединенным Штатам принадлежит истинно историческое право отождествлять себя с этим процессом»²³. Его помощник З. Бжезинский так открыто определял цели этой кампании: «Страх перед коммунизмом больше не служит клеем, скрепляющим внешнюю политику. Такой темой может служить тема прав человека»²⁴. Выступая в марте 1981 года на закрытом заседании так называемой Трехсторонней комиссии, в которую входят влиятельнейшие представители делового мира и политических кругов ведущих капиталистических государств, государственный секретарь США А. Хейг заявил: «Когда мы имеем дело с нарушением прав человека, следует взвесить не только международные последствия — помогает или препятствует данный режим международной агрессии, — но и внутренние перспективы..., не только досье находящихся у власти, но и досье и программу оппозиции»²⁵. В переводе на общепонятный язык это означало, что не следует осуждать правые террористические диктатуры за нарушение прав человека, поскольку те «препятствуют международной агрессии», как Хейг изволил именовать политику социалистических стран, и в случае падения этих диктатур у власти могут оказаться политические силы, негодные Вашингтону. Комментируя слова Хейга, американские журналисты Эванс и Новак разъяснили, что, по мнению государственного секретаря, «существование и распространение» правых террористических режимов не является нежелательным для «некоммунистического мира»²⁶. Помощник государственного секретаря США Э. Абрамс в 1983 году заявил, что «важнейшей составной частью любой политики в области прав человека должно быть противоборство с коммунизмом». Он подчеркивал, что эта политика не должна мешать США «поддерживать хорошие отношения с любым репрессивным режимом». Все это должно быть поставлено на службу контрреволюционному интервенционизму, или, как выразился Абрамс, «недопущению прихода к власти в любой стране коммунистического правительства, имеющего связь с Москвой»²⁷.

Если в 60-е и первой половине 70-х годов главным орудием в «психологической войне» против социалистических стран были теории конвергенции и деидеологизации, то позднее временно они были отброшены пришедшими к власти представителями правого крыла американской буржуазии. Взамен республиканская администра-

ция встала на путь организации «крестового похода» против социализма, который откровенно провозгласил американский президент 6 июня 1982 г. в своей речи в английском парламенте. Президент США не раз повторял, что задача Запада уже заключается не в «сдерживании коммунизма», а в преодолении его «как печальной и случайной главы в истории человечества, последние страницы которой сейчас дописываются»²⁸. Еще ранее, в мае 1981 года, президент разъяснил, что США должны полагаться не на договоры, а на силу оружия, сославшись при этом на книги своего приятеля, мало кому известного Л. Бейленсона, автора книг «Договорная западня» и «Выживание в ядерный век». Вызванный из небытия, этот 82-летний «пророк» тут же поведал журналистам, что нужно с помощью ядерной войны «свергнуть все коммунистические правительства»²⁹.

Встав на путь наращивания гонки вооружений, президент изображал ее как путь к миру. Это случалось и раньше. Государственный секретарь США Дж. Бирнс рассказывал, что вскоре после Потсдамской конференции Трумэн заявил ему:

— Если России не пригрозить железным кулаком и не вести с ней жесткий разговор, дело пойдет к новой войне. Я поэтому больше не буду соглашаться на компромиссы. Мне надоело улаживать Советы³⁰.

Полтора десятилетия спустя сенатор Барри Голдуотер в цитированной выше книге, призывавшей к развертыванию гонки вооружений, отказу от всяких связей с социалистическими странами, резкому усилению конфронтации, использованию вооруженной силы против всех революционных движений в мире, заявлял, что надо сделать выбор между решительной победой над коммунизмом и... ядерной войной!³¹ (В 1983 г. Барри Голдуотер уже поучал американские средства массовой информации, что не следует показывать «только отрицательные стороны ядерного оружия».) Ту же мысль будет многократно повторять Р. Рейган. Государственный секретарь А. Хейг заявил как-то, что «есть вещи поважнее, чем мир», а министр обороны США К. Уайнбергер поведал человечеству, что «есть вещи и похуже, чем война». Летом 1983 года тот же Уайнбергер уверял, что «целью Советов всегда было мировое господство». Лозунг американских «ультра» «better dead than red» — «лучше быть мертвым, чем красным» — был принят на вооружение вашингтонской администрации с тем добавлением, что такой выбор она

предписывает сделать другим странам, территория которых рисуется американским стратегам как «европейский», «азиатский» и другие «театры военных действий» в ядерном конфликте. В подготовленной по распоряжению президента США «Директиве в области обороны на 1984—1985 финансовые годы» прямо указывалось, что основной целью США является «уничтожение социализма как общественной системы»³². Вице-президент Дж. Буш громко заявил, что уверен в возможности одержать победу в ядерной войне³³. Разработанный по указанию Белого дома план так называемой «затяжной ядерной войны» ставит целью, как заявил заместитель директора Агентства по контролю над вооружениями и разоружению Р. Грей, «уничтожить советскую политическую власть», что, мол, «приведет к созданию в послевоенный период мирового порядка, в котором будет господствовать система ценностей западного мира»³⁴. Как можно не признавать, что в современной ядерной войне не может быть победителей? Согласно данным доклада, составленного по поручению ряда американских организаций сторонников контроля над вооружениями осенью 1982 года, мировые запасы ядерной мощи эквивалентны 16 миллиардам тонн тротила. Это означает, что на каждого жителя Земли приходится 3,5 тонны тротила!³⁵

Гегемонизм являлся одним из главных мотивов возвращения США к политике конфронтации. Достаточно напомнить, что Вашингтон использовал нагнетаемую им международную напряженность для попытки восстановления своей роли «лидера» капиталистического мира. Например, даже встречи руководителей семи ведущих капиталистических стран, задуманные в качестве средства, позволявшего партнерам Вашингтона влиять на американскую политику, были, как показало совещание в Вильямсберге в мае 1983 года, превращены в подобие конгрессов Священного союза, декларирующих задачи борьбы под эгидой США против мифической «советской угрозы». Утверждения о «моральном превосходстве» США служили одним из главных обоснований мнимого американского «права» на мировое господство³⁶. Ими же обосновывалось и «право» на контрреволюционный интервенционизм. «Америка, — провозгласил президент США, — отличается удивительной способностью вершить великие и бескорыстные деяния, и бог вручил ей исстрадавшееся человечество». Такова теория. А практика? Только в XIX веке армия и флот США участвовали в 8600 вооруженных вторжениях и других

военных операциях на чужой территории. В докладе, изданном вашингтонским исследовательским Институтом Брукингса, подсчитано, что за 30 лет, с 1946 по 1975 год, США более 215 раз использовали силу в международных отношениях в форме прямой военной интервенции, военных демонстраций и угроз применения ядерного оружия. По подсчетам, приведенным журналом «Ю. С. ньюс энд Уорлд рипорт», со времени окончания второй мировой войны Вашингтон 262 раза прибегал к силе для достижения своих внешнеполитических целей. Только с 1975 по 1983 год США 44 раза направляли американские войска за пределы своей страны. Президент США объявил, что «защита стран Карибского бассейна и Центральной Америки от марксистско-ленинского переворота является жизненно важной для нашей национальной безопасности»³⁷. В июне 1983 года он заявил, что США следует любыми средствами, включая и использование вооруженной силы, не допустить превращения стран Центральной Америки в «марксистские диктатуры»³⁸.

В 1983 году на Конференции глав государств неприсоединившихся стран в Дели было подчеркнуто, что процессы, происходящие в Центральной Америке, вызваны внутренними социально-экономическими причинами и не имеют ничего общего с идеологической конфронтацией между Востоком и Западом. Не стоит забывать вместе с тем, что США 14 раз использовали силу против Мексики, 13 — против Кубы, 11 — против Панамы, 10 — против Никарагуа, 9 — против Доминиканской Республики, 7 — против Колумбии, 7 — против Гондураса, 5 — против Гаити, 3 — против Пуэрто-Рико и 2 раза — против Гватемалы.

Все поражения, которые потерпел империализм в 70-е годы во Вьетнаме, Иране, Анголе, Никарагуа и в других местах, сначала относились за счет разрядки, а когда к власти пришли представители правого крыла американской буржуазии, в Вашингтоне вернулись к примитивной версии о «подрывной деятельности Москвы». «Происки Москвы» фигурировали в выступлениях президента США по любой международной проблеме. «Если копнуть достаточно глубоко в любом из удаленных очагов напряженности, — уверял он, — то вы обнаружите Советский Союз»³⁹. Президент не уставал повторять: «Советский Союз стоит за всеми проявлениями недовольства и в наши дни. Если бы он прекратил эту игру в домино, не было бы никаких «горячих точек» в мире»⁴⁰. Хозяин Белого дома как-то

заметил, что «порой наша правая рука не знает, что делает крайне правая»⁴¹. Но известно, что рука руку моет. Военственные призывы «ультра» давали повод американской администрации изображать свои действия чуть ли не образцом сдержанности, хотя они представляли собой лишь облаченную, да и то не всегда, в более дипломатичную упаковку ту же политику крайне правого крыла правящих кругов США. Любое выступление против этого милитаристского курса клеймилось как «антипатриотизм», участие в «подрывных» действиях, которыми манипулирует «Москва». В апреле 1983 года, когда в Ричмонде обсуждали специальное послание высших иерархов католической церкви в США, осуждающее планы использования ядерного оружия, один из прихожан крикнул местному епископу:

— Это русская пропаганда!⁴²

И тем не менее курс антиразрядки, сползания к ядерной конфронтации наталкивался на растущее сопротивление народов земного шара. Даже А. Хейг, который, занимая пост государственного секретаря, сделал немало для ухудшения международного климата, после ухода в отставку признал, что «разрядка по-прежнему имеет одинаковую притягательную силу и по ту, и по другую сторону Атлантики» и что как стремление вести конструктивный диалог она «не является бесплодным делом».

Линии вести переговоры «с позиции силы», бесперспективным попыткам достигнуть военного превосходства Советский Союз противопоставляет политику, чуждую стремлению к получению односторонних преимуществ, исключая навязывание своей воли другой стороне.

Принципы мирного сосуществования, к строгому соблюдению которых призывает Советский Союз страны Запада, предусматривают неукоснительное соблюдение требования невмешательства во внутренние дела других стран. Это требование, зафиксированное во многих международных договорах и являющееся органической частью современного международного права, вновь в 80-е годы XX столетия ставится под вопрос и на деле игнорируется американской администрацией. Диапазон вмешательства США широк: интервенция против крохотной Гренады, ведение необъявленной войны против народов Никарагуа и Афганистана, поддержка подрывных действий против многих государств Латинской Америки, Африки, Азии — наглядные тому примеры. Американское правительство устами государственного секретаря в феврале 1985 года

провозгласило даже «моральное право» на вмешательство Вашингтона во внутренние дела стран социалистического содружества.

Краткий обзор взаимоотношений социальных систем во второй половине XX столетия подвел нас непосредственно к тому историческому повороту в развитии международной обстановки, который явственно обозначился, когда в СССР после апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС начался и стал набирать силу процесс перестройки, обновления всех сторон жизни советского общества. События этих самых последних лет у всех на памяти. Одними из важнейших проявлений процесса перестройки стали повышение инициативности советской политики, поистине новаторский подход к решению узловых международных проблем, основанный на смелом теоретическом анализе глубинных процессов эволюции человеческого общества на нынешнем переломном этапе его развития.

XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза выдвинул в развернутом виде концепцию, открывающую перспективу установления безопасного, прочного мира. Философия нового политического мышления позволила выявить, что, несмотря на глубокую противоречивость современного мира, он представляет собой определенную целостность, связанную с растущей интернационализацией хозяйственной жизни, приоритетом общечеловеческих интересов, неотложной необходимостью решения глобальных проблем, в котором нуждаются все народы планеты.

Ныне существуют серьезные основания для исторического оптимизма, для усилий, имеющих целью построение взаимоотношений между социалистическими и капиталистическими странами на путях движения к безопасному миру. На протяжении второй половины XX века имеется опыт быстрого развития ряда капиталистических стран при минимальных военных расходах — опыт, свидетельствующий в пользу возможностей расширения и углубления процесса разоружения. Перестройка в Советском Союзе позволяет в значительно большей степени включить нашу страну, ее огромный производственный и научный потенциал в систему мирохозяйственных связей и тем самым укрепить материальную базу системы международной безопасности. Объективные условия, сложившиеся в противоречивом, но вместе с тем взаимозависимом современном мире, делают реальной перспективу совместного поиска нового экономического порядка, при котором на

началах равноправия учитывались бы интересы государств с различным общественным строем, развитых и развивающихся стран. Выдвинутая Советским Союзом концепция «разоружение для развития» раскрывает органическую связь между освобождением человечества от угрозы ядерной катастрофы и созданием международных условий для социального прогресса в национальном и глобальном масштабах. Страны социалистического содружества, руководствуясь новым политическим мышлением, выступили с целым рядом крупных инициатив, направленных на развязывание узлов международных противоречий и укрепление атмосферы доверия, нацеленных на создание всеобъемлющей системы мира и безопасности. Под влиянием меняющейся обстановки наметились известные позитивные сдвиги в политике Вашингтонской администрации, правительств других стран Запада, правда, наталкивающиеся на отчаянное сопротивление наиболее оголтелых кругов реакции.

Важную роль в оздоровлении международного климата сыграли заключение в 1987 году советско-американского договора о ликвидации двух классов ядерного оружия, определенный прогресс, достигнутый в переговорах между СССР и США по другим вопросам, имеющим ключевое значение для предотвращения гонки вооружений на Земле и немилитаризации космического пространства. Советские инициативы являются конкретной конструктивной программой деятельности, ведущей к созданию безъядерного, ненасильственного мира. В конце 80-х годов человечество стоит еще в самом начале пути к этой цели, каждый шаг на котором сопровождается упорной борьбой против реакционных сил, цепляющихся за политику вражды и противоборства.

Но здесь уже речь зашла о вопросах, далеко выходящих за пределы нашей работы, и о важнейших событиях и самых жгучих проблемах современности, а не о былых днях, о которых повествовалось на предыдущих страницах. Оставаясь в рамках этой книги, надо лишь снова напомнить об одном: для успешного, уверенного продвижения к миру, свободному от угрозы ядерного катаклизма, к миру будущего совсем немаловажным окажется широкое ознакомление международной общественности с подлинным опытом прошлого, с теми уроками, которые можно извлечь из истории вековых конфликтов.

Борьба миров (Вместо послесловия)

...Более старые миры Вселенной — источник опасности для человеческого рода.

Г. Д. Уэллс («Война миров»)



Наш обзор истории борьбы социальных систем в сфере международных отношений подошел к концу. Ознакомление с историей вековых конфликтов дало нам достаточно материала для того, чтобы судить, соответствуют ли фактам утверждения западной политологии и историографии, будто вековые конфликты могут получить разрешение лишь военными средствами, что разрядка может быть достигнута только отказом передового лагеря от основ своей идеологии и гарантией существующих общественных порядков в странах консервативного лагеря.

О чем же говорит, свидетельствует в действительности опыт истории?

Как мы убедились, основной антагонизм в разные эпохи находит или не находит прямое отражение в сфере межгосударственных отношений. Примером могут служить период империализма до 1917 года и современная эпоха. По сути дела, в мировом масштабе этот основной классовый антагонизм получает выражение в международной сфере в переходные эпохи всемирной истории.

Переход от одной общественно-экономической формации к другой, поскольку он происходил не в одном, а во многих обществах и не одновременно, мог приобрести форму векового конфликта (в том смысле, в каком указанный термин используется в этой работе). Однако один и тот же переход мог послужить также источником нескольких вековых конфликтов. Причиной этого является то, что столкновение между старым и новым строем находило сначала воплощение в менее, а позднее — в более развитых формах, адекватно отражающих существо этого

столкновения. Между тем отлившееся в менее зрелые идеологические формы и учреждения политическое противоборство приобретало относительную самостоятельность по отношению к породившей его социальной почве и нередко сохранялось даже тогда, когда возникали более законченные формы того же классового антагонизма. Надо учитывать и то, что наряду с межформационными вековыми конфликтами существовали и конфликты внутриформационные.

Понятие «лагерь» в вековом конфликте используется в книге для определения объективно существующей группировки держав, связанных каким-либо общим идеологическим началом. Он мог быть или не быть оформлен союзными договорами, являясь чем-то более постоянным, чем коалиции, в которые могли входить часть или все участвующие в нем государства. Точнее было бы сказать, что лагерь находит в каждый период воплощение в такой коалиции. Очевидно, что этот лагерь на разных этапах конфликта может состоять из разных государств.

В межформационных конфликтах борющиеся классы являлись воплощением сил прогресса и реакции, и естественно, что развитие противоборствующих лагерей, которые возглавляли эти классы, было пронизано различными тенденциями, подчинено различным закономерностям общественного развития.

Структура международных отношений могла либо способствовать, либо, напротив, препятствовать проявлению векового конфликта. Так, наличие державы, выдвигавшей гегемонистские притязания, являлось фактором, стимулировавшим развертывание конфликта. Существование консервативного лагеря предоставляло многочисленным преимуществам возглавляющей его державе. Он являлся механизмом, позволявшим использовать экономические и людские ресурсы других стран в интересах этой державы, которые представлялись тождественными интересам всего лагеря.

Нередко самый конфликт превращался в ширму для гегемонистских устремлений доминирующей державы консервативного лагеря.

Участие в консервативном лагере в конечном счете всегда вредило национальным интересам входивших в него стран, замедляло темпы их развития, вплоть до утери ими в результате этого их прежней роли в системе межгосударственных отношений. В странах — участницах консер-

вативного лагеря в вековом конфликте происходило укрепление самых реакционных классов и представлявших их интересы политических сил. Однако и они не оказывались в выигрыше от обстановки хозяйственного упадка, растущего отставания от других государств, резкого ослабления позиций страны на международной арене, культурного регресса. Самая недостижимость поставленных целей консервативным лагерем усиливала центробежные силы. Попытки сделать союз более эффективным нередко ослабляли его прочность, в конечном счете приводили к его полному распаду.

Контрреволюционный интервенционизм — неизменный спутник вековых конфликтов. Вместе с тем интервенционизм существовал и в те эпохи, когда таких конфликтов вообще не было.

Во всех вековых конфликтах до современной эпохи лежащая в их основе борьба социальных систем не выступала на поверхность и осознавалась как столкновение политических систем или идеологических доктрин.

Вековые конфликты не умирали сами по себе. Исчезновение таких конфликтов обычно являлось результатом борьбы между сторонниками и противниками их продолжения в пределах отдельных стран и на международной арене.

Ни один из межформационных вековых конфликтов не был решен военным путем. Может создаться впечатление, что эти конфликты вообще не находили разрешения, а лишь отодвигались на задний план другими конфликтами. Однако это верно лишь в известном смысле только для самого конфликта, а не для лежавшего в его основе классового противоборства. Оно не отодвигалось в сторону, а вступало в новую, более зрелую стадию, имевшую иное отражение в сфере надстройки, включая и сферу межгосударственных отношений, пока не находило революционного решения внутри каждой из участвовавших в конфликте стран.

Вековые конфликты несомненно относятся к излишним «издержкам» процесса развития общества — излишним, поскольку они никогда не были исторически неизбежными. Эта роль вековых конфликтов как замедляющей силы исторического процесса находила свое выражение и в том негативном влиянии, которое они в целом оказывали на развитие общественной мысли, культуры и науки, особенно возвращая их даже в передовых странах снова к тем

задачам, которые были уже решены на почве этих стран. Напомним, что окончание векового конфликта создало возможность развития английской революции середины XVII века без вмешательства извне. Отсутствие такого конфликта создало благоприятные международные условия, могущественно способствовавшие победе американской революции. В целом такие же благоприятные условия и по той же причине сложились и на первых этапах Великой французской революции. Исторически тормозящая роль вековых конфликтов особенно отчетливо видна в соотношении с важнейшими прогрессивными событиями всемирной истории — социальными революциями. В данной связи становится очевидным также, что, например, развертывание кризиса идеологии и культуры Возрождения не только хронологически совпало с развертыванием векового конфликта, но и во многом прямо порождалось этим конфликтом. И наоборот, появление первых ростков Просвещения оказалось возможным, когда стали исчезать остаточные проявления векового конфликта.

История полностью опровергает утверждения реакционных историков и социологов, будто вековые конфликты могли способствовать определенной стабилизации международных отношений, препятствовать «анархии на мировой арене», поскольку вели к внутренней консолидации враждующих блоков. Как раз, напротив, обострение вековых конфликтов до попыток решения их военным путем исключало возможность сколько-нибудь прочной устойчивости международной системы, а отказ от военных методов хоть и не гарантировал, но служил предпосылкой такой стабильности.

Рассмотрение уроков всемирной истории подводит к возможности глубже понять научные основы внешней политики Советского Союза, опирающейся на познание подлинных законов общественного прогресса. Эта политика базируется на глубоком осмыслении опыта как современного мирового развития, так и всего многовекового пути, пройденного человечеством.

Ныне, в ядерно-космическую эру, наступил этап мирового развития, когда становятся жизненно необходимыми новые подходы к проблемам международной безопасности. Вопрос о сохранении мира стал равнозначным вопросу о выживании человечества. В настоящее время сложились объективные условия, при которых соревнование двух социальных систем может протекать только в условиях мирного сосуществования.